THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PS3503
.U548
C617
1927

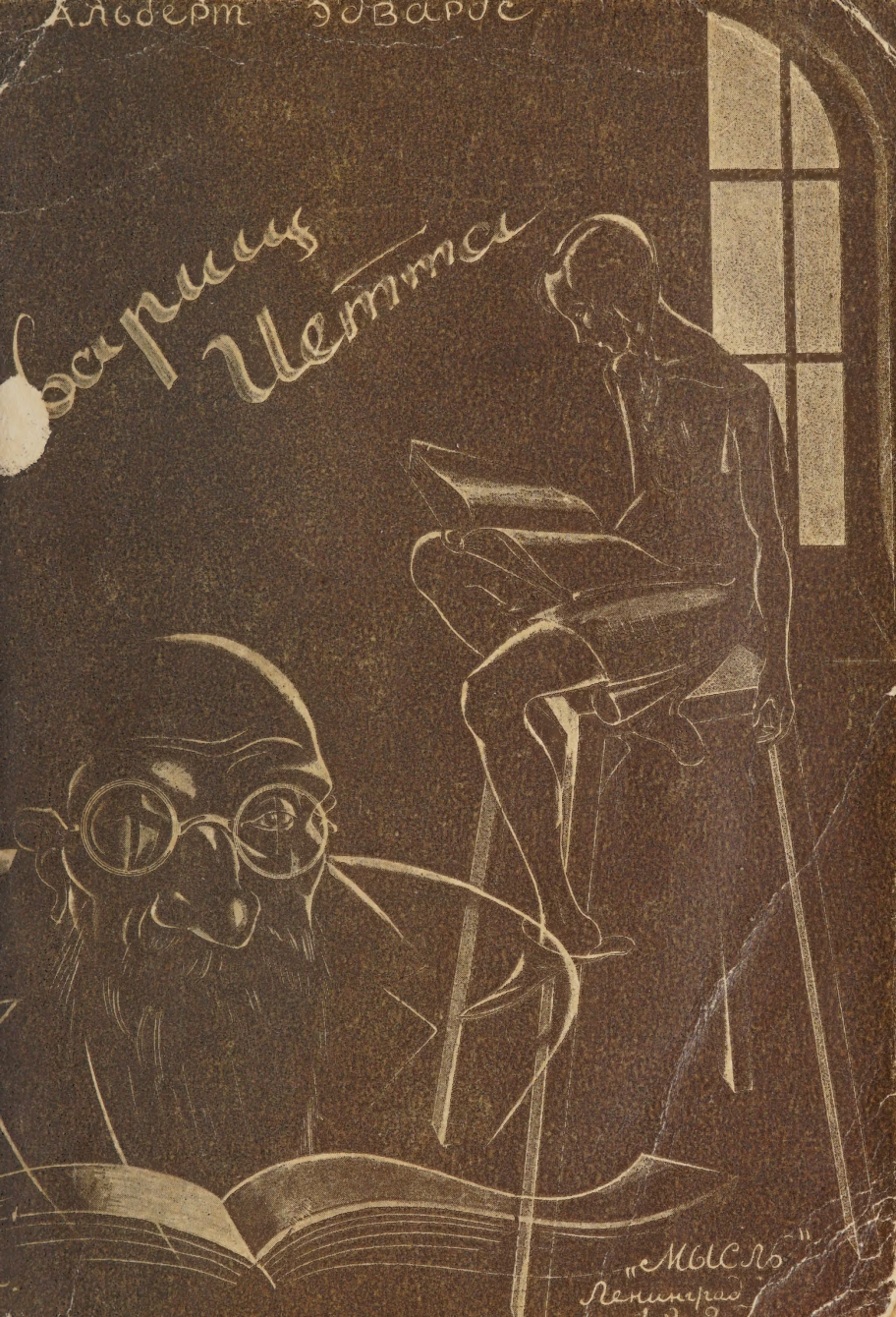
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008294106

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/tovarishchiettac00bull

Альберт Эдвардс

Борьба Цетина



„Мысль"
Ленинград

АЛЬБЕРТ ЭДВАРДС
ALBERT EDWARDS

ee
c
PS3503
.U548
C617
1927

ТОВАРИЩ ИЕТТА

(COMRADE YETTA)

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО
М. А. ДЬЯКОНОВА

2-е ИЗДАНИЕ

TOVARISHCH IETTA

Издательство „МЫСЛЬ“
ЛЕНИНГРАД

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
ХУДОЖНИКА
Н. П. АКИМОВА

Ленинградский Гублит № 36436. Тираж 6.000—17 п. л. Заказ № 551

Центральная Типография Наркомвоенмора (пл. Урицкого, 10).

Книга 1.

ГЛАВА I.

Букинист Вениамин.

Детские годы Иетты Раевской прошли в книжной лавке отца, торговавшего подержанными книгами на Ист-Бродвэй. В конце девятидесятых годов молва о мечтательной философии владельца привлекла к нему кружок последователей, и дела у него шли почти блестяще.

Лавка помещалась в подвале—на четыре ступени ниже тротуара. Шедшие по стенам тесно придвинутые один к другому шкафы были набиты подержанными английскими книгами, самыми разнообразными по содержанию. Повесть Лауры Джен Либби стояла бок-о-бок с „Книгой Мормона“ между двумя томиками поэм Броунинга. В центре лавки на столах были нагромождены в хаотическом беспорядке книги и периодические издания на русском и еврейском языках.

В будни каждый вечер вы могли застать в лавке Вениамина Раевского с маленькой дочкой Иеттой, которые сидели, взгромоздясь на высокие табуреты у конторки, налево от дверей. Хозяин встречал вас печальной, задумчивой улыбкой и сходил с табурета, чтобы обменяться с вами рукопожатием. Он был бы поражен и огорчен, если бы вы сразу же спросили книгу, заплатили за нее и ушли из лавки. Обычно никто не торопился и уходил, только вполне убедившись в том, что у букиниста нет в запасе какой-нибудь книжки, которую вы предпочли бы той, за которой пришли.

Когда ему удавалось заставить вас почувствовать себя совсем как дома, он снова возвращался к конторке, а Иетта про-

должала свое чтение вслух. Очень может быть, что вам пришлось бы с трудом удерживаться от смеха, слушая их споры о том, как следует произносить различные английские слова. Если каждый продолжал стоять на своем, то Вениамин писал слово на клочке бумажки, чтобы Иетта захватила его утром с собой в школу и представила учителю на суд. Вы, наверное, были бы поражены изумлением, увидев, как хорошо понимает девчурка содержание тяжеловесных книг, которые она читала своим звонким, еще не установившимся голосом.

Но едва ли вы стали бы смеяться при воспоминании, которое уносили с собой об этой паре. Не один язычник, случайно попадавший в лавочку, выходил оттуда, ломая себе голову над тем, чтобы вызвать в памяти картину из священного писания, которую ему напоминали Раевские. Психологи называют такое душевное состояние „обратной ассоциацией". Отец и дочь неизбежно наводили на мысль о матери и сыне.

Вениамин был похож—если не обращать внимания на безобразный шрам на лбу—на Христа Гвидо Рени. Та же самая горькая печаль виднелась в складках около рта, та же мягкая борода, тот же чувственный нос, та же кротость нездешнего мира в глазах и в каждом жесте. А маленькая Иетта была очень похожа на ребенка Марию из „Введения во храм" Тициана.

К девяти часам лавочка начинала наполняться посетителями. Из постоянных клиентов раньше всех приходил чахоточный юноша, обративший однажды внимание на объявление, утверждавшее, что некая энциклопедия вполне заменяет университет. Денег у него не хватало ни на поступление в колледж, ни на покупку целой серии книг, поэтому он занялся в лавке Раевского чтением одной из таких популярных энциклопедий. Он дошел уже до буквы „Р" и считал себя первокурсником. Приходили для постоянного чтения и другие, но гораздо больше являлось просто побеседовать и послушать Вениамина. В десять часов он закрывал книгу Иетты и, обняв ее за плечи, начинал свою вечернюю беседу. Обычно темой служила какая-нибудь вычитанная фраза, которая занимала его весь день. Глазки девочки скоро смыкались, и головка склонялась к отцу на плечо.

Но однажды вечером он не дал дочери заснуть. В этот день через улицу праздновалась какая-то свадьба. У Раевского был обычай обращаться во время разговора непосредственно к одному из слушателей, и в этот вечер он обратился к Иетте. Заимствовав поэтические образы из идиллии Руфи, Ноеминь и Вооза, он воспользовался этой темой для объяснения смысла брака в руководство девочке. Когда-нибудь наступит время, и ее позовет за собою мужчина—и вот, в чаянии этого времени, он научит ее обету, который Руфь принесла Ноеминь.

„Куда ты пойдешь, туда и я пойду,—и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой бог—моим богом; и где ты умрешь, там, и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне господь и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою".

Он заставил ее повторить обет несколько раз по-еврейски, пока она не заучила его наизусть.

— Вот этими словами, дочка,—сказал он,—ты должна приветствовать своего жениха.

Многого из кроткой мудрости, которую проповедывал ее отец маленькой кучке слушателей, теснившихся в лавке, Иетта не совсем понимала. Но в течение девяти лет, с шестилетнего возраста до пятнадцатилетнего, слова отца были для нее колыбельной песенкой, под которую она засыпала каждый вечер, взгромоздившись на свой высокий табурет, положив голову к отцу на плечо. Многое из его речей запало ей в душу.

История эта будет итти о том, как маленькая Иетта Раевская выросла, добилась счастья и стала приносить пользу другим. Но влияние, которое имел на нее отец, выделило ее больше, чем что-либо другое, из среды тысяч остальных девушек Восточной стороны города. Без истории Вениамина история самой Иетты была бы непонятна.

Отец Вениамина был человеком с достатками в русском городе Ковне. Но Вениамин, единственный сын его, не обладал талантами для торговли, он принадлежал к типу евреев-мечтателей. И он любил книги. В еврейском квартале Ковны было трудно доставать книги, но Вениамин читал все, что ему попа-

далось под руку. Начиная с юных лет, он с любовью занимался изучением псалмов и наиболее поэтичных глав из пророков. Старозаветная красота еврейской литературы служила для него никогда неиссякающим источником, у которого он освежал свою душу. Он читал также повести Гоголя, Короленки и Достоевского и те немногие исторические и научные книги, которые мог найти.

От такого бессистемного чтения получилась странная космография. Вениамин принимал все пророчества всерьез и устремлял взоры вперед с неизменной верой в установление царства божьего на земле. Как большинство глубоко религиозных людей, он не был слишком ортодоксальным. Он тщательно соблюдал все требования еврейского ритуала, но его истинное вдохновение было скорее от царя Давида, чем от писцов, составлявших Талмуд, или от раввинов, мелочно толковавших Тору. Он питал большую симпатию к сионистам, так как они тоже пламенно верили в обетования, но совершенно не интересовался географическими видами, которые являлись предметом их желаний. Если бы пришел мессия, то он установил бы царство свое по всей земле. Он верил так же, как и сионисты, что евреи—носители света среди других членов всемирной семьи, но считал, что народ этот избран для особого служения, а не для особых милостей.

Этот седой мистицизм дополнялся очень несвязными представлениями об истории мира и смутным пониманием эволюции. Он верил, что те цели, которые господь поставил еврейскому народу, достигаются с развитием демократии; ее он считал новым словом, знаменующим любовь и братство. Демократии он никогда не видел. Он ничего не знал о преступлениях, совершаемых во имя ее; он не имел никакого представления о современной плутократии, которая повсюду не на живот, а на смерть борется с демократией и чаще, чем может показаться, выигрывает битвы.

Такая смутная идеализация демократии поддерживалась редкими письмами от сестры Вениамина Марты, жившей в Нью-Иорке. Она вышла замуж, когда Вениамин был еще юношей, за Давида Гольдштейна, которому вечно не везло, и они эмигри-

ровали, решив устроиться на ее приданое. Едва ли можно порицать бедную женщину за то, что она скрывала от родных жестокую действительность своей жизни. Она писала домой только о том, что, по ее мнению, могло доставить родным удовольствие. Так как у нее не хватало воображения, то она заимствовала метафоры из священного писания, и, по ее словам, по главным улицам Нью-Иорка текли реки из молока и меду.

Вениамин часто иллюстрировал свои беседы об обетованной земле ссылками на свободу и справедливость, царящие в Америке. Он без труда поверил бы в утопию. Требование, чтобы все люди были такими же несебялюбивыми и кроткими, как он сам, не казалось ему слишком тяжелым.

Так он и возмужал, живя среди своих мечтаний. Когда ему минуло двадцать лет, он женился. К счастью, у его жены хватало здравого смысла на двоих, и она старалась беречь отцовское наследство. Первого ребенка они назвали Вениамином, а спустя несколько лет родилась Иетта.

Отец ее занимал привилегированное положение в еврейской общине. Его непорочная, непохожая на земную жизнь, расположение ко всем, ученость и ясная мудрость снискали ему наименование святого. Правда, кое-кто покачивал головой над его мечтами. Имея столько денег,—говорили они,—чтобы взяться за какое-нибудь дело, он мог бы разбогатеть, даже, пожалуй, стать „купцом первой гильдии". Но все до одного его любили. Женщины приходили к нему со своими сомнениями, и даже самым занятым, самым обремененным делами людям хотелось посидеть с ним минутку и послушать, как он читает вслух звучные пророчества и говорит о царстве, которое должно наступить.

Вениамин с дочерью были сорваны с якоря в 1890 году. Событие не достигло тех размеров, которыми отличались более поздние и более основательные избиения евреев в Кишиневе и Одессе. Причина взрыва осталась навсегда невыясненной, но нам, линчующим негров по самым ничтожным поводам, не следовало бы бросать камнями. Совершенно неожиданно чернь—подонки христианских кварталов—ринулась на еврейское гетто. Сначала толпа намеревалась только пограбить, но хулиганы

слишком перепились водкой, чтобы не набраться храбрости для нападения на беззащитных евреев. Разгоревшиеся страсти не знали удержу, и скоро чернь начала убивать и насиловать. Вениамин выбежал на улицу, чтобы урезонить громил. Они избили его до полусмерти.

Только через несколько недель он пришел в себя. Безобразный шрам тянулся от верхнего края левого глаза до уха. Многим из друзей Вениамина казалось, что он так и не поправился от раны, потому что до самой своей смерти он говорил иногда о жене и сыне, Вениамине, как будто они все еще были в живых. Но такие пробелы памяти случались редко; обычно, он припоминал, что их похоронили, пока он лежал в больнице. У него осталась только Иетта. Он, наверное, сошел бы с ума, если бы продолжал жить в Ковне среди своих воспоминаний. И он эмигрировал, чтобы соединиться с сестрой в счастливых долинах Америки.

Мечты Вениамина обладали чудесной способностью к жизни. Даже грубая действительность Орчард-стрита не могла разрушить их.

Он не понимал многого из тех отвратительных вещей, которые ему пришлось увидеть. Одним из таких феноменов был его зять. В общественной организации еврейского квартала Ковны Давид Гольдштейн не находил себе места. Удобных случаев для порочной жизни было слишком мало, ему не везло, и он не знал, что с собой делать. Но в восточных кварталах Нью-Иорка его извращенные таланты нашли для себя подходящий сбыт. Он стал торговать ими в Таммани-Холл. Деньги жены были растрачены на вполне законное деловое предприятие, для которого он совершенно не годился. Разные плутни повели за собой арест Давида. Лидер местной партии спас его от тюрьмы, и он забился в нору, к которой и приспособился. Номинально ему принадлежал Отель-Сиу—питейное заведение самого скверного пошиба. Прибыль, которую приносит порок, велика, но „стоящие выше“ всегда заявляют претензию на львиную долю. А так как Давид начал пить—редкий порок у евреев—то его жена и трое детей влачили самое жалкое существование.

Быть может, Вениамину было трудно видеть все вполне ясно из-за раны, которая шла у него через лоб. У сестры нет средств, чтобы жить в удобных условиях, вот все, что, повидимому, он себе представлял. Он привез с собой несколько тысяч долларов, жалкие остатки отцовского состояния, и, предложив щедрую плату за комнату и стол, дал возможность сестре переехать на лучшую квартиру и этим ослабил остроту ее нужды. Какое-то инстинктивное благоразумие помогло ему устоять от пылких уговоров Давида вложить деньги в Отель-Сиу.

Но он был совершенно таким же деловым человеком, как и зять, и очень скоро, увлеченный своей страстью к чтению, дал убедить себя приобрести книжную лавку с подержанными книгами.

Это был темный подвал. В течение целого дня выдавалось лишь несколько часов, когда можно было читать без лампы даже у передней стены.

Но это был дом Иетты. Конечно, и она и отец ночевали на квартире Гольдштейна и там же завтракали. Но в семь часов Раевские уже были в лавке. Вместо второго завтрака у них был чай с лепешками, которые они получали из кофейной, расположенной выше, по той же лестнице, а в шесть часов Иетта приносила в ведерке обед от тетки. Помещение сперва казалось Иетте очень большим, а темнота в глубине лавки—безграничной и немного страшной. Как-то раз, когда отец отошел в глубь комнаты и скрылся из глаз девочки, она испугалась и стала звать его. Рассмеявшись над ее робостью, Вениамин взял дочь на руки, и они принялись изучать все темные углы при свете свечи. Иетта всегда вспоминала то чувство успокоения, которое она испытала, уяснив себе, как малы размеры лавки.

Вениамину было тридцать четыре года, когда произошла эта перемена в его жизни. При складе его ума, легко воспринимающего знания, ему не трудно было очень быстро научиться бегло читать по-английски. Но в лавке на Ист-Бродвэй у него было очень мало случаев говорить на новом языке. Очень немногие из обычных клиентов говорили на каком-нибудь ином языке, кроме русского или еврейского жаргонного. Иетта

всегда находила, что многие слова звучали как-то некрасиво, если их не произносить с жаргонным акцентом, если говорить „книга“, вместо „книге“. Это было первое слово, которому ее научил отец. Он был требовательным учителем. Вениамин сознавал свою неспособность стать деятельной единицей в бившей вокруг него ключом непонятной жизни. Его наблюдения над новым миром были скудны. Он был привязан к лавке все дни, кроме субботних часов после полудня, но не мог осквернять шабаша поездкой на трамвае. Бедность и нищета, которых он не мог не видеть, считались им явлениями чисто местными. Несчастная участь, выпавшая на долю его народа, объяснялась невежеством, неспособностью понять новый язык, старо-заветными привычками, усвоенными в полурабском состоянии. Но для Иетты все должно быть иным! Она должна быть подготовлена, чтобы принять самое большое участие в открывающейся перед ней богатой жизни, полной совершенной свободы. И Вениамин обратил особое внимание на изучение языка.

Очень немногое могло вывести его из себя и заставить разразиться гневными речами. Главным образом, это были еврейские газеты. Еврейский жаргон был для него языком ковенского гетто, языком преследований и погромов. Чистый еврейский язык священного писания—да!—он хотел бы, чтобы каждое дитя народа знало его. Он стал учить ему Иетту. Это был резервуар, из которого черпались все богатые традиции и еще более богатые обещания. Еврейский же разговорный язык был незаконнорожденным жаргоном, которому его народ научился в неволе. В нем не таилось ни сокровищ минувшего, ни надежд на будущее. Пусть его народ дополнит язык предков языком свободы. Пусть он изучит язык страны прибежища. Презрение Вениамина к еврейскому жаргону, конечно, отдаляло его от всего жизнедеятельного в жизни Восточной стороны и заставляло все больше уходить в свои мечты и в заботы об Иетте.

Как только она подросла, то стала ходить в ближайшую общественную школу, расположенную неподалеку. Пока девочки не было дома, Вениамин с жадностью занимался чтением. В самом темном углу лавки он освободил одну полку и расставил

91

ИРАТЕЛЕЙ

на ней все книги, которые ему нравились и которые ему хотелось, чтобы Иетта прочла, когда вырастет. Книги эти не предназначались для продажи. У Иетты было очень мало развлечений в детстве. Возвращаясь в лавку после учебных занятий, она взбиралась на высокий табурет рядом с отцом и вместе с ним занималась приготовлением уроков.

К концу первого года счет Вениамина в банке уменьшился на пятьсот долларов. Редкий месяц валовой доход от продажи книг равнялся ежемесячной наемной плате за помещение и расходам на существование. Но это не приводило его в уныние. Раз один из обычных посетителей спросил, как идут дела.

— Хоть я и не продаю много книг,—ответил Вениамин,— но зато у меня много времени для чтения.

Второй год был бы еще хуже, если бы не счастливый случай, обеспечивший Вениамину агентуру по продаже нескольких русских газет и значительно увеличивший его доход. Если бы он не так упрямо отказывался от всего, что имело связь с жаргоном, то лавка могла бы достигнуть цветущего состояния, потому что мало-по-малу Вениамин научился вести дело и стал довольно удачно пополнять свой книжный запас. Его своеобразная философия привлекала небольшой круг поклонников. Если они даже не вполне проникались его мечтами, то все же им нравилось слушать, как он мечтает.

В такой обстановке Иетта доросла до девичества. Каждый день, окончив уроки, она читала отцу вслух какую-нибудь из книг, которые он отложил на особую полку. Чтение было сумбурным, без всякого плана: то читалась история евреев, то Мотли и Прескот, то Шекспир, Диккенс и Эмерсон.

Последней вещью, которую она читала вслух, было трехтомное издание „Les Misérables“. Иетте было тогда пятнадцать лет, и чтение часто прерывалось отцовским кашлем. Вероятно, он заразился от юноши, который гнался на перегонки со смертью, чтобы получить высшее образование, черпая знания из энциклопедии. Друзья Вениамина печально покачивали головой. Но он надеялся скоро поправиться. Разве он не глотал аккуратно „патентованного лекарства“? И так вместе с кашлем кончилась

и самая жизнь Вениамина под чудесную симфонию мастерского произведения Гюго. Третий том читался уже не в лавочке, а в спальной на квартире Гольдштейна. Это была последняя книга, после которой Иетта ничего не читала в течение нескольких лет. Когда она была прочитана, Иетта уже стала бояться за отца. Начать новую книгу у нее не хватило мужества. Вениамину было слишком плохо, чтобы он мог слушать чтение.

ГЛАВА II.

Девические годы Иетты.

Смерть отца была для Иетты бо́льшей катастрофой, чем она представляла ее себе. Девочка чувствовала только личную утрату. Дядя взял на себя заботу о финансовых делах, продал книжную лавку и так далее. После оплаты всех расходов по похоронам он сказал, что больше ничего не осталось. Вернувшись с кладбища, тетка Иетты пыталась объяснить ей поделикатнее, насколько это удавалось столь удрученной горем и угрюмой женщине, что значит быть без гроша денег. Бросить школу? Начать работать? Она едва слушала. Печаль ее была слишком искренна, слишком сильна и необузданна.

У Гольдштейнов было трое детей. Исааку было восемнадцать лет. За два года перед тем он закончил курс наук в исправительном доме, получив звание местного карманника. В жизни его было много превратностей, но вообще деньги доставались ему „легко“, и почти не проходило недели, чтобы он не вручал матери нескольких долларов.

Шестнадцатилетние дочери-близнецы ходили на работу и вносили свой заработок в семью. Роза была анемичной, вечно ноющей и некрасивой. Она работала „по петлям для пуговиц“. Небольшое искривление позвоночника, которое проявилось во время ее детства, превратилось в жалкое уродство после ряда лет, проведенных за машиной в согнутом положении. Все очарование здоровья и жизнерадостности, которое должно было бы поровну поделиться между обеими девушками, выпало исключи-

тельно на долю Рахили. Она казалась на вид моложе Розы, но фигура ее развилась и уже приняла изящные женственные формы, чего совершенно недоставало ее сестре. Она не была красивой, но отличалась цветущим здоровьем, веселым нравом, и это в ней нравилось. Рахиль была модисткой и зарабатывала вдвое больше Розы.

Итак, положение Гольдштейнов было бы прямо блестящим, если бы отцовская страсть к пьянству не возрастала гораздо скорее, чем способность детей к заработкам. Бедность слишком тяжело давила миссис Гольдштейн, чтобы позволить ей смотреть сквозь пальцы на пребывание в доме лентяйки, да и кроме того она всегда относилась с неодобрением к неженственному воспитанию Иетты. Ей казалось почти нечестивым посылать девочек в школу. Сама она, ничуть не стесняясь, дала чиновнику ложные показания относительно возраста своих дочерей, чтобы избежать посылки детей в школу. В течение нескольких дней родственники оставляли Иетту в покое и не мешали ей плакать. Потом они грубо заставили ее очнуться от печального оцепенения и бросили в водоворот современной промышленности.

Рахиль увидела объявление, в котором в мастерскую готового платья требовались „начинающие". Послушно поднявшись вслед за сестрою по грязным ступенькам во второй этаж, Иетта вошла в длинную мастерскую, в которую была превращена обыкновенная квартира, со снятыми перегородками. Это было мрачное помещение, потому что окна выходили прямо на грязноватую кирпичную стену, поднимавшуюся в расстоянии трех футов. Окна в конце мастерской выходили на Аллэн-стрит. Полотно воздушной железной дороги шло вровень с полом и через каждые несколько минут дневной свет, который, повидимому, должен был бы проходить через эти окна, застилался проносящимися мимо поездами. Весь год напролет приходилось пользоваться искусственным освещением.

Внизу на улице кричали и плакали дети; разносчики с ручными тележками скрипучими, грубыми голосами выкрикивали свои товары; тяжелые платформы, нагруженные дребезжащими жбанами с молоком, с заглушенным грохотом катились по булы-

жной мостовой. Хаос звуков, разносившихся по узкому каньону улицы, казался непривычному уху какой-то адской музыкой, которая должна была быть слышна даже на небесах.

Но ни одного из этих звуков не долетало до длинной темной комнаты, помещавшейся во втором этаже. В одном углу мастерской дешевый электромотор передавал энергию на два вращающихся вала, шедших под потолком. Те, в свою очередь, при помощи целого лабиринта бегущих с шумом ремней передавали ее дюжине швейных машин, пущенных полным ходом. Шум стоял такой, словно в мастерской ни один из многочисленных подшипников никогда не смазывался, словно все многочисленные зубчатки не были пригнаны, как следует. Шум походил на какое-то осязаемое вещество, которое можно было пощупать. Для уличных звуков в помещении не оставалось места. Если бы архангел Гавриил затрубил в трубу внизу на тротуаре, то безмолвные женщины, согнувшиеся над работающими полным ходом машинами, ничего бы не услышали и пропустили бы воскресение из мертвых.

Ошеломленная этой странной и немного пугающей обстановкой, Иетта крепко схватила кузину за руку. Но отважная Рахиль не смутилась бы даже во львином рву Даниила. Она смело направилась в „контору". Там уже стояло в очереди около полдюжины женщин, все старше Иетты. Хозяин—„босс", кругленький человечек с черствым взглядом, не знал еще, на ком остановить свой выбор. Едва только он увидел молодых девушек, как перестал интересоваться женщинами.

— Это моя двоюродная сестра, Иетта Раевская,—сказала Рахиль.—Из нее выйдет хорошая начинающая работница.

— Работы не боится?—спросил он грубо.

Иетта до того боялась всего, что утратила дар слова. Но Рахиль ответила за нее, разразившись целым потоком самой чрезмерной, самой изысканной похвалы.

— Доллар в неделю, пока учится. Регулярная поштучная плата, когда получит машину.

Одна из более пожилых женщин начала рыдать, увидя безнадежность собственного положения—все боссы предпочитают юных.

— Молчать!—проревел босс. — Беру девушку. Остальные проваливайте.

Так была нанята Иетта. Сперва работа состояла в переноске, складывании и упаковке кип жилетов. Ноша была очень тяжелой для ее непривычной спины. Но ей удалось справиться с тягостями первого дня и последовавших за ним, и постепенно она привыкла к работе. После продолжительного ожидания она была посажена за машину.

Ум и молодость кое-что значат даже при такой тяжелой механической работе, какую исполняют в „потогонной мастерской". Пальцы Иетты еще сохраняли свою гибкость. Очень скоро она овладела рутинными движениями. Кроме того, она справлялась быстрее других женщин, когда случались такие происшествия, как разрыв нитки. В более короткий, чем обычно, срок она перешла к самой ответственной работе и сделалась „спидером"— самой проворной работницей, получая за это двойную плату.

В течение следующих лет, пока вся та часть мозга, которой приходилось управлять быстрыми движениями ее рук, была живой и деятельной, остальная—та часть, которой так глубоко интересовался ее отец, стала погружаться в состояние сна. Это было неизбежно. Быть может, если бы она была постарше при наступлении кризиса, то смогла бы начать борьбу с окружающей обстановкой. Она могла бы, возвращаясь домой, совладать с усталостью на час-другой, могла бы удержаться от дремоты и продолжать занятия, но ей было только пятнадцать лет.

Сперва ее заработок был так ничтожен, когда она еще только „начинала", что в предоставлении ей теткой пристанища была известная доля благотворительности. Ей постоянно напоминали о необходимости зарабатывать побольше. Но прежде, чем миновала эта побудительная причина, прежде чем ее заработка стало с избытком хватать на стол и кров, прежде чем ее дух воспрянул от летаргии, которая последовала за потерей отца, она подпала под власть „Скорости". Эта была основная нота всей ее пробуждающейся жизни. Каждая мелкая подробность окружавшей ее в „потогонной" мастерской обстановки, болтовня подруг, работающих за одним столом, воющая песня

приводных ремней, даже испорченный воздух—все это служило лишним толчком, заставлявшим с большим проворством приналечь на работу, побуждавшим все больше увеличивать быстроту.

У нее вошло в привычку весь свой заработок отдавать тетке. Она унаследовала от отца его неспособность к лукавству и отсутствие житейской опытности. Спальная комната, которую Вениамин занимал вместе с дочерью, была сдана какому-то постороннему жильцу. Иетте приходилось спать в одной постели с близнецами и донашивать их старые платья, из которых они выросли. Но если бы даже ей и пришла в голову мысль, как мало получает она взамен отдаваемого тетке заработка, то у нее не хватило бы храбрости устроиться где-нибудь отдельно, среди чужих. И у нее недоставало энергии после тех затрат, которые требовала от нее машина, чтобы спорить из-за всего этого с резкой и черствой теткой.

Тусклая монотонность жизни в „потогонной“ мастерской ничем не нарушалась. Боссы часто менялись. Менялись и работницы. Но самый процесс работы не изменялся, если не считать, что каждый новый хозяин урезывал поштучную плату и повышал степень скорости. И вот спустя три года чуть мерцающий луч солнечного света упал на лицо Иетты. Рахиль попала на бал.

Миссис Гольдштейн была настроена против „танцовальных зал“, потому что она придерживалась старомодных взглядов и ничего не знала о балах. Мистер Гольдштейн был против них, потому что знал их слишком хорошо. Поэтому, когда Рахиль объявила как-то вечером, что отправляется на „Костюмированный и Гражданский бал Демократического клуба на Хестер-стрит“, то поднялась целая буря. Мистер Гольдштейн—нельзя сказать, чтобы очень деликатно—потащил дочь в спальню и запер дверь на ключ. Поздно вечером он пришел домой немного в большем подпитии, чем обычно. Сокрушив какую-то мебель, чтобы поднять на ноги всех домашних, он разразился речью на тему о женской благопристойности и упомянул о том, где бы он предпочел скорее увидеть свою дочь, чем в танцовальном зале. Могила была одним из наименее непривлекательных мест,

на которые он намекал. Рахиль, повидимому, уступила перед семейным гневом.

Но в ее ремесле бывали часто периоды интенсивной работы, когда приходилось работать после ужина. Однажды вечером она вернулась домой необычайно поздно. Едва только она потушила свет и юркнула в кровать, как поспешила разбудить обеих девушек и в величайшем возбуждении поведала им, что была на балу. Одна девушка из их мастерской одолжила ей кое-какой наряд, блузочку, пару белых башмаков и шляпку. Ведь нельзя же итти танцовать в шали. Это было „что то грандиозное". Она долго не давала девушкам заснуть, рассказывая о красивых нарядах, „чудесной" музыке и приветливых мужчинах. Сама она была слишком взволнована, вне себя от восторга, чтобы спать. Она спрыгнула с постели и, напевая потихоньку популярный мотив, протанцовала перед ними вальс в одной ночной рубашке. На утро ей страшно хотелось спать, но музыка все еще звучала в ее ушах. Обе другие девушки были несколько испуганы ее крайним непослушанием. Угрюмая и злобная Роза грозила передать обо всем отцу. Рахиль перепугалась и обещала больше никогда не делать ничего подобного.

Но не прошло и нескольких дней, как Рахиль заявила за ужином, что ей придется сегодня работать до позднего времени. Однако, Иетта поняла, что это один предлог. Она почти не могла уснуть. Она проснулась в ту минуту, как Рахиль входила на цыпочках в комнату.

— Ты опять ходила?—сказала она.

— Ну, да. Но не разбуди Розы.

— Это очень нехорошо.

Может быть, девятнадцатилетняя Рахиль, воспитанная в полном неведении жизни, не видела ничего плохого в тех двух танцовальных вечеринках, на которых она присутствовала. В восточных кварталах города бывает много совершенно приличных танцовальных вечеров. Судьба могла привести ее как раз на такой бал. А, может, Рахиль просто истолковала по-своему те опасности, которые приходилось ей видеть. Она стала возражать на упрек Иетты. Под равномерный храп Розы обе девушки прошептались пол-ночи.

Рахиль защищалась вполне здраво, хотя она и высказывала все лишь наполовину—для нее было непривычно говорить откровенно о самом святом для нее. В конце концов, ведь женщины не для того рождаются на свет божий, чтобы губить свою жизнь в мастерских, где „выжимают пот". Они должны выходить замуж и рожать детей. Какой же у нее случай выйти замуж? На фабрике она не видит ни одного мужчины. Может быть, очень хорошо предоставить все на волю родителей, если бы они были люди, как люди. Но всякий знает, что у отца нет ни гроша за душой, что он просто никуда негодный пьянчужка. Какую же партию может он ей найти?

Она будет ходить на вечеринки, когда захочет. Во-первых, на них очень весело, а невелико веселье отделывать шляпки, которые будут носить другие женщины. Да и кроме того—ну, да!—она ведь не дурнушка. Может быть, на ней женится какой-нибудь красивенький молодой человек. Вот как раз на нынешней вечеринке с ней танцовал четыре раза „славненький молодчик". Он даже хотел проводить ее до дому. Но она не позволит ему провожать себя, пока не убедится, что у него „серьезные намерения". Она увидится с ним на танцовальном вечере в субботу и посмотрит. Будет ли у нее еще такой другой случай? Отец ничего не может для нее сделать. Мать и брат тоже. Ну, что же—она совершеннолетняя и позаботится о себе сама.

— А если бы я была такой хорошенькой, как ты, Иетта,—сказала она,—то мне бы, наверное, повезло. Почему ты не хочешь пойти со мной на вечер?

На следующий день во время перерыва для завтрака Иетта подслушала разговор каких-то девушек о танцах. Вместо того, чтобы углубиться в свои думы, как с нею обыкновенно бывало, и посвятить несколько минуток свободного времени воспоминаниям об отце, она села и стала прислушиваться к разговору. Иетта не умела танцовать. Но когда в следующий раз во время перерыва появилась шарманка, Иетта начала учиться танцам с помощью своих сотоварок по мастерской. Хотя она сделала быстрые успехи и слушала с жадным вниманием рассказы Рахили о краденых радостях, но все же не уступала упрашива-

ниям кузины. Природная робость, вместе с привычкой к повиновению, удерживала ее от соблазна пойти на бал.

Но в жизнь ее вошел новый элемент. Она начала сознавать, что ее обманывают каким-то бесстыдным образом. Разве ей не суждено знать иной жизни, кроме жизни мастерской, где „выжимают пот“? Неужели ее юность должна бесполезно пройти? С той поры, как Рахиль говорила об ее наружности, она стала останавливаться перед зеркальными окнами магазинов и задумывалась над тем, неужели ее нежная кожа обречена на морщины и желтизну, как кожа женщин, работающих с нею за одним столом? Неужели у нее никогда не будет детей? Будущее, о котором она раньше никогда не думала, начинало казаться ей мрачным и страшным. Она не верила, чтобы можно было добиться какого-нибудь коренного изменения своей участи к лучшему, отправляясь украдкой на бал, но во всяком случае это должно быть весело, как говорила Рахиль. Неужели ей никогда не удастся хоть как-нибудь повеселиться? Неужели пройдут года за годами, а она будет попрежнему влачить жалкое существование, без музыки, без смеха? Рано или поздно жадное стремление к более полной жизни заставило бы ее пуститься на приключения вместе с Рахилью, но искусительница внезапно сошла со сцены.

Исаак Гольдштейн встретил сестру на танцовальном вечере. Он не показывался дома больше недели, но на следующий же день явился и рассказал обо всем родителям. Когда Рахиль вернулась в этот вечер с работы домой, подвыпивший отец заявил, что она позорит его честное имя. Рахиль в сумрачном молчании слушала грязные ругательства отца, пока, наконец, он не ударил ее, доведенный до ярости собственным красноречием. Она страшно побледнела, а потом вдруг рассмеялась.

— Прощайте, Иетта и Рози!—И затем, погрозив отцу сжатым кулаком, выкрикнула:—А ты, ты убирайся к дьяволу.

Она хлопнула за собой дверью и больше никогда не возвращалась.

Давид Гольдштейн не часто беспокоил себя хождением в синагогу, но в следующую пятницу вечером он надел старый сюртук и потертый цилиндр и прочел в молитвенном доме выходцев

из Ковны заупокойную молитву о своей дочери, любительнице удовольствий.

Иетта с удивлением заметила, как сильно ей недостает кузины. Правда, она не так уж много проводила с ней времени— они работали в различных мастерских. Но с тех пор, как они вместе хранили тайну, у нее словно появился друг. Домашний очаг родных никогда не был веселым, а теперь, когда прекратился и редкий смех Рахили, он стал, конечно, совсем мрачным.

Эти секретные беседы, как бы ни было кратко их существование, вопреки своему трагическому концу, сделали свое дело. Они внезапно растворили окно в стене темной комнаты, где жила Иетта. Сквозь него она увидела, как через стекло в потемках, дивный сад, озаренный солнечным светом смеха, сад, где распускались чудные цветы музыки, радости—Романа.

Со времени недавнего развития „Учения о ребенке", с тех пор, как важные и начитанные профессора написали ряд ученых трудов по вопросу об „Играх", многое, над чем не очень задумывались минувшие поколения, приобрело большое значение. Мы теперь видим в детском лепете месячного грудного младенца изучение, упражнение голосового аппарата, который, быть может, спустя много лет удостоится рукоплесканий переполненной публикой оперы или покорит законодательную палату нации. Это уже не бессмысленный и, пожалуй, неприятный писк. Это часть глубокого развития человека. Совершенно случайные мускульные рефлексы пятилетнего мальчугана—стремительная беготня без всякой определенной цели, совершенно ненужное карабканье на что угодно—все это не является больше, как думали наши дедушки, бесцельной и иной раз несколько надоедливой забавой: человеческое существо должно ознакомиться с запутанной системой нервных сплетений и двигательных мускулов, которая должна помочь ему провести до конца предназначенную для него на свете работу. А маленькая девчурка со своей набитой опилками куклой сделалась очень важной штукой. Если она не научится в семь лет держать куклу, как следует, то ее настоящим детям, когда ей будет двадцать семь лет, по всей вероятности, придется очень плохо.

У Иетты никогда не было кукол. Дома совсем не было детей моложе ее. Она никогда не водила знакомства с мальчиками. Изголодавшись в одиночестве, создавая себе какую-то видимость, благодаря тайным беседам с Рахилью, она начала „играть“ мыслями о замужестве, о собственном гнезде, о детях. Ею овладело какое-то беспокойство, причины которого она не могла угадать. Она переживала тот период, когда девочка превращается в женщину. Природа производила глубокие и важные изменения в ее существе. Этот переход может быть прекрасным и радостным, если ничто не препятствует развивающимся органам и нервным центрам. Для Иетты он произошел поздно и порывисто, благодаря ее одинокому детству. Она превратилась в женщину в такой обстановке, где никому не было нужно ничего другого, кроме „рук“, работающих ради заработной платы. И вот для нее этот переход был связан с быстрой сменой настроений, с порывами полного отчаяния, несдержанного и смешного лиризма, внезапной и ничем необъяснимой робости, неестественных, безумных желаний.

Молодость ее должна была пройти совершенно напрасно, если бы только чего-нибудь не случилось. Она до болезненности стремилась к „Принцу в серебряных латах“. Но в наши дни совершенно нет принцев, которые стали бы заниматься спасением прекрасных девиц от жадных людоедов. Тем не менее Рахиль растворила окно на quasi-волшебную страну, где если и не было принцев bona fide, то во всяком случае встречались кое-какие „красивенькие молодые люди“. И вот как раз в ту минуту, когда она начинала опьяняться волшебным видением, окно захлопнулось прямо перед ней.

ГЛАВА III.

В мастерской, где „выжимают пот“.

Когда окно внезапно закрылось, тюремная камера Иетты стала казаться ей еще более мрачной, чем прежде. Понадобился контраст между видением и действительностью, чтобы заставить

ее заметить грязь и убожество—безобразную реальность этой длинной темной комнаты, с ее хаосом звуков, с ее расстраивающей нервы „скоростью“.

По всей восточной стороне Нью-Иорка разбросаны сотни таких мастерских, где „выжимают пот“, занятых различными отраслями производства „готового платья“. Иногда их помещается с полдюжины в одном и том же доме, одна над другой. Даже фабричные инспектора никогда не могут сказать наверное, сколько их всего. Они так близко идут рука об руку с банкротством, что бывает трудно проследить их путь. Часто полдюжины таких мастерских прогорает в один и тот же день, а на следующий появляется столько же новых. Нельзя припомнить, чтобы кто-нибудь когда-нибудь помянул добрым словом систему „выжимания пота“. Такие „мастерския“ существуют только потому, что и мне, и вам, и вашей милой жене, и священнику, который вас венчал, хочется покупать платье как можно дешевле.

„Мастерская“ Иетты занималась изготовлением жилетов. Четыре женщины за каждым столом составляли „запряжку“. Производя различные манипуляции над одним и тем же предметом, они должны были работать в самом теснейшем контакте друг с другом. Если одна отставала, то все теряли деньги из-за задержки. Им платили „поштучно“, и долгие часы работы, в течение семи дней в неделю, приносили заработок, дававший такой бесконечно малый перевес над расходами на самые насущные потребности, что потеря нескольких центов в день была целой трагедией для более пожилых женщин, которым нужно прокормить детей.

Иетта, самая молоденькая из всех, была Номером Первым за своим столом. Номер Второй звали миссис Леви. Ей можно было дать от двадцати пяти до пятидесяти лет, она была тучна и неповоротлива, но пальцы ее двигались ловко и проворно, как у обезьяны. Она тупо сидела за машиной; толстое тело, потерявшее всякую форму, было почти неподвижно—двигались только одни руки. Лицо было лишено всякого выражения. Выцветшие глаза были полузакрыты, потому что они были воспа-

лены от трахомы. Восемь лет тому назад она приехала с тремя детьми из Галиции к мужу и нашла его умирающим от туберкулеза. С тех пор она шила жилеты. Это была идеальная работница для мастерской, где заняты выжиманием пота, благонадежная работница—из тех, которые могут долго выдерживать непосильную тяжесть работы.

Напротив нее миссис Вайнштейн подхватывала жилеты, по мере того, как они выходили из-под машины миссис Леви. У нее была тоже крупная фигура, но она была немногим старше тридцати лет и только что начала работать. Она была веселого нрава, и в ней еще сохранилось много юной прелести. Конечно, прическа у нее была в беспорядке; пыль от материи покрывала мелкими крупинками ее вспотевшее лицо. На одной щеке была размазана капля машинного масла, но там, где блуза—вечно не застегнутая—обнаруживала шею и начало грудей, кожа была все еще нежной и белой. Ее муж, о котором она всегда говорила с влюбленным восхищением, как об очень милом и умном человеке, бросил ее за несколько месяцев перед тем. Занятый в другой отрасли производства готового платья, он был замешан в одной из стачек, которые все чаще и чаще потрясают систему выжимания пота. Его занесли на черную доску. После ряда недель, проведенных в безуспешных поисках работы, он исчез. Если бы ему удалось найти где-нибудь работу, то он прислал бы за женой. Он ни за что не мог сидеть без работы и обращаться за поддержкой к жене. У нее есть сестра, которая нашла себе хорошую партию, вышла замуж и не допустит, чтобы ребятишки голодали. Кроме того, миссис Вайнштейн не считала себя постоянной работницей по шитью жилетов. Скоро, как-нибудь на-днях, муж, наверное, найдет для себя работу в Бостоне, Филадельфии—вообще где-нибудь. Она всегда ждала, что назавтра придет письмо. Вот почему миссис Вайнштейн находила возможность быть жизнерадостной.

Но если Номер Второй отличался необычайно крепко сколоченным телом и флегматичным темпераментом—такие люди меньше всего страдают от системы выжимания пота—и если Номер Третий был наделен от природы веселым, жизнерадостным

характером, то у миссис Коген, занимавшей место в конце стола, не было ни одного из таких преимуществ. Не так давно перед тем она была Номером Первым—чудом быстроты. Потом начала кашлять. Нельзя кашлять и в то же время не прерывать правильного ритма работы, которым обусловливается скорость. В течение нескольких месяцев она спустилась до своего нынешнего места за столом. Она была не старше миссис Вайнштейн, но кожа у нее была желта, как у миссис Леви, и производила еще более неприятное впечатление, потому что обтягивала один костяк; кости выдавались у нее всюду острыми углами.

Работать она начала с двадцати одного года, когда муж умер, оставив ее с двумя детьми на руках. Спустя года два у нее родился еще ребенок—она надеялась, что сожитель женится на ней и вытащит ее из ада. Он не женился. А теперь нет уж больше никакой надежды—кто женится на женщине с больными легкими и с тремя детьми?

Безнадежное отчаяние заставило миссис Коген прозреть, хотя и ожесточило ее. Она вдруг увидела „мастерскую“ и „систему“ и поняла их. Она приступила к работе сильной и здоровой и получала сперва хорошую плату, когда обладала великим достоинством, скоростью, о которой все страстно мечтают. Тогда такая плата казалась ей хорошей. Но теперь она знает лучше. Они купили у нее не только работоспособность, которую она должна предоставлять в их пользование каждый день, но и все ее будущее. За заработную плату, полученную от них в течение каких-нибудь десяти лет, они купили всю ее жизнь, купили даже ее детей! Уже раз или два поток жилетов был для нее слишком стремительным. Джэк Гольдфогль, теперешний хозяин, грозил, что он ее рассчитает. Если она лишится работы, то это будет конец. Благотворительное общество возьмет, наверное, ребятишек и разместит их по „заведениям“. Нет, ей не так уж хорошо платили в те дни, когда давали экстренную прибавку за ту скорость работы, которая убивает человека. Для матери небольшое удовольствие слушать, как голодные ребята перестают плакать, когда она дает им есть, но это единственная радость,

которая осталась у миссис Коген. А если она потеряет работу, то лишится и этой радости.

Насколько Номер Четвертый на дальнем углу стола научился у жизни многим горьким истинам, настолько Иетта, сидевшая на первом месте, еще должна была почти всему учиться сначала. Свой продолжительный урок она начала с боли в спине. Это произошло совершенно неожиданно. От обидного изумления при внезапной боли и от самой боли она пронзительно вскрикнула и выронила из рук работу, сбив с такта всю четверку.

— Wos is dir, Иетта? — спросила миссис Вайнштейн с материнской заботливостью.

— Ой, ой, ой!—произнесла Иетта, приложив руку к спине.— Es is schon vorbei.

Миссис Коген на дальнем конце стола рассмеялась невеселым смехом.

— Снова вернется,—прокричала она на жаргоне, стараясь заглушить шум машин.—Я знаю. Так начинается. Гонят во-всю два года, три, четыре, а потом одна жалуется на легкия, другая на спину или на глаза.

Она воспользовалась минутной остановкой, чтобы облегчить себя кашлем.

Мисисс Леви, уже очень давно работавшая в таких мастерских, видела многих „спидеров", которые сдавали—одни постепенно, другие сразу. Она видела, как целые десятки их, отчаянно сопротивляясь в борьбе за кусок хлеба, постепенно сползали от верхнего конца стола к нижнему, а потом выбрасывались, выбрасывались за дверь на улицу и исчезали. Как и говорила миссис Коген, иногда болезнь начиналась с глаз, иногда с легких или со спины. Она кивнула головой в знак подтверждения. О, да! Ей приходилось это видеть много раз. Она могла бы рассказать историю одной матери, которая страшно гнала работу; не взирая на больную спину, легкия, глаза, она все продолжала работать с такой быстротой, пока однажды не упала мертвой прямо на машину. Волосы ее запутались в колесах, и их пришлось обрезать, чтобы оттащить труп.

Мисисс Вайнштейн старалась успокоить Иетту. — Не слушай их,—сказала она,—ты еще молода. Все обойдется...

Она внезапно остановилась, потому что дверь конторы распахнулась и появился Джэк Гольдфогль. Его ухо, привыкшее к хаотическому шуму мастерской, уловило мгновенную остановку.

— Ober, mein Gott, wos is der mer?—заорал он.

Миссис Коген, закончившая свою работу и сидевшая в ожидании новой, поторопилась указать пальцем на Иетту.

Джэку Гольдфоглю было двадцать восемь лет. Это была его первая мастерская. Лицо его выражало больше всего скрытую муку, которую он старался скрыть под маской хозяйских забот. Тот, кого вечно грызет бедность, никогда не бывает вежливым партнером в игре. Но эти невежественные, лишенные всякого воображения женщины, которые трудились для него, как рабыни, которых он подгонял ругательствами, срывавшимися с его языка, а иной раз колотил, не понимали его положения, они не знали о тысячах кошмаров, терзавших его постоянно, не дававших ему покоя ни ночью, ни днем. Они низко склонились над машинами, торопливо принявшись за работу под взглядом хозяина, затаив дыхание в ожидании потока ругательств, с которыми он должен был обрушиться на Иетту.

Ни одна из работниц не могла представить себе, что Иетта была исключением, и меньше всех об этом знала сама она. Джэк с трудом удержался от ругательств, едва не слетевших с его языка, и спросил у нее принужденным и необычным голосом, что с ней случилось.

— Ничего,—ответила она.—Боль в спине.

Никакая болезнь, бывающая у женщин, не считалась достаточным извинением для перерыва в работе. Иетта спрашивала себя с угрюмым, рабским страхом, на сколько „босс“ ее оштрафует. Если бы которая-нибудь из женщин подняла голову, то увидела бы, что какие-то странные судороги пробегали по лицу босса. Вдруг он повернулся и, не говоря ни слова, пошел обратно в контору. Там он сел за конторку и стал смотреть в окошечко, через которое мог подсматривать за всеми работ-

ницами, поднимая голову от большой счетной книги. Его взор остановился на мгновение на согнутой спине Иетты. Потом, сжав руками виски, он стал расхаживать взад и вперед по мрачной конторе, проклиная день, в который родился. Он был влюблен в Иетту и не мог решиться сказать ей о своей любви.

Нам очень трудно понять психологию выходцев из еврейских кварталов России и Галиции, приезжающих сюда и поселяющихся среди нас. Кроме всего другого, еврей отличается способностью проникаться единым стремлением и упорством в достижении намеченных целей. У нас существуют наши англосаксонские традиции компромиссов и нерешительных выходов. Обычно у нас на огне раскаляется несколько железных полос. Мы перебрасываемся легко, часто даже слишком поспешно—от одной цели к другой. Но семита трудно сбить с пути, на который он раз ступил, стремясь к достижению поставленной себе цели.

Ничего нет удивительного в том, что многие из молодых евреев, приезжая к нам, как большинство из них, в невероятной бедности, решают, что „святой служебник" сделан из американских долларов. Поразительна та непреклонная преданность одной идее, с которой они продолжают свои поиски, преданность, которая совершенно отсутствует в легендах об английских рыцарях времен короля Артура. Она всегда остается одинаковой, каким бы ни был идеал, который они избирают. Как ищущий денег будет отказывать себе в необходимой пище и переобременять работой жену и детей, чтобы скопить небольшой капитал, с тем же упорством поэт из восточных кварталов будет сидеть за писаньем стихов на еврейском жаргоне, хотя это занятие никогда не даст ему средств для сносного существования, а еврей-социалист будет стойко держаться своих принципов, несмотря на полуголодную жизнь и преследования.

Джэк Гольдфогль смутно припоминал большие волны, заливавшие палубу иммигрантского парохода и невероятно его пугавшие. Все остальные воспоминания относились к сценам, разыгрывавшимся в грязных закоулках Нью-Иорка. Он приобрел в молодости житейскую мудрость, мудрость, гласящую о том,

что ты должен стать или молотом, или наковальней, сделаться чьей-нибудь добычей или найти для себя добычу. В течение последних пятнадцати лет они вместе с сестрой, на помощь которой потом пришел муж, были заняты отчаянной борьбой, чтобы подняться из грязи.

Целые годы они трое были рабами машины. За шесть месяцев перед тем они вложили все свои жалкие сбережения в покупку этой „мастерской", использовали весь свой кредит. Они приняли на себя контракт невероятно спекулятивного характера, из которого не было половинчатого выхода. Еще десяток недель, и все выяснится—или будет достигнут громадный успех, или произойдет полное разорение. Неудача была бы потерей в одно мгновение результатов их долгого рабства, она означала бы возвращение к машине.

Сотни людей по всему городу, занятых в различных отраслях производства готового платья, были совершенно в таком же положении. Мечась между азартным характером своих контрактов и недостаточно обеспеченным кредитом, скрывая в душе страх перед разорением, они все глубже и глубже всаживают шпоры в бока животных, работающих на них, животных, на чьих спинах они надеются выиграть драгоценный приз—достичь успеха. Но при таких условиях возмущение было неизбежным. Постоянно происходили забастовки. Страх перед ними был самым тяжелым кошмаром, который мучил Джэка Гольдфогля.

Возмущение работников, занятых производством готового платья, протекало пока неорганизованно и хаотично. Возникло с десяток неприятных союзов, но лишь немногие из них были сильны или хорошо дисциплинированы. Слишком много людей, занятых этим ремеслом, были иммигрантами из юго-восточной Европы или русской Польши, где только незначительная часть населения грамотна. Большинство из них были женщины-матери. Когда заканчивались долгие часы работы в мастерской, они спешили домой к ребятам. Было очень трудно залучить их на митинги.

Но, несмотря на все такие препятствия, работники постепенно организовывались. Забастовки, которые уже бывали, имели

мало значения, если не считать, что благодаря им мелкие боссы разорялись. Крупные предприниматели имели возможность ждать, пока рабочие „руки“ не возвратятся снова к машинам, гонимые голодом. Но схватка была такая жестокая, что перерыва в несколько дней было достаточно, чтобы разорить более слабых боссов—все равно, бастовали ли в мастерских, занятых производством жилетов, рубашек или брюк. Такая мелюзга, как Джэк, испытывала те же чувства, что и Le Grand Monarque: потоп мог наступить после, а нам бы только успеть выполнить контракты. И поэтому шпоры всаживались все глубже и глубже, все с более возрастающей злобой.

Джэк Гольдфогль с большим изумлением сделал открытие, что гораздо приятнее смотреть сквозь окошечко для наблюдений на изгиб шейки Иетты и на буйные локончики пышных каштановых волос, спускавшихся прядями с ее головки, чем складывать столбцы цифр. Ему казалась грациозной даже нездоровая сутуловатость ее спины, когда она наклонялась к машине. Джэк нетерпеливо ждал того времени, через каждые полчаса, когда ему нужно было выходить в мастерскую для обычного обхода и наблюдения, потому что тогда он мог мельком взглянуть на ее лицо. Правда, она никогда не поднимала на него взоров от своей работы, пока он наблюдал за нею. Но в мастерской было одно местечко, где он мог встать, никем не замеченный, и смотреть на ее профиль. У нее были удивительно правильные черты лица для восточных кварталов. Темная, изгибающаяся линия бровей была безупречной, а иногда он мог уловить блеск ее глаз. Кожа на груди была у нее еще белее, чем у миссис Вайнштейн. Иетта была чуть тоньше, чем хотелось бы Джэку, чем был его идеал, но он говорил себе, что потом она пополнеет. Все это прибавляло ярких красок к его мечтам об успехе и клало более густые тени на боязнь разорения.

Мужчина, происходящий из другой расы, наверное потерял бы голову и сделал бы Иетте предложение. Но у Джэка была глубоко укоренившаяся привычка строить планы на успех. Задолго перед тем, как обратить внимание на грацию ее тела и красоту лица, он ясно понял, что она лучшая работница в его

мастерской, что по ней равняется все его заведение. Если он добьется успеха, то это произойдет только благодаря очень ничтожному преимуществу, которому может повредить прием на службу новой проворной работницы. Поэтому он решил выкинуть мысль об Иетте из головы, пока не закончится „горячий сезон". Упорно стремясь к достижению своей главной цели, он не думал о физическом здоровьи Иетты. Она была молода и на вид здорова. Ему не приходило в голову, что несколько недель меньше или больше могут иметь какое-нибудь значение. Боль в спине поразила его.

Если бы этот случай произошел утром, то он мог бы тогда же позвать ее в контору и сделать ей предложение. Утром все кажется в более веселом свете. Но за завтраком, очень умеренным—из двух сладких лепешек и стакана чая, он слышал тревожные разговоры о забастовке „отделывающих юбки". Дело было серьезнее обычного. Уже с полдюжины мастерских вылетело в трубу. А человек, сообщивший ему эти сведения, ненавистный конкурент, уныло предсказывал, что беспорядки начнутся и в их отрасли производства. Если бы забастовки вспыхнули среди шьющих жилеты, то кредиты были бы сокращены. Протест, одного-двух векселей был бы концом для Джэка. Нет! Он не мог взять Иетту из мастерской теперь. Всякая другая, которая займет ее место, может быть заражена ядом юнионизма. Его работницы не знали, что такое забастовка. Нет. Он не мог рискнуть на это. Если Пинкус и К-о заплатят сейчас же при ближайшей поставке товара, то он сможет выкупить эти опасные векселя и тогда... весьма возможно...

Он придвинулся к самому окошечку для наблюдений и взглянул на спину Иетты. Ему захотелось узнать, где у нее болит и продолжает ли еще болеть.

— Бедная девочка,—сказал он.

Но Иетта ничего не знала о намерениях своего босса. Она не видела для себя никакого выхода. Расстилавшееся перед ней будущее было таким унылым, что сердце сжималось при одной мысли о нем. Но она не в силах была избежать таких мыслей. Сделается ли она такой же тучной и безобразной, как миссис

Леви? Будет ли боль снова повторяться, и придется ли ей спускаться все ниже и ниже, как предсказывала миссис Коген, надрываясь от кашля, пока она не станет совершенно бесполезной?

ГЛАВА IV.

Жизнь зовет.

За те месяцы, которые последовали за уходом Рахили, Иетта начала терять надежду. Она переставала верить в возможность какого-нибудь избавления, и сонное течение жизни мало-по-малу заставляло тускнеть яркие краски ее грез. Огонь святого недовольства, вспыхнувший на мгновенье в ее душе грозил погаснуть. Иной раз она задавала себе вопрос, что сталось с Рахилью. Но „скорость“ уничтожает способность человека к размышлению.

Иетта теперь уже давно сидела за машиной. Ее мускулы окрепли. Она больше не страдала, как раньше, от усталости, но уже начала, сама этого не зная, катиться вниз под гору. Громадный запас жизненной энергии, который достается в удел многим ее соплеменникам, начинал приходить к концу. Поразительно, что ее сильное молодое тело еще выдерживало такое напряжение. Но всякий доктор, наверное, покачал бы головой и не поручился бы за ее будущее. В конце концов, есть известный предел, дальше которого женские нервы и мускулы не могут состязаться с электричеством и сталью.

Однажды вечером, спустя несколько дней после того, как у Иетты появилась боль в пояснице, какая-то американка постучалась в дверь квартиры Гольдштейнов, когда Иетта с Розой сидели за ужином.

— Я ваша соседка,—сказала она.—Меня зовут мисс Брэл. Я пришла познакомиться с вами.

Миссис Гольдштейн бросила на нее неприязненный взгляд, оторвавшись от шитья. Роза, как всегда, угрюмо продолжала ужинать. Но Иетта предложила незваной гостье свой стул. Повидимому, посетительница привыкла к такому холодному приему;

она спокойно уселась и попыталась насильно установить более дружеские отношения.

Она и еще кое-кто из ее знакомых наняли дом через улицу и собираются в нем поселиться. Это будет нечто вроде школы. Прежде всего они думают устроить детский сад и ясли для детей тех матерей, которые уходят на работу. Роза перебила ее грубым замечанием, что у них в семье нет никаких детей. Мисс Брэл ничуть не смутилась. Они, кроме того, предполагают устроить школу шитья для молодых женщин. Роза, которая взяла на себя ответственность за ведение переговоров, хотя и не переставала есть, сказала, что им с Иеттой приходится шить целый день напролет, и они совершенно не нуждаются в уроках.

— Прекрасно,—храбро продолжала мисс Брэл,—у нас будет тоже класс кулинарного искусства.

Роза ответила, что для них готовит мать.

— Но разве вам не хочется научиться самим готовить? Когда-нибудь у вас будет свой семейный очаг, и, право, стоит потратить немного времени, чтобы узнать, как можно дешево готовить разные вкусные кушанья. Ведь в самом деле, если жена будет знать, как делать закупки на научных основаниях и уяснит себе хоть немного питательность разных пищевых продуктов, то вы сумеете прокормить обыкновенную семью только на...

Но Роза еще раз прервала ее. Она кончила ужинать и, с шумом допив чашку чая, поднялась с места, худая, скрюченная, безобразная.

— Вы думаете, что кто-нибудь на мне женится?—спросила она с вызывающим видом.

У мисс Брэл не хватило мужества ответить искренно на поставленный вопрос. Она обратилась к Иетте, которая опустила голову и вспыхнула от смущения, поняв ее взгляд. Роза презрительно рассмеялась.

— У нее нет ни копейки денег. Никто не женится на девушке ради ее наружности, хотя бы она и умела готовить.

При таком кощунственном взгляде на романические чувства мисс Брэл обрела дар слова. Конечно, она сама не была заму-

жем. Но она скорее походила на молодую женщину, чем на старую деву. Нельзя было себе представить, чтобы она обзавелась кошкой. Она была почти атлетического сложения, волосы у нее были зачесаны так, чтобы скрыть несколько седых прядей, глаза были молоды и полны огня. Ее костюм, сшитый портным, был очень изящен, самого модного делового покроя, даже чуть-чуть кокетлив. На мисс Брэл нельзя было смотреть, не испытывая того чувства, что если кого и надо бранить за то, что она не вышла замуж, то единственно ее самое. Она разразилась страстной речью на тему о мужчинах. Конечно, есть такие бездушные скоты, которые женятся только ради денег. Но настоящий мужчина женится с такой же радостью на бедной девушке, как и на богатой, если он ее действительно любит. Она знает массу таких людей. Мисс Брэл со знакомыми дамами собирается устраивать клубы и классы для молодых людей в доме напротив—она назвала его „Домом Соседства". И раз в месяц они будут устраивать танцы. Она приглашала Розу с Иеттой приходить.

При слове „танцы" миссис Гольдштейн бросила шитье и, воткнув иголку себе в парик, поднялась с места с грозным видом. Нет! Ни дочь, ни племянница не пойдут танцовать. Костлявой рукой она выразительно показала на дверь. Мисс Брэл стала протестовать, указывая, что танцовальные вечера в Доме Соседства будут вполне приличны. Они приглашают только тех молодых людей и женщин, которых знают лично. Она пыталась сказать, что очень хорошо предоставлять девушкам возможность встречаться с мужчинами в невинной, благопристойной обстановке. Но ей ничего не удалось поделать с пришедшей в ярость старухой, и, в конце концов, она ушла, пожав плечами, признаваясь в своем поражении.

Мистер Гольдштейн, узнав о происшедшем, прибавил несколько новых ругательств к брани жены. Танцы привели к гибели одну дочь, и этого несчастья вполне достаточно для уважающей себя семьи. Да и кроме того, эти гои стараются подкопаться под истинную веру. Давид едва ли был религиозным человеком. Но различные социальные учреждения всегда очень

интересуются политическими реформами. А у Таммани-Холла слишком мало оснований, чтобы дружить с ними. И так как он не ожидал встретить никаких возражений, то такая беседа на религиозные темы являлась, повидимому, оружием, которым он ловко действовал.

Но все проповеди дяди и тетки не могли убедить Иетту, что мисс Брэл—это зло. Утром и вечером, выходя на работу и возвращаясь домой, она останавливалась на минутку у порога и наблюдала за ходом работ по устройству помещения, шедших в доме напротив. В нижнем этаже был раньше магазин. Теперь большое окно с зеркальными стеклами было вымыто, и поперек была протянута тяжелая занавеска, закрывавшая его нижнюю часть, чтобы прохожие не могли заглядывать в комнату с тротуара. Белые канифасные занавески были повешены на окнах верхнего этажа. Красивую старинную парадную дверь перекрасили в белый цвет, заржавленные перила на лестнице заменили новыми, изящными, из полированной стали. Скоро показались и „жильцы". Их приезд совпал с появлением на подоконниках красивых растений в горшках.

Хотя занавеска скрывала переднее нижнее помещение от взглядов с улицы, но она не была настолько высока, чтобы в комнату нельзя было заглянуть из окон квартиры Гольдштейнов. С этого удобного пункта Иетта стала изучать обычную вечернюю повседневную работу в учреждении. Доска с разными объявлениями, вывешенная у дверей, помогла ей дать имена всему, что она видела. По понедельникам происходили вечерние собрания „Клуба Марты Вашингтон". Собирались молодые женщины ее возраста, а мисс Брэл председательствовала. Обычно на собрании присутствовало несколько „городских дам", которые рассказывали что-то или пели девушкам. Эта часть вечернего развлечения продолжалась до девяти часов, а затем все группировались около мисс Брэл, садившейся за пианино, и исполняли хором несколько вещиц. Вечер заканчивался получасовыми танцами, и все расходились по домам немного позже десяти часов. По вторникам вечера предоставлялись для клуба мальчиков. В среду вечером были классы шитья. По четвергам

произносились речи в „Литературном клубе имени Аврааам Линкольна". Большинство членов клуба были молодые люди, лет двадцати, но среди них было несколько человек и постарше. В пятницу собирался „Клуб матерей", а по субботам показывали туманные картины.

Наконец, настал час и для ежемесячной танцовальной вечеринки. Уже за несколько дней перед тем Иетта заметила объявление, вывешенное на доске у входа. В этот торжественный вечер она сделала вид, что ей страшно хочется спать, и рано улеглась в постель, но как только Роза начала храпеть, она закуталась в шаль и одеяло и пробралась на цыпочках в комнату, выходившую окнами на улицу, чтобы посмотреть на бал. „Клуб Марты Вашингтон" явился на бал в полном составе, ослепительно прекрасный в своих самых лучших нарядах. Молодые люди из Литературного клуба в черных сюртуках тоже показались великолепными голодным глазам девушки, смотревшей на них издали. По странному обычаю, широкое окно было распахнуто настежь, хотя была половина февраля, и игра оркестра из четырех инструментов и звуки смеха свободно долетали до слуха Иетты.

За всю свою жизнь она никогда еще не была так счастлива, но к глазам ее почти все время подступали слезы. Она представляла себя то на месте одной из девушек, то другой. Там была одна, на которой блузочка казалась особенно нарядной. Иетта была убеждена в том, что будь она миллионершей или если бы добрая фея позволила ей высказать какое-нибудь желание, то она выбрала бы именно такое платье. На балу танцовал, между прочим, молодой человек, кудрявый веселый юноша, которого она заметила в один из четвергов. Всякий раз, как он принимал участие в спорах, все другие молодые люди неистово ему аплодировали. По большей части она представляла себе, что танцует с ним.

Спустя некоторое время музыка остановилась. Мисс Брэл и другие устроительницы внесли подносы, нагруженные лимонадом, бутербродами и пирожными. Кудрявый юноша сел рядом с девушкой в лучезарном платье. Горячая, лихорадочная дрожь

пробежала по всему телу Иетты. Ей было страшно даже представить себе, что будто бы это она так нарядно разодета, что будто бы к ней подсаживается такой молодой человек и шепчет ей что-то на ушко, поглядывая на нее и смеясь все время.

Огонь, на котором готовили ужин, еще не потух в грязной кухне Гольдштейнов, служившей им и столовой и гостиной. Было душно и жарко, но Иетту кинуло в дрожь, несмотря на шаль и одеяло, когда закончился перерыв. Кудрявый юноша обвил небрежно рукой восхитительную блузочку и пустился отплясывать легкомысленный „ту-степ", пожалуй, чересчур близко склонившись к лицу своей дамы. Иетта почувствовала себя так, словно ее неожиданно приласкали. Ей пришлось стиснуть зубы, чтобы они перестали стучать.

Страшная буря бушевала в груди молоденькой девушки, работницы из „потогонной" мастерской. Иногда она должна была закрывать глаза, так ослепляла ее красота зрелища. На минуту она позабывала о жалкой действительности, и душа ее, казалось, отлетала от тела и переносилась через улицу в ярко освещенную комнату. В глубине души Иетта сама принимала участие в этом веселом празднестве. Она была пышно разодета. Мужчины—даже чудесный кудрявый юноша—приглашали ее танцовать с ними. И ей можно было смеяться.

Но дивный ангел Забвения—такой же непостоянный шалун, как и его брат, Дух Наслаждения. Ни один мудрец за все века не научился искусству держать его всегда при себе.

Мысли о суровой действительности, которая ждет ее с наступлением дня, нахлынули на Иетту. Позади нее была грязная квартира, храпенье постылых родственников. В темной спаленке на спинке стула висело ее единственное поношенное платье, в ожидании, чтобы она надела его на себя и побежала торопливо в предутренних сумерках в мастерскую Джэка Гольдфогля. Обыденщина—безнадежное однообразие! Тюремная дорожка—столько-то шагов от испорченного воздуха комнаты и тревожного сна у себя дома до жестокой скорости и бесчеловечности машины. А потом столько-то шагов обратно—и опять одно и то же.

Впереди нее, в комнате через улицу, „жизнь, какой она могла бы быть“. Красота—волнующий подъем—радость.

Внутренний взор Иетты переходил с одного видения на другое. В течение всего долгого вечера она простояла у окна на коленях, настолько забыв о своем теле, что не чувствовала, как грязный косяк окна резал ее локти, как ныли у нее колени на неметенном полу.

Наконец, музыканты отложили инструменты. Все начали настойчиво бить в ладоши и столпились вокруг мисс Брэл. Но она подносила им к носу часы. Далекий церковный колокол пробил полночь. Иетта оставалась на своем посту, пока последняя веселая парочка не распростилась, смеясь, с хозяйками, провожавшими гостей до дверей. Еще несколько минут она наблюдала за тенями в верхних окнах, пока „жильцы“ беседовали о том, как удачно прошла вечеринка. Она простояла у окна, пока не погас последний огонек, потом юркнула снова в кровать и все плакала, пока не уснула.

Слезы, которые она пролила в эту ночь, были не из тех, что исцеляют. В них была горечь, растравлявшая сердце. Почти четыре года тело ее подвергалось пыткам. Теперь начала разрываться на части душа. Вопросы, которые смущали ее после исчезновения Рахили, стали возникать перед ней все с большей и большей настойчивостью. Неужели она никогда не узнает, что значит радость? Неужели день будет тянуться за днем, полный унылого и томительного однообразия? Неужели эта тупая боль от душевного голода прекратится только с наступлением неопределенного будущего, когда она, обманувшаяся во всем, окажется выброшенной, как ненужная вещь, на груду человеческих отбросов? Неужели эта тоскливая равнина, где нет никаких приключений, никогда не сменится какими-нибудь ослепительными горными вершинами или тенистыми долинами?

Вскоре после бала в собрании, на который Иетта смотрела, как изголодавшийся попрошайка глазеет на окна булочной, внезапно перед ней раскрылась жизнь. Мрачная монотонность озарилась призрачным пламенем фейерверка. Ракеты рассыпались ослепительным, тревожным красным светом в ночной темноте.

Вспыхнуло сильное, яркое пламя надежды, и все небо расцветилось мягкими, ласкающими красками неподдельного Романа.

В мастерской сломался мотор. Джэк Гольдфогль ругался и рвал на себе волосы. Он заставил работниц просидеть, сложа руки, полдня, пока не пришли монтеры и не сказали, что повреждения нельзя исправить до полуночи. Тогда Джэк угрюмо отпустил женщин. На долю Иетты редко выпадал такой праздник. Ей незачем было возвращаться в постылый дом. Был ранний весенний день, солнце ласково грело, и оттого улицы выглядели нарядными.

Бесцельно прогуливаясь, Иетта зашла в Хамильтон-Фиш-Парк. Слабый запах распускающихся почек, долетевший до нее в этом месте, не загороженном домами, словно отравил ее. Мучительные вопросы вернулись к ней с новой силой. Почему? Что это все значит? Неужели нет никакого выхода?

Вдруг ее внимание было привлечено знакомой фигурой. Это была Рахиль, разряженная с дешевой пышностью. Иетта ускорила шаги, чтобы догнать ее, и окликнула кузину. Та была страшно поражена, узнав Иетту. Она уставилась на нее с изумлением, но это на самом деле была Иетта, прежняя Иетта с большими, печальными глазами, с той же самой старой шалью на голове.

— У нас в мастерской сломался мотор,—объяснила Иетта, когда они уселись на скамейку.—Я пошла прогуляться. Где ты работаешь?

— Я не работаю.

Глаза Иетты раскрылись шире.

— Ты вышла замуж?—спросила она с благоговением в голосе.

Стыд замкнул уста Рахили. Как ей объяснить безобразную грязь жизни неопытной маленькой кузине? Она хотела было подняться и уйти. Но внезапно при воспоминании о девичьих мечтах, которые она поверяла Иетте, ею овладело отчаяние. Она обвила руками кузину и расплакалась горючими слезами, разразилась рыданиями, которые потрясли их обеих. Несколько слов срывалось с ее губ, повторялась все одна и та же фраза: „Ах,

Иетта! Мне так хотелось быть хорошей". Когда улегся первый взрыв печали, она начала рассказывать, как это все случилось.

Сперва все шло гладко. Она наняла меблированную комнату вместе с одной девушкой из их мастерской, с той самой, которая одолжила ей для первой вечеринки шляпку и белые башмаки.— Она на меня набросилась,—объяснила Рахиль.—Они вели веселый, но вполне невинный образ жизни, работая усердно целый день и отправляясь потанцовать два или три вечера в неделю. Как только они научились делать выбор, то стали посещать приличные вечеринки. Кое-кто из мужчин начал ухаживать за Рахилью. В нее влюбился один приказчик из магазина сухих фруктов на Шестом Авеню. У него были серьезные намерения. Но он зарабатывал очень мало, у него была сестра на возрасте, и ему хотелесь обождать годика два. Она даже была обручена с одним человеком. Сначала, по ее словам, она по нем „с ума сходила". Она позволяла ему целовать себя и допускала некоторые вольности. Но затем увидела, что он „мотишка", что он слишком швыряется деньгами—совсем, как отец. Такого мужа ей не надо, поэтому она прогнала его от себя. А потом ее сожительница „набросилась" на другую девушку и оставила Рахиль в меблированной комнате одну.

— Что же ты будешь делать,—начала она снова плакать,— когда у тебя нет иного пристанища, кроме меблированной комнаты, чтобы принять у себя друга? Одна одинешенька? Девушка не может надеяться на удачу, когда она совсем одна—вот, как я.

Она не могла рассказать Иетте, что произошло потом, и стала расспрашивать о своих. Когда Иетта выложила перед ней скудный запас новостей, у Рахили открылись шлюзы сердечной горечи. Она стала проклинать родных. Их нужно бранить за ее несчастье. Почему отец не старался создать для своих детей приличное гнездо? Разве она виновата в том, что ее брат жулик? Если бы они были честны и домовиты, то могли бы найти для нее подходящую партию. Они не только для нее ничего не делали, но хуже того, даже тратили то, что она сама зарабатывала. Если бы она была сиротой, то могла бы откладывать немного

из своего заработка в банк—могла бы сберечь достаточно денег, чтобы выйти замуж.

— Не позволяй им обирать себя, Иетта,—разразилась она гневными речами,—как они меня обирали. Может быть, я и скверная женщина, но я никогда не надувала маленьких девочек, как они надували нас с тобой. Я никогда не грабила сироту, как они тебя грабили. Ты была глупа, что терпела это. Зачем ты отдавала им свой заработок? Разве они не достаточно тебя обобрали? Они заставляли твоего бедняжку отца платить за стол очень дорого. Похороны никогда того не стоили, что они сказали. А теперь они воруют у тебя твой заработок. Я расскажу тебе, что ты должна сделать. Найди у себя в мастерской какую-нибудь хорошую женщину, которая возьмет тебя к себе столоваться, и откладывай деньги в банк. Но не поселяйся ни в каких меблированных комнатах. Меблированные комнаты—это ад! Ты...

— Алло, Рэй! Представьте меня своей подруге.

Голос прервавшего их беседу заставил Рахиль вздрогнуть. На подошедшем к ним был синевато-серый костюм, с обшлагами и воротником, отделанными шелковой тесьмой. В алом галстуке сиял большой брильянт. Назнакомец как будто не хотел уступить солнцу в его преждевременном великолепии; на голове у него была не совсем свежая панама, смятая по образцу, изображенному на фотографиях германского кронпринца.

— Я говорю,—настойчиво повторил он, и в его мягком голосе прозвучали нотки угрозы, которая еще яснее мелькнула в холодном, повелительном взгляде,—я говорю, представьте меня своей подруге.

— Это моя двоюродная сестра, Иетта Раевская,—неохотно ответила Рахиль.

— А меня зовут,—сказал он со спокойной уверенностью,—Гарри Клейн. Очень рад познакомиться с вами, мисс Раевская. Вы танцуете так же хорошо, как и ваша кузина?

— Я никогда не танцовала,—пролепетала Иетта.

Она была очень взволнована его пристальным взглядом, в котором виднелось искреннее восхищение. Ни один мужчина никогда еще не называл ее „мисс“. Снова лихорадочная дрожь

пробежала по всему ее телу. Но, повидимому, он не замечал ее смущения.

— Я прогуливался по улице,—сказал он,—и заметил мисс Гольдштейн здесь в парке. Я пришел пригласить ее пойти со мной сегодня вечером на бал у Тима Сюлливана. Не хотите ли отправиться с нами?

— У нее нет платья для бала,—заметила Рахиль.

— Мне думается,—сказал он, и взгляд его снова стал жестким,—что вы могли бы одолжить ей какое-нибудь платье.

Но Иетта до того была испугана при одной мысли пойти на бал, что не находила слов. Она робко отказалась.

Гарри Клейн стал ее уговаривать, ловко пользуясь моментом, чтобы посвятить Иетту в историю своей жизни. Он служит коммивояжером в большой фирме на Бродвэй, торгующей шелковыми товарами. Конечно, он получает очень хорошо и через несколько месяцев будет принят в число владельцев фирмы, но это имеет и свои неудобства. Ему не слишком часто приходится бывать в Нью-Иорке. Он любит потанцовать, но не больно весело ходить на вечера одному. Постоянно бывая в разъездах, он не может завести много знакомств с хорошенькими девушками. А к тому сорту девиц, которых можно „подцепить“ на балу, он не привык. Ему хотелось бы, чтобы и Иетта пошла на вечеринку. Он знает еще одного коммивояжера: это его приятель, который сейчас тоже в городе. Было бы чудесно пойти на бал вчетвером.

Но, конечно, он не будет приставать к ней с уговорами. Очень жаль, что она не хочет итти, но он рассчитывал, что мисс Гольдштейн найдет даму для его приятеля. Может быть, она в виду этого теперь согласится пойти?

— Я очень огорчен, мисс Раевская, что нам с вашей кузиной нужно уходить,—сказал он, приглашая знаком Рахиль встать,—и я безусловно надеюсь иметь удовольствие встретиться с вами еще раз.

Он отвесил низкий поклон, галантно взмахнув шляпой, и, взяв Рахиль под руку, весело пустился в путь. Но, пройдя несколько шагов, он вернулся обратно.

— Не буду огорчаться тем, что вы не пойдете со мной сегодня вечером,—сказал он со своей самой ласковой улыбкой.— Вы мне страшно нравитесь, и я хочу познакомиться с вами. Мы еще увидимся.

Он снова изящно взмахнул шляпой и стал догонять Рахиль.

После их ухода Иетта долго сидела в молчании на скамейке в парке. Она старалась найти в жизни какой-то смысл. Но все это было так запутано. Что значит рассказ Рахили? Она смутно слышала о женщинах, которых называют „скверными". Ей были известны и их более вульгарные клички. Рахиль была нарумянена, она сама называла себя „скверной". Но Иетте ничего не говорило слово, которое могло относиться к такой девушке, как ее кузина, хотевшая „быть хорошей". Она понимала, что Рахиль была несчастна, печальна и очень пристыжена, но не могла считать ее грешницей или испорченной. Она пыталась—но совершенно тщетно—представить себе, какой образ жизни ведет Рахиль. Она пыталась уяснить себе, в чем именно состоят ее „скверные поступки". Она где-то слышала о том, что „любовь продают", но понятия не имела, как это происходит. Ее совершенно ошеломляло открытие—оно и в самом деле отуманивает головы даже людям постарше и поумнее—что „скверные" люди могут в конечном итоге быть хорошими.

Но ей было трудно сосредоточить свои мысли на этой проблеме из области этики. Гораздо легче было думать о Гарри Клейне. Она никогда в жизни не беседовала с таким вежливым и красиво одетым господином. Мечты о кудрявом ораторе из Литературного клуба сразу потускнели — Гарри Клейн был гораздо красивее.

Потешный вопрос промелькнул у нее в голове. А не делается ли девушка „скверной", если у нее появляются такие очаровательные друзья? Нет. Этого не может быть. Он хотел подружиться с ней. Но ведь она же знает, что она не скверная.

Он сказал, что ему хочется стать ее другом! При этой мысли кровь пробежала по всем ее жилкам. Она снова начала воскрешать в памяти все свои разговоры с Рахилью. Единственным возможным способом избавиться от мастерской был выход замуж

Конечно, она не может мечтать приобрести расположение такого обходительного господина, как Гарри Клейн. Но избавление—если оно вообще может прийти—должно прийти именно таким путем. Это была ее единственная надежда.

ГЛАВА V.

Гарри Клейн.

Когда они отошли настолько, что их нельзя было слышать, Гарри Клейн стиснул руку Рахили.

— Слушай, малютка, твоя сестричка прямо персик. Почему ты не познакомила меня с ней раньше?

— О, Джэк,—взмолилась Рахиль,—оставь ее в покое. Она не видела в жизни ничего хорошего. Она еще совсем дитя. У нее нет ни отца, ни матери. О, Джэк, пожалуйста! Обещай мне, что ты оставишь ее в покое. Есть сотни других девушек. Ведь она еще совсем дитя. Пожалуйста!..

— Ну, заткни свою пасть,—зарычал он,—не надоедай мне.

И он начал насвистывать веселую песенку. Рахиль могла бы с таким же успехом отправиться к Джэку Гольдфоглю и на тех же основаниях просить его не изнурять ее кузины на работе с такой безжалостностью. С тем же успехом она могла бы обратиться к вам или ко мне с просьбой платить за наши костюмы более приличную плату. Гарри Клейну были нужны деньги совершенно так же, как мистеру Гольдфоглю, точно так же, как вам и мне.

— Где „Сшибатель“?—спросил он, прерывая свой свист.

— Спит,—отвечала Рахиль.

— Ладно, мы его подымем.

Они повернули в боковую улицу.

— Джэк,—начала Рахиль снова,—я найду для тебя какую-нибудь другую девушку, я сделаю для тебя, что угодно. О, Джэк, пожалуйста!

— Заткнись,—прорычал он,—рассказывай о своих печалях полицейскому.

Они поднялись по грязной лестнице в третий этаж и остановились у двери, которую Рахиль открыла своим ключом. Дверь вела в длинную прихожую. Повернув налево, они вошли в гостиную, обставленную дешевой плюшевой мебелью. Окна были закрыты; воздух в комнате был насыщен запахом застоявшегося пива и табачного дыма—разнообразным зловонием ночного кутежа.

— Разбуди его,—приказал Джэк.

Рахиль вернулась в прихожую и открыла дверь спальной. Воздух в ней был еще хуже, чем в гостиной. Лежа ничком поперек кровати, на ней спал узкогрудый молодой человек, лет двадцати восьми или около того. Из заднего кармана брюк высовывалась рукоятка револьвера. Пиджак, жилет и рубашка были брошены на спинку стула. На полу валялись сапоги.

— Чарли,—позвала Рахиль.

Ответа не было. Она осторожно приблизилась к кровати и подергала спящего за ногу, отскочив сейчас же подальше, чтобы он не мог достать до нее. Раздалось два-три сердитых ругательства.

— Чарли,—позвала она снова.

Он приподнялся на кровати и сел, разразившись грубой бранью.

— Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты оставляла меня в покое, когда я сплю? Я разобью тебе грязную рожу.

— Джэк в парадной комнате,—перебила она его,— и хочет тебя видеть.

— Джэк?—он опустил руку, поднятую для удара.—Какого чорта ему надо?

— Почем я знаю.

— Ты никогда ничего не знаешь,—проворчал он сердито, протирая заспанные глаза. Шлепая ногами в одних носках, он направился через зал. Когда великие сего мира ждут, вы не можете задерживаться над надеванием башмаков.

— Здорово, Сшибатель, — произнес Джэк. — Мне нужно с тобой побеседовать кое о чем. Твоя мамзель—он указал на Рахиль—причалила меня сегодня к медовому цветочку по имени Иетта Раевская. Куколка пришлась мне по вкусу. Понимаешь?

Она кузина Рэй. Вот мне и нужно, чтобы ты объяснил ей, сделав мне личное одолжение, что нечего ей совать нос, куда не надо. Чем меньше она будет болтать, тем будет лучше. Не внушишь ли ты ей это поосновательней, так, чтобы она не забыла? Понимаешь?

Чарли—alias Сшибатель—понял. Поняла и Рахиль. Она забилась в угол и стала давать обещания не предупреждать ни о чем Иетту, если только они не будут ее бить. Но эти господа были твердо уверены, „что вздуть женщину никогда не вредно“... И вот с этого времени Рахиль и начала убивать себя „горлодером“. Она не любила вспоминать о том, как ей пришлось предать Иетту. И пьянство помогало ей забыть об этом.

Мало что доставляло Джэку, или Гарри Клейну,—для нас безразлично, как его называть, потому что десятки других имен были помещены на обороте его портрета в „портретной галерее негодяев“ в сыскном,—немногое доставляло ему большее наслаждение, чем зрелище того, как кто-нибудь припадает к его ногам. Раболепство, с которым „Сшибатель“ исполнил его приказание, дикий ужас и отчаянные жалобы Рахили приятно щекотали нервы его извращенного существа, и он причмокивал губами, сходя вниз по лестнице и выходя на улицу, окутанную вечерними сумерками.

На Восточной стороне города он был признанным предводителем главной местной шайки хулиганов,—разнообразного скопища мошенников, „жуликов“, карманных воров, сутенеров и сводников. Не следует думать, однако, что все эти разнообразные профессии резко отличались одна от другой. Есть стародавнее предание, которое гласит, что во время оно низший свет Нью-Иорка подразделялся на определенные классы и партии, когда „нырок“ смотрел сверху вниз на простого нищего, а у грабителей, орудовавших на большой дороге, была профессиональная гордость, удерживавшая их от общения со сводниками. Но в лето от рождества Христова 1903, когда окольная извилистая дорожка Джэка пересеклась с жизненной тропой Иетты, такие тонкие различия совершенно исчезли, если вообще они когда-либо существовали. Многие из тех, которые считали себя призовыми боксерами, иной раз занимались „облегчением пьян-

чуг". Самый искусный карманник не брезговал доходами, получаемыми от продажи „дутых" драгоценностей. Теперь уже нельзя больше отличить „взломщика" от „наводчика", и даже речные пираты пишут „просительные письма". Но из всех „легких заработков" самый легчайший—это доход от проституции. У весьма немногих представителей низшего света не было хотя бы одной или двух женщин „в поводу". Так низко пала даже легендарная аристократия подделывателей. Политические убеждения шайки, которой правил Джэк, определялись Демократическим клубом Джемса Б. О'Рурка, где Джэк был председателем. Организация нанимала для клуба жалкое помещение в нижнем этаже на Брумстрит, на средства, получаемые ею с Четырнадцатой улицы. Раз в год устраивались бал и пикник. Чиновник из главного сыскного управления мог бы установить „родословную" почти всех членов клуба, если бы ему пришлось побывать на собрании. Но выдающиеся политические деятели, члены городской администрации, которые иногда заглядывали в клуб, не приводили с собой сыщиков. Они видели только целое собрание ревностных молодых демократов. Доброжелательное отношение клуба являлось очень важным козырем в руках честолюбивых политиков. Члены такого клуба охотно подадут свой голос раз пять за понравившегося им кандидата.

Правление шайки помещалось в одном из низкопробных отелей на нижнем Втором Авеню. Там, в весьма блестящей задней „гостиной для дам" или в Венгерском ресторане, в который вела следующая дверь, сторонники Джэка и проводили часы досуга. Через несколько домов отсюда начиналась граница между их территорией и землями враждебных банд. Местность, „подвластная" этой шайке, как раз находилась в пределах границ полицейского участка, с начальником которого был заключен мирный договор.

Еще одна профессиональная штаб-квартира находилась в невинной на вид парикмахерской на Кристи-стрит. В задней комнате был сборный пункт. Лампы были с такими абажурами, что стол освещался ослепительно, а прочая часть комнаты оставалась в полнейшей темноте. Если вы входили сюда из ярко

освещенной мастерской, выходившей на улицу, то не смогли бы сказать, сколько здесь народу и сколько револьверов направлено на вас. Незаметная дверь в задней уборной выходила в переулок, который, не говоря уж о его стратегических преимуществах, вел к задней двери ссудной лавочки Пинхуса Кагана. Много краденых вещей прошло по этой дорожке.

О знаменитых вождях разных банд Нижнего Нью-Иорка слагалась целая серия романических рассказов вроде повести о Робин Гуде. Как всегда, действительная подкладка романических историй весьма прозаична. Например, Джэк вовсе не был поразительно ловким, одаренным сильной волей или бесстрашным представителем человеческого рода. Конечно, всеми этими качествами он превосходил многих из своих хилых, уродливых, нюхающих кокаин приверженцев, но тем не менее он был обязан своим положением расчетливому, терпеливому благоразумию. Осторожность, несомненно, является лучшей доблестью в мошенничестве, и в то время, как большинство плутов бывают отчаянными смельчаками, Джэк был осторожен.

Со времени своего первого заключения в исправительном доме Джэк умудрялся держаться подальше от кутузки. По освобождении он организовал „партию“ карманников. Большинство членов были подростки, с которыми он встретился в этом почтенном учреждении. Ни исправительный дом, ни другие такие „реформатории“ нельзя порицать за преступления тех, которые в них побывали. Многие из их постояльцев научились тому или иному честному ремеслу, и кое-кто стал заниматься им после того, как был освобожден. Приблизительно половина юных карманников, сгруппировавшихся около Джэка, никогда не сидела в тюрьме, но ни на иоту не была менее испорченной, чем побывавшие в исправительном доме.

Благодаря осторожности своего вождя, эта маленькая шайка, которая находилась в подчиненном отношении к главнейшей банде восточной стороны, наслаждалась почти безмятежным благоденствием. Но, достигнув восемнадцати лет, Джэк отошел от практической деятельности по своей специальности. Женщины приносили ему такой же доход, а занятие было более безопасным.

Природа одарила его необходимыми чарами. Ему нравилась опрятность, он отличался привлекательной наружностью, а самое главное, у него был мягкий, убедительный голос.

Корыстолюбие, связанное с врожденной способностью к организации, всегда толкало его на новые предприятия. Он собрал воедино остатки всем известного Треста Нищих. Он вступил в „Независимое благотворительное общество“ и взял в свои руки поставку девушек в „дешевые“ дома. Мало-по-малу к нему перешел контроль над самыми доходными занятиями шайки. На его месте почти всякий другой представитель преступного мира стал бы претендовать на признание за собою главенства гораздо раньше, чем это сделал Джэк. Он был скромен или, как говорили его враги, труслив. Он поджидал, пока неожиданная смерть или тюремное заключение не устранят его главных соперников— пока предводительство не будет как бы прямо навязано ему силой.

В шайке участвовали более ловкие, более настойчивые, более храбрые люди, чем он сам. Но Джэк никогда не был беспечным. Гражданская война в области политики дала ему удобный случай заключить точные и выгодные договоры со „стоящими повыше“. У него было достаточно смысла, чтобы отучиться от некоторых „дурных привычек“. Он не отличался воображением, чтобы испытывать чувство какой-нибудь лойяльности или симпатии, и от этого стал, как говорится, неразборчивым в средствах. Подобно большинству трусов он был жесток и беспощадно мстителен. Он не убил ни одного человека собственными руками, но правил своей организацией „тугов“, действуя одним страхом.

Прошло два дня со времени его встречи с Иеттой в парке, пока она снова увиделась с ним. Выйдя из мастерской после дневной работы, она почти столкнулась с Джэком.

— Как, это вы, мисс Раевская?—приветствовал он ее.— Ваша кузина Рэй сказала мне, где вы работаете. Можно с вами пройтись?

Он дошел с ней до угла улицы, на которой она жила. По дороге он рассказывал ей занимательные истории о бале, как веселились они с Рахилью и как ему было жаль, что Иетта

упустила такой случай. Нет, право, ей следовало пойти. Как же тогда развлекаться работающим девушкам, если не ходить на танцовальные вечеринки? Разумеется, есть такие девушки, которые чересчур увлекаются танцами, посещают балы каждый вечер и остаются до поздней ночи. Он не одобряет подобных поступков. Ему приходится работать. А он вовсе не желает дремать во время занятий в конторе. Ну, конечно, нет! Серьезный молодой человек с честолюбивыми замыслами не может проводить в забавах все ночи напролет. Он очень редко посещает балы, только по субботам.

Гарри Клейн, иначе Джэк, понял Иетту и решил вести с ней „серьезные" разговоры.

Спустя несколько дней он снова встретился с нею. По его объяснению, он шел „мимо". В течение пяти-шести таких прогулок Джэк раскрыл перед Иеттой свое сердце. Не осталось ничего, что он не рассказал бы ей о себе. Она услышала о всех его честолюбивых планах и надеждах, познакомилась с именами его влиятельных родственников, узнала в мельчайших подробностях его серьезную, трудовую жизнь и состояние его счета в сберегательной кассе на Боуэри. Очень скоро „боссы" исполнят свое обещание и примут его участником в фирму. Они будут страшно поражены, узнав, какой капитал им накоплен. А тем временем он изучил дело от А до Z. Чего он не знает о шелке, того и не стоит совершенно знать.

Всем этим волшебным сказкам Иетта внимала с полным доверием. Молодой человек умел убеждать, он был любезен, вежлив и прекрасно одет. Да и, кроме того, Рахиль наверное предупредила бы ее, если бы он был дурным человеком.

Если бы Иетта выросла среди мальчиков, если бы она играла в ухаживанье, чем, к счастью, занимается большинство молодежи, то она смогла бы проникнуть взором сквозь блестящую поверхность внешней оболочки этого негодяя. У нее не было мерки, с которой она могла бы подойти к нему.

Но робко, как-то бессознательно, стараясь защититься, она отказывалась пойти с ним на танцовальный вечер. Отчасти инстинктивное кокетство побуждало ее сопротивляться соблазну.

Главным же образом это объяснялось ее скромностью. Когда он говорил ей, что она ему нравится, напоминал, какая она хорошенькая, высказывал желание „быть ее верным другом“ и тому подобное, то эти слова заставляли ее трепетать от какой-то странной и волнующей гордости. Но в то же время она относилась к таким речам с недоверием—они были слишком хороши, чтобы быть правдой. Он несколько приукрасил свои романические чувства. Если бы он изображал из себя только приказчика со сторублевым жалованьем и довольно плачевными надеждами на будущее, то с этим можно было бы скорее согласиться. Но для чего такому богатому и блестящему молодому покорителю сердец стремиться к скромной и бедной девушке?

Конечно, Иетта не в такой степени сомневалась в правдивости слов Гарри; ей просто казалось невероятным подобное счастье. И эта неопределенность мучила ее. Вопреки отсутствию опытности, у нее был большой запас инстинктивного здравого смысла. Она понимала, что ей не под силу вступить в компромисс с жизнью. Или этот человек хорош, удивительно, восхитительно хорош, и в таком случае малейшее недоверие к нему было бы безумием и жестокостью, или он дурен—тогда самое ничтожное зерно доверия повлечет за собой опасность. Она чувствовала себя совершенно неспособной ответить умно на такой многозначительный вопрос. Она пламенно желала открыться какой-нибудь наперснице старше себя, какой-нибудь женщине, на чью доброту и мудрость могла бы положиться. Ей хотелось познакомиться с мисс Брэл и другими дамами из собрания. Она была уверена, что они и добры и рассудительны.

Правда, была тетка. Не видя другого выхода, Иетта решилась на отчаянный шаг и как-то вечером предложила Гарри зайти к Гольдштейнам. Когда он отказался, она не осудила его. У него были вполне правильные доводы. Нет никакого сомнения, что тетка отнесется враждебно ко всякому, кто захочет жениться на Иетте и лишить старуху заработков племянницы. Он остановился на углу улицы и стал настойчиво уговаривать девушку уйти от родных. Гарри выманил у нее все сведения, касающиеся грязных сторон жизни этой жалкой семьи. Зачем она отдает

свои деньги пьянице, который не имеет никаких прав на нее? Он знает одно чудесное, вполне приличное местечко, где она может нанять себе комнату за половину своего заработка. На сбережения можно купить себе несколько хорошеньких нарядов. Он произнес довольно большую речь на эту тему, доказывая, насколько она будет выглядеть красивее в изящном платье. Его глубочайшее убеждение, что она самая красивая девушка во всем Нью-Иорке.

Иетта чувствовала, что она делает очень глупо, продолжая жить у Гольдштейнов. Как говорила Рахиль, они всегда надували ее и продолжают надувать. Но страх неизвестности мешал ей согласиться сейчас же на предложение Гарри. Волны житейского моря бурно вздымались вокруг нее, и она испытывала потребность в тихой гавани семейного счастья. В страхе она старалась держаться вблизи единственного знакомого ей дома, продолжая пока бороться и надеясь, не произойдет ли что-нибудь такое, что убедит ее окончательно, должна ли она или нет поверить в свой заманчивый сон.

Но в то же время ее инстинктивное сопротивление ослабевало; она начала поддаваться соблазну. Возрастающий ужас перед однообразием жизни, выжимающей из нее все соки, гнал ее безжалостно в гнусные объятия этого сводника. Как ни напрягай она зрения, все же она не могла различить дверь, которая вела к избавлению, если только ее не спасет какой-нибудь влюбленный, вроде Гарри. Если она пыталась представить себе возможные опасности от излишнего доверия к Гарри Клейну, то насмешливый бесенок начинал подшучивать над ней, указывая на мрачную действительность жизни без него. Чем же она рисковала, поверив в мечту, что могло быть хуже неизбежного одиночества и преждевременного увядания в мастерской? Она жадно прислушивалась к тому, что он говорил о квартирке, которую они снимут в Харлеме. Но с еще большим волнением и вниманием слушала его рассказы о балах. Душа ее изголодалась и страстно жаждала хоть немного веселья. И вместе с тем она боялась, что вдруг на каком-нибудь балу он встретится с более красивой девушкой и тогда бросит ее.

Она больше не отдавала тетке всего своего заработка. Под тем предлогом, что сейчас сезон затишья, ей удавалось оставлять себе два-три доллара в неделю. Эти жалкие сбережения она носила под блузочкой, завернув деньги в носовой платок. Сердце прыгало у нее в груди каждый раз, как она чувствовала, что тяжелый сверток касается ее тела. Теперь у нее есть деньги на покупку шляпки и белых туфель для первого бала. Психология Джэка, alias Гарри Клейна, была несколько иная. Когда „Сшибатель" спросил его как-то вечером, при встрече с ним на Втором Авеню, как идут дела с кузиной Рэй, на лживом лице Джэка показалась довольная улыбка, намекавшая на то, что его ухаживание зашло очень далеко. Но в глубине души он бесился на упорство Иетты. Он не привык к такой долгой охоте. Когда Джэк впервые увидел девушку, то его корыстолюбивая душа возмутилась при виде такой бесстыдной траты заработной способности. Такая хорошенькая девчонка, и работает в какой-то мастерской, где из людей выжимают пот. Он пошел по следу почти без всякого энтузиазма. Дело будет состряпано недельки в две. Почти всем хорошеньким девочкам нужны наряды, чтобы казаться еще красивее. Большинство из них теряет головы, как только за ними начинает ухаживать хорошо одетый мужчина. Унылое, безнадежное однообразие бедности заставляет почти всех их жадно стремиться к более светлой жизни. Человеку с опытностью Джэка положительно бывает тошно смотреть, с какой жадностью они проглатывают его россказни о магазине шелковых материй на Бродвэй. Это смахивает на кражу медяшек у слепого нищего, как гласило выражение, употребляемое Джэком для определения самой большой степени легкости.

Своей упрямой осторожностью Иетта завоевала себе известного рода уважение с его стороны. Его гордость была задета. Лицо его горело румянцем, когда он думал о ней. Она расшевелила в нем нечто большее, чем просто досаду. Девушка „в поводу", которая в данную минуту пользовалась его особой благосклонностью, сразу стала казаться ему глупой и бесцветной. Он, пожалуй, влюбился в Иетту по-своему, как-то извращенно. В те часы дня, когда Джэк начинал предаваться мечтам, он рисовал

себе страстные, мрачные картины обладания ею. Хотя, судя по всему, преследование должно было быть очень продолжительным, тем не менее он взвесил все шансы и был уверен в успехе. Иногда он думал почти с нежностью о часе победы. Иногда его лицо темнело, и он давал клятвы, что отплатит ей за все.

Охота тянулась больше месяца, как вдруг совершенно случайно он напал на довод, который помог ему одержать верх.

Джэк стал беспокоиться об ее здоровье. Ей нужно бросить работу в мастерской. Такая работа убьет ее. Он стал рассказывать Иетте страшные истории о том, как женщины начинают заживо разлагаться в мастерских, как у них делаются „скверные легкия“ или как они слепнут, как у них что-то происходит внутри. Он на следующий же день найдет для нее место в магазине или подыщет что-нибудь иное, где ей не будет так плохо. Не беда, если она будет получать немного меньше. У него сердце разрывается на части при мысли, что она губит свое здоровье. Как только хозяева примут его в фирму, он женится на Иетте. Ему не хочется, чтобы его жена была больна или искалечена.

В уме у Джэка зародился мрачный и злобный план сманить Иетту из дома и номинально устроить ее на службу у какой-нибудь приветливой женщины. Но он, право, был очень глупым молодым человеком. Он не мог уяснить себе, что за всю жизнь Иетты у нее никогда не было никого, кто бы стал беспокоиться об ее здоровье. Он не подозревал, что при проявлении этой заботливости, казавшейся такой бескорыстной, что-то подступило у девушки к горлу, и слезы наполнили ее глаза. Он продолжал разглагольствовать перед нею, развивая свои злостные планы, тогда как мог, если бы захотел, схватить ее в свои объятья, покрыть поцелуями, повести ее за собой куда угодно.

На следующий день во время работы в мастерской резкая боль снова кольнула Иетту в спину.

ГЛАВА VI.

На краю пропасти.

Второй приступ острой боли в спине не нарушил сколько-нибудь заметно хода повседневной работы в мастерской. Иетта стискивала зубы и старалась во что бы то ни стало сохранять прежний темп, если боль почему-либо увеличивалась. Но пока пальцы проворно двигались взад и вперед над привычной работой, мысли ее улетали куда-то вдаль. Если в словах Гарри было много убедительности, то внезапная жгучая боль была в десять раз красноречивее. Она снова вернулась, как и предсказывала миссис Коген. Неужели же она опять ее скоро почувствует?

Наконец, прекратился грохот расхлябанного мотора, рев ремней перешел в легкое всхлипыванье—завершился трудовой день. Дрожащими пальцами Иетта накинула на голову шаль и сбежала вниз по лестнице. Но на мгновенье она остановилась у наружной двери, прежде чем смешаться с толпой рабочих, стремительным потоком спешащих на восток.

Эти приливы и отливы рабочей толпы, толпы комнатных жильцов и мелких квартиронанимателей составляют одну из достопримечательностей Манхэттэна. В пять часов утра улицы, пересекающие город, почти пустынны. По Боуэри изредка протарахтят молочные платформы и случайные ломовые телеги, направляющиеся к северу при неясном свете предрассветных сумерек. Поезда воздушной железной дороги проходят с большими промежутками. Боковые улицы еще более безжизненны. Там и сям мелькнут какие-нибудь тени, направляющиеся на восток,—это женщины или ночные рабочие, приводящие в порядок большие здания разных контор на Бродвэй. Даже при ярком свете дня они показались бы тенями. К шести часам начинает слышаться нарастающий стремительный шум шагов, несущийся с востока на запад. Наступает прилив. Он все растет и растет по мере того, как близится утро. Переполненные рабочим людом дома проснулись; в шесть часов прилив достигает наибольшей высоты. Людской поток так стремителен, что трудно итти против течения—к востоку. Поток несется с такой быстро-

той, что почти нельзя различить отдельные лица. Взор успевает запечатлеть одни спины, и только они запоминаются. В этой толпе человек, держащийся прямо, как солдат, показался бы уродом. Даже у маленьких детей спины согнуты. Словно все тащат на плечах каких-то дородных людей.

Затем, ровно до двенадцати часов, боковые улицы снова почти пустынны—пока не начнется отлив. Трудно решить, какое зрелище более ужасно: человеческий поток, спешащий на свою бесчеловечную работу, или отлив той же самой толпы, спешащей разойтись по своим нечеловеческим, скотским домам.

Но Иетта не думала о своих товарищах по работе. С эгоизмом юности она думала только о себе и о боли в спине. Гарри прав—мастерская убивает ее. Случай к избавлению явился—и жизнь может больше не дать ей другого такого случая. Она дошла до распутья: теперь или никогда. Иетта не была трусливой, она только робела. А храбрость людей робких часто бывает возвышенной. Всего один момент она колебалась, стоя в темном подъезде, под помещением „Жилетной компании Гольдфогля", а потом с улыбкой на устах—с безбоязненной улыбкой—вышла на улицу, освещенную ослепительным блеском дуговых фонарей. Гарри ждал ее. Она доверчиво взяла его под руку.

— Гарри, давайте пойдем завтра вечером на бал.

— Что?—сказал он, круто останавливаясь, на удивление недовольных этим рабочих, стремящихся домой.—Что?

— Ну, да. Мне хочется немножко повеселиться.

Наконец-то она проглотила приманку! Он едва верил своим ушам. Но ему было боязно проявить слишком большое нетерпение. Несущийся поток увлекал их с собою почти целый квартал, раньше чем Гарри заговорил.

— А как же насчет платья?

— Кое-что у меня есть,—сказала она.—Я принесу с собой в мастерскую и там и оденусь.

— Почему же не сегодня?

— Нет. Завтра.

Они стали наскоро обсуждать все детали побега. Иетта должна будет выдумать тетке какую-нибудь историю об экстрен-

ной спешной работе. Когда мастерская закроется, Гарри повезет Иетту куда-нибудь ужинать, а потом они отправятся на танцовальный вечер.

— Итак, завтра вечером? Наверное?—сказал он, когда они начали прощаться на ее углу.

— Наверное,—отозвалась она.

Взбежав по лестнице, Иетта сказала тетке, что в мастерской есть неотложная работа, и поэтому приходится спешить обратно; у нее хватит времени только выпить стакан чая и проглотить кусок хлеба. Утром она возьмет с собой что-нибудь более существенное на завтрак и не вернется домой к ужину. Через несколько минут Иетта снова была на ярко освещенных улицах. На свои скудные сбережения она купила себе шляпку, блузочку, пару чулок и белые башмаки. Все покупки были оставлены в ближайшем к дому магазине, а затем она пустилась в паломничество.

Храмом, который Иетта решила посетить, была маленькая лавочка с подержанными книгами на Ист-Бродвэй, где они были так счастливы с отцом. Все почти осталось попрежнему. Только человек, сидевший за конторкой на высоком табурете, не походил на отца. Несколько минут Иетта простояла без цели, а потом взор ее упал на первые два тома Les Misérables. Это был как раз тот комплект, который она читала вслух отцу. Последний том лежал у нее в комнате.

— Одного тома нет,—сказал торговец,—можете получить книги за семьдесят пять центов.

— У меня всего полдоллара,—ответила она.

— Весь комплект стоит пять долларов.

— У меня всего только пятьдесят центов.

— Ну, ладно. Берите книги.

Она отвернулась от него, чтобы вытащить из-за блузочки последнее, что осталось у нее от маленького капитала. Когда она снова обернулась, в глазах у нее стояли слезы.

— В чем дело?—спросил он участливо.

— Ничего. Ваша лавка принадлежала раньше моему отцу. А это последние книги, которые я ему читала вслух.

— Правда? Вас зовут Раевская? Я знал вашего отца—он был прекрасным человеком. И мне кажется, я, должно быть, знавал и вас, когда вы были вот такой маленькой. Постойте, как ваше имя?

— Иетта.

— Ну, конечно же! Маленькая Иетта Раевская, которая превратилась теперь совсем в взрослую женщину. Я думаю, вы скоро уже выйдете замуж.

— Скажите, можно мне посидеть здесь минутку?—спросила она, чтобы переменить тему разговора.

— Разумеется, можно,—сказал он, приветливо подавая ей стул.

Она отодвинулась в темный угол и просидела так весь вечер, следя затуманенным от слез взором за старыми, знакомыми ей сценами, глядя внимательно на приходивших покупать и на приходивших побеседовать с хозяином. Одного или двух она узнала. Когда она была маленькой девочкой, то, обыкновенно, сидела здесь за конторкой на высоком табурете, рядом с отцом, и засыпала на его плече. Теперь у нее никого не было, кроме Гарри,—к кому она могла бы склониться головой на плечо в минуту усталости. Он обещал заботиться о ней.

Казалось, воспоминания об отце тесной толпой наполнили всю мрачную лавочку. Почему на свете нет больше таких людей, как отец? Он бы не захотел, чтобы она убивала себя за машиной. Как бы он был рад, если бы она нашла любимого, который спасет ее. Она вспомнила проповедь, которую он произнес ей по поводу свадьбы, праздновавшейся через улицу. Многого из его слов она не запомнила, большая часть была недоступна ее детскому пониманию. Но она ясно помнила, как он говорил ей, что она должна любить и уважать своего мужа и верить ему. Она вспомнила обет Руфи, которому он ее научил. И вот, наконец, возлюбленный пришел. Прежняя печальная, беспросветная жизнь оканчивается; она уже на пороге блаженства. Когда наступило время закрывать лавку, книгопродавец стал настаивать на том, чтобы Иетта взяла обратно свои пятьдесят центов.

— Берите книги,—сказал он.—А когда вы выйдете замуж, то считайте их свадебным подарком от человека, знавшего

вашего отца и никогда не видавшего никого, кто был бы лучше его.

Прижав к груди два тома Les Misérables, Иетта поспешила домой с просветленным сердцем, чувствуя душевное облегчение от этого вечера, проведенного среди теней прошлого,—чувствуя большее душевное облегчение, чем когда-либо в своей жизни.

На следующее утро она ушла из дому раньше обычного, чтобы взять по пути в мастерскую свои покупки. Все долгое, томительное утро в шуме машин в мастерской слышалась девушке музыка Песни Песней.

Но неожиданно судьба устыдилась по всей видимости того оборота событий, которым она стала угрожать Иетте. Быть может, думы девушки об отце в ночь перед тем проникли через адамантовые стены и разбудили его от безмятежного райского блаженства, в котором он пребывал. Он, должно быть, припал к ногам всемогущего и стал молить его защитить дочь. Быть может, вмешался ангел-хранитель Иетты. А может быть, это был просто случай.

Когда Иетта с песней, звонко дрожавшей в душе, вышла на улицу во время полуденного перерыва, чтобы подышать свежим воздухом, внимание ее было привлечено кучкой народа, столпившейся около говорившей о чем-то женщины. Она присоединилась к толпе слушателей. Женщина говорила о забастовке „отделывающих юбки". Девушки бастуют теперь уже в продолжение нескольких недель, и им буквально грозит голодная смерть.

Лига Женского Рабочего Союза, к которой принадлежит говорившая, устраивает сегодня вечером бал в пользу „отделывающих юбки".

— Каждая девушка, работающая в мастерской, занятой производством готового платья, должна пойти на этот вечер,— сказала она.—Ведь ваши сотоварищи бьются не только за себя, но и за вас. Ваши хозяева выжимают пот одинаково из всех работниц—вам нужно восстать или умереть всем вместе. И каждая копейка, вырученная от продажи билетов, пойдет на поддержку забастовки. Зал, оркестр,—все решительно предоста-

вляется нам бесплатно,—все деньги пойдут в пользу девушек. Но им не так нужны деньги, как поддержка и симпатия. Не покупайте билета, чтобы его потом бросить. Конечно, и пятьдесят центов принесут свою пользу, но нам нужны не только деньги—для нас важно собрать толпу. Девушки немного приободрятся, если вечер пройдет с успехом. Если вы сами не сможете прийти, передайте билет тому, кто хочет пойти на вечер и пойдет непременно.

И вот дух покойного отца, или ангел-хранитель, или случай внушили Иетте мысль отдать последние пятьдесят центов на поддержку забастовщиц. Так близка минута, когда она навсегда покинет ненавистную мастерскую, что сердце ее рвалось навстречу ко всем менее ее счастливым девущкам, перед которыми не раскрывалось такого светлого и счастливого будущего. Она не только решила купить билет, но и убедить Гарри пойти с ней на этот бал, раз уж забастовщицы нуждаются в сочувствии.

Как только закончилась повседневная работа, Иетта поспешно переоделась в новый наряд и сбежала с лестницы навстречу к возлюбленному. Гарри с одобрением окинул ее взором с ног до головы. Да, она стоит того времени, которое он на нее потратил. Но Гарри был слишком хитрой лисицей, чтобы дать заметить злобный, радостный блеск, который мелькнул в его взоре. Так не трудно довести дело до конца, и дураком будет тот, кто рискнет спугнуть ее теперь. Еще часок, другой поиграем в любовь, затем, опьянение танцами, немного вина,—если нужно, то две-три капли хлорала—и дело в шляпе.

Он повел Иетту поужинать у „Лорбера". И, перегнувшись через ярко освещенный стол, через блюда с ужином, стоившим в общем меньше доллара, но казавшимся девушке чем-то необычайным, он торжественно сделал ей предложение выйти за него замуж. С той же торжественностью она ответила ему согласием. Хохот Юпитера не донесся до ушей Иетты и не встревожил ее, когда ее доверчивый и сияющий от счастья взор встретился со взглядом Гарри. Приходится иной раз пожелать, чтобы взрывы раскатистого смеха Юпитера раздавались громче.

Гарри пообещал пойти утром к ювелиру и купить ей обручальное кольцо. А когда они кончили беседу об этих важных подробностях, Иетта вспомнила о билете на бал Лиги Женского Рабочего Союза. Гарри попытался высмеять эту мысль. Он ничего не знал о трэд-юнионах, кроме того, что „проходимцы" из высшего класса к ним не принадлежат. Но Лицеум-Холл, где должен был состояться вечер, слишком уж приличное место.

— Наверное, в этом зале будет чортова скука,—сказал он.— Там никогда не бывает хороших балов. Я хочу пойти с тобой в Палэс. Вот где каждый вечер славно. Просто шик. Это я понимаю. А то за пятьдесят центов! Много ли повеселишься на каком-то пятидесятицентовом балу? Иногда в Палэс билеты стоят по пяти долларов.

Но Иетта хотела во что бы то ни стало использовать свой билет, она уже так настроилась. Для Гарри это казалось неважной деталью. В результате пошли на компромисс: они отправятся на оба бала, сперва на ее, а потом на его. Она увидит, что он прекрасно знает, о чем говорит.

Он предложил выпить бутылку шампанского. На мгновение Иетта испугалась.

— Я ни разу в жизни не пила вина,—запротестовала она.

— Какие пустяки,—сказал он,—всегда все пьют вино по случаю помолвки. Я никогда не стал бы просить тебя об этом, если бы вино было для тебя вредно.

Иетта подняла на него свои большие глубокие глаза. У Гарри были особого рода нервы, которые позволили ему выдержать ее взгляд. Он протянул через стол руку и положил ее ласково на руку Иетты. И она поверила ему.

— Если ты так говоришь обо мне,—сказала она,—то я буду делать для тебя все, что ты от меня потребуешь, Гарри,—всю свою жизнь.—И тут Иетта вспомнила отца и обет, которому он ее научил. Она неожиданно обрела в себе смелость. Она крепко сжала руку, которую Гарри протянул ей через стол, и монотонным, но взволнованным голосом начала произносить чудесные древние еврейские слова. Сводник был поражен. Его религиоз-

ное образование страдало пробелами—он не знал ни единого слова по древне-еврейски.

— Что это ты несешь?—спросил он.

И Иетта стала переводить ему на его родной язык.

— Это значит: „Куда бы ты ни пошел, и я пойду за тобой, где ты уснешь, там и я с тобой лягу, твой народ будет моим народом, и я буду молиться твоему богу; когда ты умрешь, и я умру и похоронена буду с тобой рядом. И пусть господь накажет меня гневом, если я покину тебя раньше, чем умру.“ Этим словам научил меня отец. Разве не сладко произносить их, когда ты обручена с любимым?

Когда, наконец, смысл откровенного признания Иетты достиг мозга Гарри сквозь его череп, он беспокойно задвигался на стуле. Внутренний голос шептал ему, что с деловой точки зрения он теряет понапрасну время. С его стороны было глупой предосторожностью приводить девушку в этот приличный ресторан. Он мог бы сразу же отправиться с ней на „сборный пункт“ на Второе Авеню, где хозяин настроен благожелательно, а комнаты расположены наверху. Но даже для Гарри было что-то чарующее, какая-то прелесть в такой невинной, доверчивой любви. Он так долго разыгрывал перед ней роль, что, пожалуй, она перестала быть одним пустым притворством. Под твердой скорлупой, которой наделила Гарри жизнь в нашем подлунном мире, оставалась еще какая-то частица „первоначальной порядочности“. И этой части его существа—один бог знает, как она была мала и незначительна—хотелось, чтобы все это было правдой. Этот внутренний голос звучал слишком громко, чтобы Гарри решился продолжать игру в любовь. Он приказал подать только полбутылки шампанского,—как сделал бы настоящий, истинный влюбленный. Было девять часов вечера, когда они вышли из ресторана.

Они направились по Большой улице к Боуэри. Внезапная волна нежности охватила Гарри.

— Иетта,—произнес он,—ты еще ни разу меня не поцеловала.

Витая в облаках из розовых лепестков и совсем не замечая прохожих, она повернула к нему голову, не задаваясь никакими

вопросами. Но Гарри в таких случаях никогда не терял самообладания. Он не решился выставить себя на посмешище и стать мишенью для шуток со стороны посторонних наблюдателей. Он крепко стиснул ей руку и увлек Иетту за собой в темный подъезд. Поздний мартовский вечер был холоден, и ни один из праздношатающихся не сидел на ступенях подъезда и не стоял около него на улице. Иетта,—немного удивленная благоразумием Гарри,—без сопротивления позволила обнять себя. Когда он стал целовать ее, последняя слабая тень сомнения исчезла. Она была теперь уверена, что он действительно любит ее. Кровь ударила ей в голову под влиянием его ласк, и она почувствовала головокружение,—но не испугалась. Только все-таки румянец, выступивший на его лице, и хриплый звук голоса показались ей какими-то незнакомыми.

— Иетта,—сказал он жарким шопотом,—ты вправду думала то, что говорила, когда произносила эту чепуху, которой тебя научил отец? Ты пойдешь сегодня вечером со мной в мою комнату и останешься со мною навсегда?

Это было для Иетты совершенно новой мыслью; она не уяснила себе буквального значения древнего обета. На мгновенье она устремила взоры на его лицо, затем отвернулась. Ведь, в сущности, об этом-то и говорил ей отец.

— Я женюсь на тебе,—сказал он,—как только хозяева примут меня в фирму. Это должно быть скоро.

Но Иетту виды на будущее мало тревожили. Она не задавалась вопросами о его добрых намерениях. Она попыталась представить себе, как отразится на ее жизни такая перемена. У нее было так мало радости, что теперь она могла поверить в нее с трудом.

Внезапно ей бросилась в глаза знакомая фигура. Взор Иетты, которым она старалась проникнуть сквозь завесу будущего, устремился на противоположную сторону улицы.

— Посмотри, посмотри, Гарри,—вскрикнула она.—Это Рахиль. Догони и позови ее. Поскорее.

— Нет,—сказал он твердо,—это не Рэй.

— Нет, это она,—продолжала настаивать Иетта.—Мне думается, уж я-то могу узнать свою двоюродную сестру при встрече. Беги за ней. Мне хочется рассказать ей.

Но рука Гарри, только что перед тем ласкавшая ее, свирепо стиснула ей локоть. Резким толчком он заставил Иетту последовать за собою в другом направлении к Боуэри.

— Говорю тебе, это не она. Ну, идем. Садись в этот вагон.

Злобное выражение его глаз смертельно испугало ее. Звук его голоса поразил ее больней, чем даже та жестокость, с которой он стиснул ей руку. Она вошла в вагон, не произнося ни слова. Но она знала, что он солгал. Внезапно она спохватилась с ужасом, что совершенно не знает человека, сидящего рядом с ней. Вспышка молнии дала ей возможность увидеть новую для нее черту характера Гарри. Перед ее взором открылось что-то мрачное и злобное. И вся радость, которой было полно ее сердце, сразу как-то потускнела и погасла.

Минуту они сидели бок-о-бок в тревожном молчании. Гарри был удивлен и злился на себя за то, что потерял самообладание. Он попытался поправить свой промах, вернуть назад прежнюю интимность. Но Иетте слышались принужденные нотки в его нежном голосе. Увидев Рахиль, она снова вспомнила ее предостережения об опасностях, которые жизнь ставит на пути беззащитных девушек. Она не задавала ему вопросов и не разговаривала с ним, пока вагон не миновал Пятой улицы.

— Лицеум на Шестой улице.

И когда они очутились на тротуаре, она напрямик поставила Гарри вопрос, зачем он солгал.

— Неужели ты не можешь понять, Иетта,—спросил он, наклоняясь прямо к ее лицу,—что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь служил нам помехой сегодня?

Но это ее не разуверило. Стоило только раз закрасться сомнению, как все здание ее мечтаний начало угрожать падением. И пока он опять принялся пересказывать ей избитую историю о блестящих надеждах на будущее, Иетта припомнила, что она никогда не видала „Шелкового магазина“ на Бродвэй. Когда он говорил, как они будут счастливы, она чувствовала жгучую боль

в руке в том месте, где он так грубо сдавил ее. В результате Иетта превратилась в очень перепуганную молодую особу, когда они подошли к дверям Лицеум-Холла.

Гарри чувствовал, что в ней произошла перемена, и был вне себя от ярости. Вся та quasi-нежность, которую он питал к ней раньше в этот вечер, исчезла без возврата. Ему хотелось избить Иетту. Он проклинал себя в душе за даром потраченный вечер. Еще за полчаса перед тем она пошла бы за ним куда угодно. Его извращенный мозг терзали самые разнородные мысли и странные ощущения. Иетта слишком сильно завладела всем его воображением, как ни одна девушка до нее. А когда люди начинают влюбляться, то они теряют свое хладнокровие, что одинаково верно как по отношению к котам-сутенерам, так и ко всем другим мужчинам. Ему вдруг стало страшно при мысли, что он может лишиться Иетты. Он чувствовал, что сделал глупость.

Некоторая неловкость, которую он испытывал, усугублялась еще странной обстановкой, окружавшей его. Он никогда еще не был на таком балу. Ему известны были только два рода танцовальных вечеринок: пышные, распутные вечеринки, устраиваемые людьми его класса,—на один из таких балов он и предполагал повести Иетту, и „балы желторотых"—убогие, но тоже распутные танцовальные вечера в задних комнатах низкопробных „салунов", охотно посещаемые невежественными иммигрантами, приезжающими в Нью-Иорк впервые.

У входа в Лицеум-Холл толпился бедно одетый люд, но это были не „желторотые". Больше всего Гарри был поражен видом женщин. Такие женщины не бывают на балах, которые он, обыкновенно, посещал. На большинстве из них были шали, возраста они были самого различного—от пятнадцати до семидесяти лет. Все это были работницы с серьезным взглядом, и у многих из них был голодный вид. Гарри почувствовал, что его франтовской костюм слишком бросается в глаза. Во взгляде мужчин мелькала явная враждебность. Он готов был отдать, что угодно, лишь бы очутиться в знакомой обстановке, быть среди людей своего круга.

Гарри и на самом деле бросался в глаза среди этой толпы бедно одетых людей. Он привлек на себя внимание парочки, стоявшей около дверей, Мабель Трэн и Вальтера Лонгмэна. Правда, они тоже выделялись среди толпы, как и Гарри, но любопытные взоры, обращенные в их сторону, не были враждебны. Мисс Трэн была секретарем Лиги Женского Рабочего Союза. Многие женщины и девушки, войдя в зал, спешили подойти и поздороваться с ней. Ей было лет двадцать семь, она была высокая и гибкая. С точки зрения физического развития тело ее почти могло служить образцом совершенства. Она никогда не хворала и редко теряла свою привлекательность от утомления. На каждого, кто обращал на нее внимание, больше производила впечатления ее нервная сила, чем физическая. Она была скорее грациозна, чем красива. У нее была чересчур маленькая головка, и этот недостаток подчеркивался массой каштановых волос, обрамлявших ее лицо. Но в линиях небольшого рта выражалась твердость. Во взоре проницательных глаз виднелась живость и безбоязненность.

Лонгмэну было лет за тридцать. Это был плотный, ширококостный мужчина. Хотя он и очень смахивал на ручного медведя, но наружность его привлекала к нему. И если всех удивляло, что мисс Трэн лихая наездница и может загонять любого из мужчин при состязании в игре в мяч или в плавании, то в то же время каждый готов был расхохотаться, когда ему говорили, что этот неловкий гигант, Лонгмэн—преподаватель ассириологии в Колумбийском университете.

— Посмотрите,—сказала она, когда ее взгляд упал на Гарри и Иетту,—это сутенер.

Решительная деловая манера, с которой мисс Трэн произнесла это замечание, была для нее чрезвычайно характерной. Она слишком хорошо знала жизнь восточной стороны города, чтобы не определить с одного взгляда не совсем благоухающую профессию Гарри, и не тратила даром времени для выбора более изящных выражений. Мисс Трэн никогда в жизни не говорила „черви“ или „трефы“, когда у нее на руках были „пики“.

Лонгмэн поднял брови в знак утверждения, но в ту же минуту воспротивился естественному выводу, который она хотела сделать из своего наблюдения.

— Только, пожалуйста, не суйтесь со своим носом, Мабель, пока вас не попросят об этом.

Она пожала плечами.

— Девушка мне незнакома. Мне кажется, я имею право встретить ее приветливо.

И она пошла через зал вместе с Лонгмэном, неуклюже тащившимся за ней.

— Добрый вечер,—произнесла она, обращаясь к Иетте, старательно игнорируя присутствие Гарри.—Меня зовут мисс Трэн, я секретарь Лиги. Где вы работаете?

Но Иетта ответила на вопрос вопросом.

— Не вы ли беседовали с девушками в Доме Соседства?

— Да. Я рассказывала им о рабочих союзах. Вы были там? Я не помню вашего лица.

Иетта начала было объяснять ей, как она наблюдала за собранием из окна. Но вдруг она стала запинаться, увидев, что мисс Трэн смотрит на Гарри и, заметив во взгляде ее презрение и негодование, Иетта не могла вспомнить, что она пыталась сказать. Подошли какие-то вновь прибывшие и прервали их. Мабель Трэн показалось, что краткий разговор закончился решительным неуспехом.

Но для Иетты он имел огромное значение. В течение предшествующих месяцев Дом Соседства сконцентрировал в себе все хорошее в жизни, к чему она так жадно стремилась. Она „хотела быть хорошей“, как и ее кузина Рахиль. Женщины из дома напротив, за которыми она наблюдала из окна, казались ей хорошими и счастливыми. Мисс Трэн была существом из этого мира, она носила на себе его отпечаток. И она отнеслась к Гарри с недоверием. Иетта свалилась с небес на землю, и мечты ее разлетелись в прах. Ей было страшно Гарри, но рядом с такими женщинами она может быть спокойной. Но как ей избавиться от него?

Кто-то вышел на эстраду, похлопал в ладоши, чтобы привлечь внимание, и попросил публику занять места поближе к сцене.

— Ну, будет. Пойдем отсюда,—сказал Гарри.—С нас хватит. Тут слишком глупо.

— Нет,—ответила Иетта с решимостью страха.—Я хочу остаться.

Книга 2.

ГЛАВА VII.

Бал „отделывающих юбки“.

Гарри был прав. Это был глупый вечер. Он больше походил на митинг забастовщиков, чем на бал. Почти все собравшиеся больше интересовались речами, чем отплясыванием „ту-степ“. С недовольным видом идя за Иеттой к эстраде, он убедился, что толпа рабочих, окружившая их тесным кольцом, отнимала у него всякую возможность улизнуть. Он вовсе не предполагал провести этот вечер, сидя на твердой скамейке и слушая, как „пережевывают бесконечную жвачку“.

— Не в этом ли по-твоему заключается веселье?—проворчал он Иетте.

Но толпа,—столь чуждая его образу жизни,—пугала его. Он погрузился в угрюмое молчание.

Первым оратором была нервная, переутомленная ирландка. Разразившись потоком кельтского красноречия, она стала рассказывать о жизни работниц, из которых выжимают пот. Вся речь ее дышала лиризмом, словно она пела новую „Песню о рубашке“. Большинство слушателей-рабочих, занятых в производстве готового платья,—были евреи, и хотя характер ее призыва был чужд им, но зато тема речи касалась самой их жизни, и они были глубоко взволнованы.

За этим оратором выступила председательница „Союза отделывающих юбки“, говорившая на жаргоне. Она рассказала о невыносимых условиях труда в мастерских, о том, как цены до того понижены, что ни одна работница, кроме девушек, живущих в семье, которым не надо платить за квартиру, не

может заработать себе на пропитание; о том, как, в конце концов, вспыхнула забастовка и как отчаянно ведется борьба. В кассе нет ни копейки, и союз больше не может выдавать „пособий“. Если не удастся собрать деньги, то работницы будут разбиты наголову, и голод погонит их обратно к машинам.

Затем говорил молодой еврей-адвокат, Исидор Браун. Его речь была призывным благовестом, возвещающим о приближении социализма. Все рабочие всего мира жертвы одной и той же злостной промышленной системы. В какой-нибудь одной отрасли промышленности, скажем, в мастерских, занятых отделкой юбок, о чем мы только что слышали, положение рабочих может быть в данный момент самым тяжелым. Но всякий труд основывается на одном и том же принципе. Рудокоп, кружевница, сельский работник, приказчик—все, кто работает по найму,—все они совершенно одинаково лишаются путем обмана части продукта своего труда. В отдельности каждый рабочий бессилен. Если же работники и работницы объединятся в союз, то они станут сильнее и иной раз смогут добиться улучшений в условиях своего труда. Но если бы они, все до одного, объединились в огромнейшую организацию, если бы они дружно стали подавать свои голоса, то превратились бы в преобладающую силу в области политики. Они стали бы править над всем обществом. Они смогли бы установить цивилизацию на основах справедливости и братства.

— Рабочие всех стран, соединяйтесь. Вам нечего терять, кроме своих цепей! Вы можете приобрести целый мир!

Когда Браун сел на свое место, поднялся доктор Любович. Это был тщательно выбритый, добродушный на вид человек, но он говорил с горечью, составлявшей резкий контраст с его наружностью.

— Боссы не только обирают вас. Они не только воры,—они убийцы! Я доктор. Днем и ночью хожу я по этим кварталам с походной аптечкой и набором хирургических инструментов, стараясь спасти людям жизнь—спасти мужчин, женщин и новорожденных ребят, которые никогда не знали бы болезней, если бы они не были жертвами преступлений капитализма.

Туберкулез! Мало ли среди вас в этой аудитории людей, которые не потеряли бы родственника, погибшего от легочной болезни? Минуту тому назад, сидя здесь, я слышал кашель по крайней мере десятка туберкулезных. Туберкулез можно предотвратить, он излечим. Нет совершенно никаких оснований, чтобы кто-либо им заболевал, а еще менее, чтобы кто-либо из вас умирал от него, если бы капиталистическая жадность не принуждала вас жить в промозглых жилищах, работать на протяжении долгих часов в еще более скверных мастерских.

Если только вы, собравшиеся здесь сегодня, и весь рабочий люд не уясните себе этого и не решитесь положить конец тому, чтобы кто-нибудь мог жиреть на вашем несчастии, если только вы не объединитесь, чтобы свергнуть капитализм и установить социалистический строй, то часть ваших детей перемрет от испорченного молока, часть от фальсифицированной пищи, а большинство от чахотки. Если только мы не сможем избавиться от этих убийц, то никогда не будет конца такому ужасному, бесцельному истреблению, которому нет оправданий!

Когда он кончил, выступила с речью мисс Трэн. Она не претендует на звание оратора и не пытается довести слушателей до слез или негодования. Она только хочет воспользоваться настроением слушателей, созданным речами других ораторов, для того, чтобы обратить внимание на непосредственную цель собрания—на сбор в пользу „отделывающих юбки“. Сейчас он будет произведен. Мистер Кэзи, секретарь Центрального федеративного союза, обещал приехать и произнести речь. Его еще пока нет. Она надеется, что он подъедет, пока девушки будут передавать шляпу.

— Право, нет никаких сил,—сказал Гарри,—пойдем. Ну их к чорту.

— Нет,—ответила Иетта, падая с высоты при звуках его угрюмого голоса.—Мне хочется прослушать все до конца.

Она слушала ораторов, как зачарованная. Никогда не бывав ни на одном митинге, она никогда и не слышала разговоров о жизни рабочего класса. Почти все, что говорилось об „отделывающих юбки“, могло быть с тем же успехом отнесено и к ее

ремеслу. Джэк Гольдфогль изнурял за машинами своих работниц для удовлетворения собственной жадности. Прежде он казался ей неприятной необходимостью. Теперь она увидела в нем и личную подлость. Он не только был груб, жесток и распущен на язык, но и грабил их всех. Дома ее обирают родственники, в мастерской босс,—что же мудреного в том, что жизнь ее придавлена нищетой!

Странная вещь произошла с Иеттой. Шампанское, которым Гарри угощал ее, ударило ей в голову. Она не так много выпила, чтобы опьянеть, но этого было достаточно в жаркой атмосфере закрытого помещения, чтобы избавиться от природной застенчивости, чтобы поддаться внушению и с жадностью поглощать новые впечатления. Вот поэтому-то и Гарри настаивал на шампанском, хотя и не понимал психологии. Но его план прогорел. Алкоголь подействовал на Иетту не в соблазнительной обстановке ярко освещенного, веселого бального зала, но в этом грустном, серьезном собрании. Внушения, которые так легко воспринимались ее сознанием, не были порождены ласкающей музыкой вальса. Она была загипнотизирована толпой людей, окружавших ее. Она стала чувствовать себя единым целым с толпой борющихся тружеников, одной из единиц огромного множества рабочих за стенами зала. Она почувствовала на своем лице дыхание всеобъемлющего братства, чего с ней никогда бы не случилось, не выпей она вина.

Один из ораторов намекнул на ту дурную сторону в системе „выжимания пота", которая связана с существованием высоко оплачиваемых „спидеров", самых проворных работниц, задающих тон всей работе. Иетта была таким „спидером". Ну, так что же? Какая ей от этого польза? Заработную плату заграбастывает дядя. Джэк Гольдфогль, надсмотрщик над рабами, бо́льшую часть барыша оставляет себе. Как же это произошло, что на ее долю—на долю дочери ее отца—выпала такая постыдная роль? Ей безумно захотелось поговорить об этом с кем-нибудь, кто понимает это лучше ее.

Широко открыв глаза, она не спускала взора с группы ораторов, занимавших места на эстраде. Она чувствовала родствен-

ную связь между их идеалами и мечтаниями своего отца. Он полюбил бы мисс Трэн и отнесся бы к ней с доверием. Должно быть, чудесно быть такой женщиной, как она. Под влиянием вина, зажегшего в ней кровь, Иетта чувствовала, что она могла бы решиться вступить в разговор с мисс Трэн.

Молодая женщина, которой с таким жаром восхищалась Иетта, держала в руке записочку от мистера Кэзи, где он извещал, что не может прибыть на митинг, и просила Лонгмэна, собственно говоря, приказывала ему, заполнить пробел в программе. Он противился. Какой он оратор? Вид толпы всегда смущает его. Он уверен, что скажет что-нибудь такое, что их только рассердит. Гораздо лучше начать танцы. Но обыкновенно мисс Трэн держалась своей линии. Не успев даже наполовину привести всех доводов, Лонгмэн очутился на эстраде.

— Мистер Кэзи не может приехать. И мисс Трэн просила меня занять его место. Так вот, оратор я плохой, и вам не понравится, что я скажу, но мне хотелось бы сказать то, чему я верю. Браун и доктор Любович говорили нам о несправедливой до мозга костей системе нашего социального строя, и все, что они сказали, чистейшая правда. Но они не сказали вам, кто тут виноват. Вы думаете, что за все нужно ругать боссов? Это ваша собственная вина. Вы собираете то, что сеяли.

Вы рабы потому, что у вас не хватает мужества быть свободными. Вы пришли сюда, чтобы слушать, как ругают боссов. Я не люблю боссов, как и вы все. Но мне тошно слушать, как каждый проклинает их и не видит собственных ошибок. Вас обирают. Что же вы делаете, чтобы этого не было? Разве вы трусы? Неужели вы такие кисляи, что не можете подняться и начать борьбу за свои права? Восемьдесят лет с небольшим тому назад наши отцы произвели на свет на этом континенте новую нацию, посвятив ее идеалам демократии, свободы, справедливости и братства. В чем же ошибка? Ошиблись ли наши отцы в своих идеалах? Нет! Но они позабыли населить эту страну людьми. Наша страна переполнена низкопоклонниками, готовыми упасть на колени, раболепными людьми, читающими раз в год декларацию независимости, но предпочитающими скорее быть

рабами, чем сидеть голодными. Это люди, которые готовы торговать своими правами. Это люди, которые скорее предпочитают „преуспевать в жизни“, чем стремиться к свободе. Наша родина страдает тем, что у нас слишком мало патриотов.

Я американец. Все, что я говорил вам, евреи, относится также и к моим соотечественникам. Но во всяком случае, вот что я могу сказать о себе самом. Немного, правда, но вы и этого не скажете. Мои предки сражались за свободу. В 1776 году некоторые из них так мечтали о независимости, что не только рисковали потерей работы, но и самой жизни. Свобода людей была так дорога для моего отца, что в шестидесятых годах он бился за нее.

Не хотите ли вы, чтобы кто-нибудь подарил вам свободу?— Преподнес ее вам на блюде? Вы приезжаете сюда каждый год целыми сотнями тысяч, спасаясь бегством от гнета средневековой Европы, потому что здесь, в Америке, люди различного происхождения и разных верований ценою своей крови добились малой толики свободы. Не настоящей свободы—далеко от нее! Но нам пришлось с бою добиваться даже того малого, что у нас есть.

Вы разочарованы в Америке. Вы осыпаете проклятиями боссов, которые вас порабощают. Но подумайте на один момент. К чему вам свобода? В жизни нет ничего ценного, что давалось бы без борьбы. Один из американских революционеров сказал: „Вечная бдительность—вот цена свободы“. А вы бдительны?

В наши дни прежний бой за свободу переносится в область промышленности — происходит бой между капиталом и трудом. Какое же участие принимают в нем евреи Америки? Думаете ли вы подчиняться покорно несправедливости, в тщетной надежде, что кто-то другой добьется для вас справедливости? Или же вы намереваетесь пуститься по стопам славных бойцов, вышедших из вашего народа, по стопам Гейне и Маркса? Хотите ли вы выклянчить свободу или присоединиться к освободительной армии, внести свою долю при достижении победы? Ваша история мне известна. Я знаю, что под многовековым тяжелым гнетом согнулись ваши спины. Мне известна ваша бед-

ность. Но разве для того вы приезжаете в Америку, чтобы воссоздать здесь эти старые привычки рабства? Нет. Вы приезжаете в поисках более светлой жизни, за большей долей свободы. Прекрасно. Тогда вы должны сражаться за нее, как и всякий другой. Вы должны пожертвовать для нее всем. Вы должны быть готовыми умереть за нее.

Какое ремесло самое рабское, самое забитое, самое жалкое в нашем городе? Работа в мастерских, занятых шитьем готового платья, в мастерских, где выжимают пот. Кто работает в них? Евреи. Где самые скверные, самые гнусные жилища? На Восточной стороне. Кто живет там? Евреи. Вам платят хуже всего в Нью-Иорке, обращаются с вами самым ужасным образом, меньше всего считаются с вами. Вы сами хотите работать в мастерских, где выжимают пот. Вы сами соглашаетесь жить в мерзких конурах. Вы подчиняетесь несправедливости.

Вы не принимаете участия в битве, хотя еврей может сражаться, если захочет. Я не хочу ссориться с „отделывающими юбки". Но факт остается фактом—кроме некоторых блестящих исключений,—главная масса ваших соотечественников предпочла попасть снова в рабство, чем страдать, добиваясь свободы. Избранный народ взирает на битву со стороны, стоя на безопасном расстоянии.

Мои слова могут показаться словами юдофоба. Но я не юдофоб. Я люблю свободу. Битва происходит по всему лицу земли, она интернациональна, она не знает различия племен и народов. Она не касается только еврея или язычника. Она ведется за свободу человечества. И тот, кто хочет оставаться рабом, более опасный враг, чем все те, кто хочет быть тираном. Сражаться с угнетателями легко. Но трудно, адски трудно пытаться избавиться от рабов.

Его слова воспламенили воображение Иетты. Как часто она слышала от отца, что жалкая участь их народа объясняется недостаточными привычками к свободе. Он чувствовал, и это составляло одно из величайших его терзаний, что избранный народ совершенно не отвечает своему высокому призванию. Она вспомнила его торжественные беседы с нею и объяснения,

почему именно ему хочется, чтобы она получила образование. Он хотел, чтобы она сделалась американкой—свободной женщиной.

Лонгмэн остановился. Вместо аплодисментов послышался раздраженный ропот. Но слова его прозвучали для Иетты непреложной истиной. Почему они не приветствуют его слов восторженными криками? Чудодейственное влияние вина сыграло свою роль. Если бы не его огненное воздействие, то Иетта не знала бы, куда деваться от смущения перед лицом этой толпы, и превратилась бы в олицетворенную робость перед такой угрюмой аудиторией. Но любезная судьба иной раз вызывает к жизни много хорошего, невзирая на самое скверное начало. Шампанское, которое должно было привести к полной погибели Иетты, придало ей храбрости. Она поднялась на эстраду, словно под влиянием какого-то наития.

— Все, что он говорит,—чистейшая правда. Мы, евреи, не сражаемся за свободу, как должны были бы сражаться. Взгляните на меня. Мой отец любил свободу. Может быть, некоторые из вас помнят его. Его фамилия Раевский. Ему принадлежала книжная лавка на Ист-Бродвэй. Он беседовал со мной о свободе, постоянно говорил о ней и о том, как мы должны устроить свою жизнь в этой стране. А потом он умер, а я пошла работать в мастерскую. У нас шьют жилеты. Я забыла все, что он говорил мне. Какое право у меня на свободу? Я все забыла об этом. Я не была бдительной. Никто не говорил мне о свободе с тех пор, как умер мой отец. Я...—тут ее голос задрожал на мгновенье—ну, да... я скажу вам все. Я „спидер“ у нас в мастерской. Мне очень жаль. Я не думала никогда об этом. Никто не говорил мне никогда в жизни, что это значит. Если в моем производстве есть какой-нибудь союз, то я вступлю в него. Я попробую перестать быть рабом. Я не могу принять большого участия в борьбе. Я не знаю, как это сделать. Мне кажется, что все недоразумение тут и скрывается. Мы не боимся—мы только не знаем, что нам нужно делать. Я не получила никакого образования. Мне пришлось бросить школу, когда отец умер. Мне было только пятнадцать лет. Но я попытаюсь не мешать тем, кто участвует в борьбе. Я думаю..

Но под влиянием возбуждения и душевного волнения действие на нее вина прошло. Внезапно она увидела перед собою море лиц. Глас народа вдруг превратился мгновенно в очень испуганную молоденькую женщину, не знавшую, как ей продолжать свою речь или как сесть на место.

— Вот все, что я хотела сказать,—пролепетала она.—Я попытаюсь не быть больше рабом.

Ее простая, безыскусственная история, а больше всего самообвинение изменили настроение общества.

— Правильно!—подтвердил кое-кто из мужчин, и раздались довольно громкие аплодисменты. Она была слишком смущена, слишком испугалась собственной смелости, чтобы понять, что митинг был спасен ею от провала. Но мисс Трэн, никогда не терявшая присутствия духа, уловила психологический момент, чтобы положить конец речам, и дала знак оркестру начать танцы. Все встали со своих мест и начали с шумом и гамом отодвигать скамейки к стенам.

Но Гарри Клейн не был в настроении принять участие в танцах. В этой чуждой ему, смущающей его обстановке, он тоже сделал открытие, что в его спутнице обнаружилась какая-то новая черта, которой он не подозревал. В ней проявилось что-то, чего он не понимал, с чем он не приготовился иметь дело. Казалось, все соединилось, все сговорились, чтобы вырвать ее у него. Даже его терпение лопнуло. Он должен во что бы то ни стало вывести ее на улицу—в свою стихию.

— Ну, пойдем,—сказал он грубо, схватив ее крепко за руку.—С меня хватит всего этого. Пойдем же, говорю тебе. Я не для того пришел, чтобы слушать весь вечер эту волынку.

В минуту экзальтации Иетта почти совершенно забыла о существовании своего жениха. Его резкая манера буквально ошеломила ее и внезапно прервала ход ее мыслей. Гарри повел ее через зал и дошел почти до дверей, раньше чем она пришла в себя. За дверью была темная ночь, беспомощность и страх неизвестности Здесь в зале была женщина, которая приходила в Дом Соседства, женщина, которой Иетта не боялась.

— Подожди,—сказала она.—Мне нужно поговорить с мисс Трэн.

Среди этой враждебной обстановки молчаливое презрение мисс Трэн было невыносимее всего. Гарри предпочел бы скорее позволить Иетте поговорить с Рахилью. По крайней мере, Рахиль его боялась.

— Пойдем же,—зарычал он и рванул ее к дверям.

— Нет, нет. Я хочу остаться.

— Не вопи, пожалуйста,—прошипел он, свирепо рванув ее. Он пытался подчинить ее себе жестким взглядом своих глаз.— Идем же. Не устраивай скандала. Не вопи!

Они были близко от дверей, ведущих в темный подъезд, и Иетта все же не могла собраться с духом, чтобы вскрикнуть от страха. Он грубо вытолкнул ее в вестибюль. Но вдруг его дальнейшему движению был внезапно положен конец. Кто-то схватил его за шиворот и сбил с ног.

— Не спешите, любезный.—Это был Лонгмэн.—Куда это вы намереваетесь увести эту молодую особу?

Свободная рука Гарри сделала инстинктивное движение по направлению к заднему карману брюк, но рука Лонгмэна успела опередить ее.

— Ого-го!—сказал он мягко.—Скрытое оружие!

Джэк готов был плакать от ярости. Он—председатель политического клуба, страшный вождь шайки убийц—позволяет так с собой обращаться, служит мишенью для насмешек со стороны толпы рабочих!

— Я вас спрашиваю, куда вы намереваетесь увести эту молодую особу?—повторил Лонгмэн.

— Я привел ее сюда,—огрызнулся Джэк, отчаянно стараясь вернуть свое хладнокровие,—и, мне кажется, могу увести ее, если она утомлена от проведенного вечера.

— Да. Разумеется, вы можете ее увести отсюда, если она хочет уйти. Но не имеете никакого права, если она не хочет. Я не уловил вашего имени,—продолжал он, обращаясь к Иетте,— но буду очень рад проводить вас до дому, если только вы хотите уходить. Предпочитаете ли вы итти со мной, или с этим...—

он взглянул сперва на увядшего буяна, которого продолжал крепко держать, а потом на группу мужчин, собравшихся вокруг них.—Это кот, не так ли, товарищи?

Послышался утвердительный гул.

— Ты не оставишь меня так, Иетта, не правда ли?—взмолился Джэк, внезапно теряя то, что он считал мужеством, при мысли лишиться ее,—ты не бросишь меня только потому, что эти бродяги напали на меня.

— Конечно, вы можете итти с ним, если хотите,—сказал ласково Лонгмэн.—Но, право, мне думается, будет лучше, если вы не пойдете. Вы не много сделаете для свободы, если пойдете с ним.

— Я остаюсь,—сказала Иетта просто.

Тогда Джэк начал браниться и угрожать.

— Молчать,—произнес лаконично Лонгмэн, и Джэк повиновался.

— Слушайте,—продолжал он, обращаясь к мужчинам,—отведите его в полицию. Будьте осторожны—у него в кармане револьвер. Предъявите к нему обвинение в незаконном ношении скрытого оружия. А вы... простите, как вас зовут?—Раевская? Благодарю вас. Мисс Трэн хотела поговорить с вами, вот почему я очутился сейчас здесь. Не будете ли вы любезны пойти со мной, и мы поищем ее.

Ведя Иетту через зал, Лонгмэн сказал, что ему чрезвычайно понравилась ее речь, и начал болтать с деловым видом о других маловажных предметах, словно спасение молодой девушки, бывшей на краю гибели—одна из самых естественных вещей на свете. Иетта вовсе не была истеричкой, но на ее долю выпало в этот вечер совершенно достаточное количество не вполне обыкновенных эмоций, чтобы перевернуть кого угодно. Его спокойный, уверенный голос, звучавший так, как будто все было в полном порядке, казался скалой, на которую можно опереться.

Он оставил Иетту в пустой комитетской комнате позади эстрады и кинулся искать Мабель, которая, сказать по правде, не посылала его за Иеттой. Не без труда он освободил ее от

роя молодых поклонниц и, проводив до дверей комитетской комнаты, рассказал обо всем случившемся.

— Добрый старичина Вальтер!—рассмеялась она.—Просил меня не совать носа, а вместе с тем всю роль спасителя принял на себя.

— Я не совался,—ответил он смущенно,—пока парень не начал насильничать.

— А вы признаете силу мускулов единственным родом силы?—сказала она.—Держу пари, что он и наполовину не использовал своей силы, когда вы вмешались, по сравнению с тем, что он, наверное, вытворял над ней раньше, не трогая ее пальцем.

Она вошла в комитетскую комнату и закрыла за собой дверь. И через несколько минут Иетта была потеряна для своего поклонника. Сотни девушек много раз выплакивали свое горе на плече мисс Трэн, но хотя она и говорила в шутку друзьям, что ее блузочки линяют от слез, все же каждая из девушек всегда могла рассчитывать встретить живое участие со стороны Мабель. Самый процесс давно потерял для нее прелесть новизны, но для Иетты это было новым и совершенно необычайным переживанием. С тех пор, как отец утешал ее, когда она прибегала к нему с ушибленной ногой или порезанным пальцем, она ни разу не плакала у кого-нибудь на плече. А у мисс Трэн, как и у Лонгмэна, было достаточно такта, чтобы как можно скорее отвлечь ее мысли от вечерней трагедии и обратить внимание на новые идеалы, вызванные к жизни митингом. Как только на глазах Иетты высохли слезы, Мабель проводила ее в главный зал и познакомила со своими друзьями. Подошел Лонгмэн и пригласил ее танцовать, а потом посидел с ней немного и поговорил о рабочих союзах и о борьбе за свободу. А затем он подозвал Исидора Брауна, адвоката-социалиста, и заставил его протанцовать с Иеттой. Оба молодых человека были ее единственными кавалерами на этом первом балу. Через каждые несколько минут Мабель умудрялась отрываться от своих разнообразнейших обязанностей и прибегала посидеть с ней.

Около полуночи они проводили ее домой. Лонгмэн пожал ей крепко руку, а Мабель поцеловала ее на прощанье, пожелав спокойной ночи. Чувствуя себя страшно усталой и потрясенной, Иетта стала подниматься по темной лестнице.

ГЛАВА VIII.

Новые друзья.

— Интересная девушка,—сказал Лонгмэн, когда они с мисс Трэн возвращались домой, проводив Иетту.

— Да. Мне хочется не терять ее из вида. Она может оказаться для нас очень полезным новым членом.

Лонгмэн рассмеялся.

— Что вы нашли забавного?—спросила она быстро.

— Слово забавное тут не совсем подходит, но, скажите, вы всегда в каждом видите или союзника, или врага?

— Все остальное меня мало интересует: или враги, или друзья. Нельзя оставаться нейтральным во время борьбы за справедливость.

— Пожалуй, что и так. Но на мой взгляд в этой девчурке из трущобы есть очень много интересного, не имеющего ничего общего с тем, что она просто-напросто еще цыпленок, настроенный весьма воинственно и уверенный, что правда на его стороне.

— Например?

— А вот. Начнем с того, что у нее нежная и чистая душа, на которой каким-то изумительным образом не сказалось влияние развращающей среды и которая напоминает какой-то удивительно нежный цветок, пышно распустившийся на навозной куче. Это одно из тех чувствительных растений, которому может повредить хотя бы самое легчайшее неосторожное прикосновение. Просто чудо, как уцелел такой цветочек, как его не растоптали: кругом столько беспечных, безучастных ног! Не горжусь собою, каков я есмь, но мне противно подумать, на что я был бы похож, будь я на ее месте. Мне всегда кажется

чудом, если какое-нибудь дитя улицы стремится стать хорошим. Откуда снизошло на нее наитие среди всей этой грязи и мерзости? А затем меня всегда интересует—очень интересует и печалит—наблюдение над тем, как невероятно глупо это жадное стремление к чему-то хорошему, как оно с той же легкостью приводит к полнейшей гибели, как и к чему-либо другому. У этой Иетты Раевской прекрасная и совершенно нелепая вера в людей. Едва познакомившись с вами, она через несколько минут уже возымела доверие к вам. Не сомневаюсь, что она верит и мне, точно так же, как раньше доверяла этому коту. И та вера, с которой она слепо полагалась на него, была столь же прекрасна, как вера в вас.

— Знаете, Вальтер, если бы кто-нибудь посмотрел на вас, то никогда не мог бы себе представить, что вы столь...

— Сентиментален? Мне кажется, что вы снова хотите меня так окрестить.

Лонгмэн произнес это с горечью. А мисс Трэн, зная, как больно заденет его насмешка, промолчала с тем же горьким чувством. Молча, они продолжали вышагивать друг подле друга через весь город по направлению к Бродвэй, поднялись вверх по ней и дошли по этой пустынной улице, одной из главных артерий Нью-Иорка, до Вашингтон-Сквэра. И Вальтер и Мабель были недовольны.

В глубине души Мабель Трэн сознавала, что чудесные феи, снабдившие ее всем необходимым для жизненного пути, не все предусмотрели. Щедрой рукой они излили на нее массу разнообразных талантов. Но они позабыли наделить ее тем ничтожным комком нервных клеточек, который управляет более глубокими чувствами. Мабель знала, что существуют такие жизненные высоты и глубины, которые никогда не суждено ей посетить. От этого ей становилось иной раз не по себе. И Лонгмэн, который во всех других отношениях очень нравился Мабель, всегда напоминал ей об этом ее недостатке. Ей казалось, что он насмешничает над ее холодной интеллектуальностью. А так как она была чрезвычайно чувствительна на этот счет, то и выпаливала прямо ему в физиономию, что он „сентиментален“.

Из всех странных типов города Нью-Иорка Вальтер Лонгмэн был, пожалуй, одним из наиболее причудливых. Его родители умерли, когда он был в Гарвардском университете. Они оставили сыну капитал, приносящий ежегодный доход около пяти тысяч долларов. Вальтер не отличался в университете блестящими успехами. Почти всегда над его головой висели то один, то два „условных“ зачета, но он благополучно достиг конца, благодаря выдающимся способностям к языкам и живейшему интересу к философии. Среди студентов он не пользовался популярностью, ибо, несмотря на свое необъятное тело, не мог проявить достаточный интерес к футболу, чтобы вступить в ту или иную „команду“. Он предпочитал усесться в нише окна и заняться чтением.

Будучи на первом курсе, он случайно наткнулся во время обычного беспорядочного, бессистемного чтения на статью в одном немецком научном журнале, где был помещен отчет о каких-то раскопках в местности, где лежала когда-то древняя Ассирия. В статье говорилось о том, что найдено большое количество книг, написанных на плитках на языке, который до сих пор не расшифрован. Вопрос его заинтересовал, и он поставил себе целью прочесть все, что было в библиотеке по данному предмету. Увидев, как велик материал, он пришел в изумление. История о том, как Раулинсон и другие расшифровали неведомые языки, буквально его очаровала. По окончании университета он пробыл в Кэмбридже два месяца, чтобы закончить изучение заинтересовавшего его вопроса. Там он нашел много новых данных, которые касались книг на плитках, прежде всего обративших на себя его внимание. Несколько сот таких плиток было вывезено в берлинский музей. Не имея в Америке никаких спешных дел, Лонгмэн отправился в Германию взглянуть на плитки. Вся добыча экспедиции была размещена в одной комнате. Провозившись над изучением плиток несколько дней, он решил, что нить найдена. Вальтер мог бы получить более свободный доступ в музей, если бы был студентом, поэтому он пошел в университет и записался на лекции. У него не было ни малейшего намерения прожить в Берлине долго или слушать в университете

лекции, но его единственной целью в жизни, связанной с пребыванием в Америке, была мысль написать книгу по философии, а она могла и подождать.

Найденная сперва „нить“ оказалась ложной. Но эти бесконечные ряды древних плиток, со своими таинственными надписями, скрывавшими в себе историю погибшей цивилизации, чрезвычайно подстрекали его любопытство. Он еще раз решил, что его философский труд может подождать.

Только через два года он перевел удовлетворительно первую плитку. Раз ключ был найден, дело пошло на лад быстро. Если бы Лонгмэн работал в контакте с университетскими ассириологами, то весьма возможно, что он тотчас же сообщил бы им о своих открытиях. Но он не знал никого из профессоров лично и продолжал работать совершенно самостоятельно. Перевод всей коллекции занял у него шесть месяцев. Плитки заключали в себе официальную летопись о деяниях какого-то царя-царей, который правил над давным-давно забытым народом, называвшимся хактитами. Потребовалось еще шесть месяцев на составление грамматики и словаря хактитского языка. Затем он вспомнил об университете и отнес оба своих манускрипта к профессору ассириологии. Вальтер был положительно возмущен тем первоначальным скептическим отношением, с которым было встречено его открытие, а еще больше ему надоедали хвалебные гимны, расточавшиеся по его адресу учеными, когда исследование подтвердило правильность его взглядов. Он провел еще год в Европе, чтобы дождаться, когда выйдет в свет его работа, печатавшаяся в Берлине, и перевести различные хактитские плитки, рассеянные по другим музеям. В результате он очутился в Тегеране, а затем под открытым небом в той местности, где производились раскопки и где были бесчисленные надписи на каменной кладке зданий, слишком массивной, чтобы ее можно было вывезти в европейские музеи. Затем он вернулся в Нью-Иорк и занял место преподавателя ассириологии в Колумбийском университете. Он выговорил себе условие, чтобы ему было предоставлено по возможности больше свободного времени. Университету не трудно было согласиться на это, так как не замечалось особенного

наплыва слушателей, стремившихся к изучению хактитского языка Но Лонгмэн настаивал на досуге, чтобы иметь возможность писать свою работу по философии, которая ему казалась весьма серьезной и неизмеримо более важной, чем мертвая наука по его специальности. Он злился на себя, что потратил столько времени и приобрел известность в такой бесполезной отрасли человеческого знания.

Он обосновался в верхнем этаже двухэтажного дома на Вашингтон-Сквэре. Квартира была снята по долгосрочному контракту, и, снеся перегородки, Вальтер устроил себе большой рабочий кабинет в передней комнате, выходившей окнами на сквэр, затем ванную, спальню, а за ней маленькую кухонку. Две больших комнаты позади он переуступил внаймы под кладовые каретному мастеру, занимавшему нижний этаж. Питая ужас перед прислугой, он по утрам варил себе кофе сам, а синьора Рокко, почтенная итальянка, приходила к нему со своим ключом и приводила все в порядок, когда Лонгмэн уходил завтракать. Два раза в неделю он должен был посещать университет.

Остальное время уходило на то, что он считал своей настоящей работой. Свою книгу он предполагал назвать „Синтетической философией". Сотни так называемых мудрецов отказались бы от всякого действительного общения с жизнью, удалились бы в уединение кабинета или подземелья и написали бы солидные томы, посвященные вопросу о том, как должен мыслить человек. Лонгмэн намеревался притти к открытию, как действительно мыслит ему подобный. Он подходил к этому вопросу систематическим, почти статистическим путем.

Он свел все наиболее важные из всевозможных людских взглядов и убеждений к двадцати с чем-то положениям с многочисленными подзаголовками и все это напечатал на двойных листах небольшого формата. Опросные листы начинались очень решительно—прямо с вопроса о божестве. От высот метафизического истолкования вопросов о существовании, единстве и атрибутах бога опросный лист спускался ниже к земле, занимаясь исследованием неба и веры в будущую жизнь. Он то взлетал

в высь, в холодные высоты Чистого Разума и Erkenntniss-Theorie, то нисходил к более практическим вопросам этики; как данный субъект представляет себе summum bonum и при каких обстоятельствах допускает право на самоубийство, верит ли он или нет, что всякий человек имеет свою цену. Где бы Лонгмэну ни удавалось встретить такого субъекта, который хотел подвергнуться допросу, он мучил его целыми часами. Все сделанные заметки, составлявшие credo его жертвы, он заносил по пунктам на одну из напечатанных опросных таблиц и приобщал ее к другим. Почти все его знакомые смеялись над подобной затеей, но Лонгмэн продолжал заниматься этой работой, которая глубоко его интересовала, с такой же упорной настойчивостью, с какой он проводил, не разгибая спины, целые месяцы над изучением вдоль и поперек ассирийских плиток, интересовавщих его в общем весьма мало.

Пожалуй, он был вполне создан для такой работы. Все без исключения его любили и как-то чувствовали, что с ним можно говорить совершенно просто и откровенно. И Лонгмэн очень быстро умел подметить фальшивую нотку или недостаток искренности. Если, задав вопрос: „Считаете ли вы, что стоит быть честным?“, он записывал „да“, то испытуемый субъект безусловно высказывал свое глубочайшее убеждение, а не старался сделать вид, что он это думает, и не становился в позу. И у него было уменье ставить вопросы простым, понятным языком. Напечатанные опросные листы были испещрены техническими терминами, приводившими непосвященного в ужас. Но Лонгмэн не пользовался такими выражениями, как „конечная реальность“, „категорический императив“. Он не задавал испытуемому вопроса, не является ли его представление о боге антропоморфическим. Весьма немногие из тех, чью веру он подвергал анализу, уразумели бы такие термины.

Сущность поставленного им себе плана заключалась в том, чтобы разнести по таблицам по определенной схеме убеждения людей всевозможных состояний и положений. И во время своих исследований, изучая эти убеждения с самых различных точек зрения, он сталкивался и входил в самое тесное соприкосновение

со странной смесью людей. В свою „операционную комнату“, как Мабель Трэн называла шутливо его кабинет, он заманивал профессоров университета и полицейских, молодых дам, аристократок высшего круга и уличных бродяжек. На одном листе были увековечены интимные мысли нижнего жильца, каретного мастера, занимавшегося окраской экипажей; на другом—убеждения знаменитой оперной певицы. Испытанию подвергался римско-католический епископ Нью-Иорка и юная особа из Армии Спасения, которая постучала как-то в двери к Лонгмэну, чтобы предложить номер „War Cry“, и зашла потом, чтобы попытаться обратить его в свою веру. Она сначала очень смутилась, когда он стал задавать ей головоломные вопросы, но затем, как и все имевшие с ним дело, быстро была покорена его ласковой манерой и проницательным взглядом. Она отказалась от своей миссионерской позы и начала беседовать с ним вполне откровенно не только о своих убеждениях, но и о сомнениях.

Почти каждый, кто проходил через это испытание, вспоминал о нем с каким-то странным, благоговейным удовольствием. Ведь так редко нам удается найти кого-нибудь, кому мы можем сказать правду.

Между прочим, к Лонгмэну попал как-то один опустившийся неудачник, привычный завсегдатай дешевых меблированных комнат и питейных заведений. Стоит только начать с ним разговор, как он сейчас же начнет рассказывать вам эту историю. В один холодный октябрьский вечер, когда у него не было ни гроша денег на ночлег и он собирался провести ночь в парке на скамейке, прикрывшись вместо одеяла утренней газетой, какой-то господин обратился к нему с вопросом, не хочет ли он выпить глоток чего-нибудь. Ничуть не подозревая свалившегося на него счастья, он пошел вслед за Лонгмэном в его „операционную комнату“. Прежде всего ему поднесли там хороший глоток виски—„доброго шотландского виски, сэр“,—а потом поставили перед ним обильный холодный ужин—хлеб, сыр, сардины и дымящуюся чашку кофе—„столько, сколько я мог съесть, сэр“, и дали сигару—„длиной с вашу ногу, сэр. Это был настоящий джентльмэн, сэр, и он беседовал со мной, словно я был джентльмэном“.

Была у него и молоденькая жена пожилого профессора. Кое-кто из факультетских дам с удивлением поднимал брови, когда упоминалось ее имя, и не бывал у нее на приемах. Она была покорена широкими плечами Лонгмэна и его ласковой медвежьей неуклюжестью и слишком торопливо дала свое согласие прийти к нему в кабинет. Никому об этом она не сказала, но проливала слезы при воспоминании о своем посещении Лонгмэна—проливала слезы о том, что он больше ее не расспрашивает.

Подавала ли книга Лонгмэна или нет большие надежды на то, что она принесет какую-нибудь пользу человечеству, но во всяком случае работа над нею приносила автору несомненную пользу. Он увидел жизнь в непосредственной близости, во всей ее „страшной интимности", как говорил Мирабо. Здесь в „операционной комнате" сердце его сделалось особенно всеобъемлющим. Он скрывал, насколько мог, свое всегдашнее неизменное ко всем расположение под покровом веселости и живой болтовни. Кроме Мабель, пожалуй, мало кто понимал, каким, собственно говоря, сентиментальным он был. Он был родным братом Абубен-Адему. И такая любовь к себе подобным естественно вызывала в нем резкое возмущение существующим порядком вещей. Но в нем не было чувства коллективности: он любил всех людей, как индивидуалист. Он не чувствовал симпатии к массовым движениям. В глубине души он сознавал необходимость единства действий и верил в трэд-юнионы и социализм. Но вид толпы всегда сердил его. Он был ревностным апостолом социальной революции, но не мог работать рука об руку с какой-нибудь организацией. Поэтому социалисты прозвали его анархистом. Ему было совершенно все равно, как бы его ни называли. Однако, большая часть суммы, составлявшей разницу между его очень незначительными расходами на жизнь и очень порядочным доходом, попадала без дальнейших околичностей в кассы каких-то социалистических или трудовых организаций.

Но вот уже целых три года, как Мабель Трэн стала для него „первопричиной", к подножью которой он сложил всю свою преданность,

Она тоже была из породы таких людей, которые, не будучи связаны никакой обязательной работой, добровольно выступают на защиту тех, кто должен работать. Но она делала это более интенсивно, более упорно и практично, чем это делал Лонгмэн. Она отдавала на это не только те деньги, которые могла сэкономить, но и самоё себя.

Мабель кончила курс в Висконсинском университете и, увлекшись теориями способной и смелой группы экономистов того факультета, на котором была, встала по отношению к рабочему вопросу на ту точку зрения, которая почти столь же радикальна, как и точка зрения социалистов. Один из ее профессоров говорил ей, что за всю свою долголетнюю практику в университетах с совместным обучением он никогда не встречал женщины с более мужским складом ума. В то время она была польщена таким отзывом. В двадцать лет она гордилась тем, что у нее не бывает припадков истерии, что ее ум не знает „обморочного состояния", что она может овладевать предметом в классной комнате так же сухо, бесстрастно и легко, как это свойственно мужчине. В двадцать семь она начала понимать, что жизнь— это не классное упражнение и что есть некоторые неизбежные проблемы, свойственные женщине, которые немыслимо разрешить по мужской манере. Она чувствовала себя более холодной по сравнению с другими женщинами. Романы ее товарок по колледжу внушали ей некоторое отвращение. В двадцать семь лет она была готова отдать правую руку за способность потерять голову, как какая-нибудь девушка-работница, среди которых она работала.

Собственно говоря, профессор безусловно ошибался, называя склад ее ума мужским—он был только замечательно здравым. Она сумела безбоязненно заглянуть в лицо безумию нашей промышленной системы и понять его. В ней была глубокая женственность, которая делала для нее невозможным восприятие жизненного строя, стоящего в противоречии с ее внутренними убеждениями. Так как она считала, что отношения между трудом и капиталом в основе своей несправедливы, то ей казалось необходимым посвятить свою жизнь борьбе за справедливость

То, что можно назвать „нормальным материнским инстинктом“, совершенно в ней отсутствовало. Ее женское естество было проникнуто пламенным желанием „стать матерью“ всех людей. Все ее заботы были посвящены тем детям, которые умирают еще до появления на свет, которые отравляются скверным молоком, которые чахнут от испорченного воздуха, которые хиреют и делаются хилыми от дурного питания. Все унылые детишки бедняков были ее собственными детьми. Она редко переписывалась со своими двумя родными сестрами—она была старшей сестрой всех одиноких девушек.

Ее родители совершенно не симпатизировали увлечению Мабель рабочим людом. Их беспрестанные придирки и заставили ее, главным образом, уехать на восток, чтобы избавиться от постоянных сцен. В течение нескольких лет она стояла во главе Лиги Женского Трудового Союза. Ее происхождение и прекрасное воспитание обеспечили ей успех среди богатых дам, от поддержки которых зависела Лига,—девушки-работницы обожали Мабель, довольно грубоватые мужчины из Центрального федеративного союза пришли к тому убеждению, что она никогда не выступает на митинге, если ей нечего сказать. А боссы воздавали должное ее способностям, судя по той ненависти, которую они к ней питали от всего сердца.

Большинство молодых людей, которые делали попытки поухаживать за Мабель—а их было всегда целое множество, потому что она была очень привлекательной женщиной—не могли похвастаться успехом. К их великому прискорбию, она не позволяла им обольщаться никакими надеждами. У нее был такой живой ум, что было очень трудно восхищаться ее чарами, которыми она была щедро одарена. Ей нужны были такие собеседники, которые давали бы пищу для ума. И всякое проявление сентиментальности она встречала презрительным смехом.

Положение вещей еще более осложнялось для ее так называемых вздыхателей благодаря тому, что Мабель в тех случаях, когда она не была очень занята, всегда появлялась в сопровождении своей подруги Элеоноры Мид, с которой вместе нанимала квартиру. Элеонора ничуть не походила на грозную дуэнью.

У нее был чистый прерафаэлистский тип. По профессии она была художником-декоратором по убранству и отделке комнат, и на ее деловой визитной карточке стояло: „Работала раньше у Либерти—Avenue de l'Opera, Paris". Она с большой тщательностью старалась культивировать в себе внешность эстета. Она почти всегда одевалась в яркие зеленые тона и в тона старого золота и была истинно счастлива только в течение того короткого сезона, когда могла носить за поясом свежие нарциссы. Работала она искусно и зарабатывала очень хорошо, при чем имела еще побочный доход, устраивая фешенебельные вечера, где читала по-французски лекции по разным вопросам искусства, а иногда выступала с чтением нескольких драматических отрывков из Метерлинка или каких-нибудь французских мистиков.

Большинство мужчин находило, что ее красота чересчур водяниста. Но один из „Кружка молодых" провозгласил ее музой и посвятил ей целую серию сонетов в духе Петрарки. Элеонора была, пожалуй, польщена такой данью ее красоте, пока несчастливому барду не пришлось написать, что у нее „глаза из сапфира", на что он был вынужден требованиями рифмы. Знакомые начали изощряться в остроумии по адресу ее „сапфировых глаз"—на самом деле они были несколько белесые—и стали называть ее „Сапфиром". Многие из страстных поклонников Мабель сократили непочтительно это имя просто в „Саф". Она дала отставку честолюбивому рифмоплету, и его длинные волосы скрылись с горизонта в художественно-декорированных аппартаментах на Вашингтон-Сквэре.

Наружность Элеоноры вовсе не внушала ужаса, но ее боялись и ненавидели все поклонники Мабель. Зайти запросто к одной мисс Трэн было положительно немыслимо—нужно было приходить к ним обеим. Элеонора не относилась к гостям с явной невежливостью, стараясь скрыть ревность и зависть под покровом отличного воспитания, но превратила всякое ухаживание за своей подругой буквально в какую-то безобразную пытку. Очень многие из вздыхателей отказывались от дальнейшего состязания после двух-трех визитов. Но Лонгмэн шел настойчиво к своей цели в течение трех лет. Ему не пришлось очень долго

раздумывать над тем, что с ним происходит, и после двух неудачных попыток застать Мабель одну и поговорить с ней об этом, он вошел однажды вечером в квартиру подруг с отчаянным намерением.

— Мисс Мид,—сказал он, войдя в комнату и приступая прямо к делу.—У меня есть нечто весьма серьезное, о чем я хотел бы переговорить с мисс Трэн. Я хочу просить ее быть моей женой. Не будете ли вы так любезны?..

С этими словами он распахнул дверь, ведущую в столовую. Его образ действия не допускал никаких возражений. И Элеонора, высоко подняв голову, проплыла мимо него. Он старательно прикрыл за нею дверь. Весь вечер Элеонора простояла на коленях за дверью, приложив ухо к замочной скважине. Но она не услышала ничего такого, что могло бы ее огорчить.

Логмэн не добился ничего утешительного. Мабель отклонила его предложение самым решительным и категорическим образом Но он не признал себя побежденным и не утратил мужества. Когда Вальтер в третий раз настойчиво обратился к ней с прежним предложением, то Мабель рассердилась и заявила, что он может не показываться ей на глаза. Через несколько дней от него пришло очень смиренное письмо. Он молил предоставить ему случай быть ее другом и торжественно обещал не говорить ни слова о любви целых шесть месяцев. Мабель не ответила на письмо, но на следующее воскресенье Лонгмэн явился к ней пить чай. Между ними завязалась тесная, но нездоровая дружба. Элеонора так явно выказывала свое отвращение к нему—она утверждала, что тот способ, к которому Лонгмэн прибегнул, чтобы выпроводить ее в столовую, доказал, что он совершенно не джентльмэн—что Вальтер очень редко заходил к ним на квартиру. Но при всяком удобном случае он встречался с Мабель вне дома. Все, кто видел его вместе с ней почти каждый вечер на разных рабочих собраниях, предполагали, что они помолвлены. Такая тесная интимность только заставляла Лонгмэна влюбляться в Мабель все больше и больше. От положения ее личного телохранителя он перешел на положение раба. Он стал бегать у нее на посылках.

Рассматривая такое положение вещей с мужской точки зрения, он не мог допустить, чтобы она могла принимать знаки столь самоотверженной службы, если для него нет никакой надежды.

Когда в конце обусловленных шести месяцев она снова ему отказала—с той же холодностью, как и раньше—это было для него горьким сюрпризом. Если бы так вел себя мужчина, то Лонгмэн, не колеблясь, назвал бы его черствым эгоистом.

Он уехал в горы, чтобы поразмыслить об этом на досуге. Через неделю он вернулся и опять сделал предложение. Мабель снова рассердилась. Если она говорит „нет", то это значит „нет". Она не желает выходить за него замуж и не думает, чтобы у нее когда-нибудь явилось такое желание. Он просил у нее позволения стать ее другом. Прекрасно. Ей дорога его дружба, но если он собирается надоедать ей через каждые несколько дней своими нудными предложениями вступить с ним в брак, то никакая дружба между ними немыслима.

В течение двух недель он боролся с собой в одиночестве, разрываясь между страстным желанием увидеть ее и гордостью. А потом отправился на митинг, где по его сведениям она должна была выступать с речью, и оттуда пошел вместе с Мабель, провожая ее домой.

Так это все повторялось и тянулось все три года. Между ними возникли тесные товарищеские отношения. Они узнали друг друга лучше, чем многие супружеские пары, прожившие вместе вдвое больше. Но Лонгмэн не видел ни малейшего улучшения в своем положении, не видел, чтобы он быстро подвигался на пути к той цели, к которой так страстно стремился. За эти три года он то переживал моменты надежды, то на него находили приступы отчаяния. Иной раз ему приходило в голову, что все, несомненно, кончится тем, что она полюбит его. Иногда же ломоть хлеба, которым служило для него дружеское общение с Мабель, казался ему горьким, как хина. Лонгмэн твердил себе, что он просто слабовольный глупец, что он служит для богов зрелищем, над которым они хохочут, любуясь, как он бегает за юбкой женщины, совершенно к нему равнодушной.

Временами он говорил: „Да пропади они все пропадом! Нынешняя радостная дружба лучше, чем ничего“. Находили на него и мрачные, злые минуты, когда он расхаживал взад и вперед по кабинету, проклиная Мабель, себя и свою безумную страсть,— а в следующее мгновение готов был целовать землю, на которую наступала ее нога.

Но неизменно мучительность таких дружеских отношений все возрастала. Все более и более настойчиво повторялась мысль уехать куда-нибудь. Быть может, она почувствует отсутствие друга и позовет его обратно. Но в нем слишком глубоко вкоренилось рабство, чтобы отважиться так смело восстать. Однако, в этот день утром Лонгмэн получил письмо, которое внезапно заставило его остановиться на такой мысли. Он решил подвергнуть ее испытанию.

— Мабель—начал он, когда они входили в Вашингтон-Сквэр,— если вы не очень устали, давайте зайдем на минуту к Лафайетту. Мне хотелось бы переговорить с вами кое о чем, весьма для меня важном.

Во взгляде ее мелькнула досада, которую он сейчас же понял с болезненной чуткостью.

— Нет,—сказал он серьезно,—я не буду надоедать вам объяснениями в любви. Это чисто деловой вопрос, о котором мне хотелось бы с вами посоветоваться.

— Отчего же не зайти к нам? У нас есть пиво, и Элеонора нам что-нибудь бы устроила. Это гораздо удобнее, чем итти в шумное кафе.

— Ну, что ж, очень хорошо,—сказал он сухо.—Я распрощаюсь с вами у ваших дверей.

— Вальтер, не глупите, пожалуйста. Почему вы такой кислый сегодня? Вы не раскрывали рта на протяжении шести кварталов.

— Вам прекрасно известно, что я не могу беседовать с „Саф“ по делу—она меня ненавидит. Мне нужно поговорить об этом с вами.

— Хорошо,—сказала она, прижав к себе его локоть, чтобы подбодрить Вальтера.—Но не будьте таким брюзгой из-за того лишь, что я назвала вас сентиментальным.

Наклонившись над мраморным столиком в кафе, он рассказал ей, что им получено письмо с приглашением присоединиться к экспедиции, организуемой французским правительством для раскопок в Персии каких-то хактитских развалин. С точки зрения ученого ассириолога, это лестное предложение: на нем остановили свой выбор как на самом выдающемся специалисте по данному вопросу во всей Америке. Но экспедиция затянется надолго—на три-четыре года, и придется жить в одном из наиболее недоступных для людей уголке земного шара. По всей вероятности, они будут получать почту не больше двух-трех раз в году. Да и, в сущности, его гораздо больше интересуют мысли живых людей, чем мумии и клинообразные письмена. А такая экспедиция помешает его работе по философии.

— Сказать по правде, Мабель,—закончил он,—у меня есть только одна причина, которая заставляет подумать о том, не стоит ли мне согласиться. Я не в силах переносить создавшееся положение. Не буду касаться запретной темы. Но я устал, совершенно истомился, скрывая свое желание заговорить об этом. Если я останусь здесь в Нью-Иорке, то безусловно буду... снова надоедать вам.

Он попытался слабо улыбнуться, но улыбка его была немного лучше той, с которой мы спрашиваем зубного врача, не очень ли будет больно. Мабель на минуту прилежно занялась своим café parfait и не отвечала ни слова. Она поняла все, что он не мог высказать. Наконец, она решилась на бескорыстный благой шаг, который ей следовало бы сделать гораздо раньше, будь она мужчиной. Она отослала его от себя.

— Мне кажется, что это такой редкий случай, которым следует воспользоваться. Вам не только воздают должную честь за все, сделанное вами, но и предоставляют возможность достигнуть новых и еще более выдающихся успехов. Иной раз я подшучиваю над вашей „Синтетической философией", но серьезно я не считаю ее таким важным занятием, как ваша ассириология. Судьба наградила вас в этой области талантом, невзирая на то, нравится вам такая работа или нет. Ваше желание заняться еще чем-нибудь другим—написать философское сочине-

ние—всегда напоминает мне знаменитого скрипача, который хотел бы быть жокеем или шоффером. Как ассириолог, вы безусловно большая величина. Не только я, но и большинство ваших друзей считаем, что у вас больше дарований для такой работы. Мне думается, вам лучше бы согласиться.

Лонгмэн проглотил лекарство, как мужчина. Спустя несколько минут он простился с Мабель у ее дверей.

Она застала „Саф“ растянувшейся à la M-me Récamier на бледно-зеленой софе в стиле Empire.

— Неужели вы никогда не отучитесь от привычки подметать пол по окончании бала?—спросила она томно.

— Я не подметала пола,—отвечала Мабель,—мы были с Вальтером у Лафайета. Пожалуйста, не принимайте надутого вида,—продолжала она,—он передал мне большую новость. Французское правительство приглашает его отправиться с экспедицией в Центральную Азию. Он едет.

— Господи,—воскликнула Элеонора, вскакивая с софы,—вот я рада!

— А я нет,—сказала Мабель,—мне будет страшно недоставать его.

— Мабель Трэн, я уверена, что вы влюблены в этого господина.

— Нет, не влюблена. И, пожалуй, почти жалею о том, что не влюблена. Я устала, едва стою на ногах. Спокойной ночи!

— Вы не хотите поужинать? Ужин очень удался.

— Нет. Спокойной ночи.

Мабель не то чтобы захлопнула за собой дверь своей спальной, но во всяком случае закрыла ее решительно, и больше часа просидела у окна, наблюдая за непрестанным движением в сквэре. Один раз она заметила Лонгмэна, проходившего мимо при ярком свете дуговых фонарей. Голова у него была опущена, руки глубоко засунуты в карманы. Хотя она и осталась совершенно равнодушной, увидев его, но глаза ее наполнились слезами, чего с ней давно уже не случалось. Слезы выступили у нее на глазах именно потому, что при виде Вальтера она осталась такой же равнодушной, как прежде.

ГЛАВА IX.

Иетта записывается в союз.

После бала Иетта долго не могла уснуть. Голова у нее шла кругом. Едва она пыталась сосредоточить свое внимание на думах о свободе, так глубоко ее взволновавшей, как тотчас же ей становилось не по себе при мысли о том холодном ужасе, который она испытала при виде злых глаз Гарри Клейна и при грубом стискивании ее руки. Она чувствовала, что ей нужно продумать хорошенько свое отношение к нему, если она хочет навсегда освободиться от страха, но этот вопрос снова отходил на задний план при мысли о новых, необыкновенных друзьях.

Когда она, наконец, уснула, то забылась таким тяжелым сном, что не проснулась утром в обычный час. Миссис Гольдштейн, вошедшая в спальную комнату Иетты, чтобы разбудить ее, была поражена, увидев новую шляпку и белые башмаки, которые Иетта в своем волнении совсем позабыла спрятать накануне.

Первое, в чем могла отдать себе отчет Иетта, был какой-то неистовый шум в комнате. Дядя с теткой, оба почти полуодетые, с криком и гамом называли ее преступницей и осыпали градом проклятий. Прошло несколько минут, пока Иетта пришла в себя окончательно и поняла, в чем дело. А когда она поняла, то с ней произошла какая-то странная внутренняя перемена: жалкая супружеская чета вдруг перестала внушать ей страх.

— Да,—произнесла она, садясь на кровати и натягивая на плечи одеяло,—я была на балу. Если вам это не нравится, то я найду себе какую-нибудь другую комнату.

Болтливые супруги моментально умолкли. Гольдштейн разозлился на свою дочь Рахиль не только потому, что она „пошла по дурной дорожке“, но и потому, что она перестала отдавать ему деньги, на которые он напивался. После минутного изумления, в которое привело их внезапное проявление Иеттой своей независимости, они начали в один голос напевать ей о неблагодарности. Разве они не старались делать для нее все? Разве они

не приютили ее у себя, когда она осталась бездомной сиротой без гроша денег? Разве они не кормили, не одевали ее, не давали ей крова?

— А разве я не платила вам, отдавая весь свой заработок в течение четырех лет?—ответила Иетта.—Ступайте отсюда. Мне нужно одеваться.

В мастерской Иетта узнала, что об ее речи уже поспешила рассказать одна из девушек, работница второго стола, бывшая на балу. К счастью, эта девушка не была свидетельницей сцены с Гарри Клейном. При входе Иетты женщины, работавшие вместе с нею за одним столом, еще обсуждали шопотом эту историю. Воспользовавшись свободной минутой, пока мотор не начал дневной работы, тучная миссис Леви поспешила назвать Иетту дурой.

— Ну, и отличилась же ты,—заявила она.—Теперь ты нажила себе хлопот. Смотри, останешься без куска хлеба. Вот дура-то!

— Лучше будь осторожнее,—посоветовала веселая миссис Вайнштейн. Разве я не знаю? Муж мой состоит в союзе. Конечно, все союзы поступают правильно, но они всегда заводят смуту.

— Да и что пользы,—прокашляла с конца стола мрачная и измученная миссис Коген.—Все равно они не добьются никакого толку. Женщинам это не принесет ничего хорошего.

Мотор с ревом пришел в движение.

Странная вещь бывает в жизни: иной раз знакомая обстановка озаряется каким-то внезапным светом, все начинает казаться совершенно новым и отличающимся от того, что мы привыкли видеть. Четыре года Иетта работала в этой мастерской. Она принимала ее, как нечто неизбежное, не допускавшее никаких перемен, или „реформ“, непреложное, как движение звезд. Речи, которые она услышала, внезапно заставили мастерскую предстать перед ней в своем истинном образе. Мастерская перестала быть чем-то неизменяемым—она превратилась в создание человеческой жадности. Это была лаборатория, где вместо еблагородных металлов превращалась в золото кровь женщин

и молоденьких девушек. Алхимикам не удалось найти философский камень. Наша современность заменила его мастерской, где занимаются „выжиманием пота“. Это такой аппарат, при помощи которого столь бесценные качества, как юность, здоровье и надежды будущего поколения, можно перечеканить в полноценную государственную монету, служащую законным платежным средством.

Пока проворные пальцы Иетты со страшной быстротой машинально бегали, выполняя привычные движения, сама она как-то совсем иными глазами взглянула на безобразную действительность окружавшей ее в мастерской обстановки, как никогда не смотрела на нее раньше. Она увидела сломанную дверь, ведущую в загрязненную до неприличия уборную, она увидела закрытые невымытые окна, а это значит, что мастерская не проветривается, что в ней стоит воздух, насыщенный туберкулезными бактериями, она увидела спины согнувшихся женщин, сидящих во вредных для здоровья позах, увидела напряженный измученный взгляд их глаз. В смутной дымке она увидела, как могла бы сложиться жизнь этих женщин, увидела чистые домики и счастливых ребятишек. А за спиной она чувствовала существование „конторы“, где сидит Джэк Гольдфогль и подглядывает за ними через потайное окошечко, измышляя новые штрафы. И еще яснее, чем тогда во время своей речи, она увидала, какое место занимает она сама в этой адской системе, пропитанной жадностью, увидела самое себя—помощницу надсмотрщика за рабами, который сидит сзади нее. Она задавала себе вопрос, не относятся ли к ней с ненавистью подруги по работе, не испытывают ли они по отношению к ней той ненависти, которой она заслуживает? Но от привычки очень трудно отделаться сразу, и пальцы девушки продолжали работать с прежней быстротой.

Когда закончился трудовой день, какая-то жалкая женщина, по имени Левина, женщина, у которой было много ребят, еще больше забот и очень мало радостей, замешкалась в мастерской и постаралась насплетничать Гольдфоглю о речи, произнесенной Иеттой. Она надеялась получить за это награду, центов два-

цать пять, а то хотя бы десять, и купить на эти деньги чего-нибудь лишнего ребятам поесть. Но вместо денег на нее посыпались ругательства. В этот день был предъявлен к платежу один из векселей Джэка. Что ему прикажете делать, когда его травят кредиторы и грозит еще новая опасность в самой мастерской? Если бы он был каким-нибудь восточным деспотом, то приказал бы немедленно казнить посланца, принесшего такие скверные вести.

Из боязни встретиться на улице с Гарри Клейном, Иетта, возвращаясь домой, старалась держаться как можно ближе к миссис Вайнштейн. Остальную часть пути, которую ей приходилось пройти одной—на протяжении нескольких домов, она пробежала бегом.

Такая предосторожность была совершенно излишней. В этот вечер у Гарри не было никакого намерения приставать к Иетте на улице. Официальные служители юстиции обратили очень мало внимания на предъявленное к Гарри обвинение. Он был немедленно выпущен на поруки и прекрасно знал, что все дело о нем будет положено под сукно. Но хоть он ничуть не беспокоился о своем аресте, однако, чувствовал себя гораздо хуже, чем в былое время, начиная с того самого дня, который провел в тюрьме, еще будучи мальчишкой. Подобно большинству жуликов, он верил в „счастье". Очевидно, счастье ему теперь изменило. Он находил только одно утешение. Все дело велось им втихомолку. Никто из подчиненных не знал об его падении. Поэтому он стал замышлять план нанести эффектный „удар", который восстановил бы его престиж, если бы история его позора стала известной. Для полноты мести не мешало бы иметь в виду и Лонгмэна, но след был слишком неясен. Гарри не знал имени противника. С другой стороны, ему было прекрасно известно, где можно наложить руку на Иетту. Он был очень осторожным молодым человеком, и ему хотелось действовать наверняка, знать, что промаха не будет. Вот почему в этот вечер он шел вслед за ней по пятам, благоразумно замешавшись в толпе. Увидев, что Иетта пошла домой обычным путем, он улыбнулся с довольным видом.

— Дело в шляпе,—сказал он себе.

В этот день в квартире Гольдштейнов произошло событие: к ним явился мальчик-рассыльный, принесший Иетте письмо и целую пачку разных брошюрок. Даже почтальон редкий посетитель таких домов, а о появлении посыльного говорит вся улица. Диспут с племянницей заставил мистера Гольдштейна искать утешения от тревог, и он вернулся домой гораздо раньше своего обычного времени. Он застал жену в очень большом возбуждении за рассматриванием связки, торжественно покоившейся на кухонном столе. Гольдштейн не настолько был пьян, чтобы не увидеть, что брошюрки трактовали о трэд-юнионах. Поэтому, когда Иетта вернулась с работы, ее встретила новая буря. В качестве приверженца Таммани-Холл и человека, являющегося одним из столпов в храме существующего порядка вещей, Гольдштейн едва ли представлял себе, какую важную роль играет он и ему подобные в поддержании этого величественного здания. Мистер Гольдштейн стоял в оппозиции к трэд-юнионам и социализму. Они казались ему более пагубными для существующего общественного строя, чем разные социальные учреждения, танцовальные залы и религия гоев. И он был достаточно пьян, чтобы позабыть корыстолюбивую осторожность, помешавшую ему утром выбросить за дверь одного из членов семьи— главного виновника, которому он должен был быть благодарен за возможность напиваться водкой. В течение всего ужина Иетта принуждена была выслушивать упреки, нельзя сказать, чтобы очень деликатно выраженные. Но они почти не задевали ее. Как только ей удастся подыскать хорошее помещение, она уйдет от Гольдштейнов. Она больше не чувствовала страха. И, наевшись досыта, Иетта схватила большую из двух ламп и улизнула к себе в комнату, захватив брошюрки и письмо.

Мабель Трэн понадобилось не больше пяти минут, чтобы продиктовать письмо, хотя она два или три раза отрывалась от него, переходя к вопросам, которые считала более важными. Но, конечно, Иетте письмо показалось необычайно важным. Это было первое письмо в жизни, которое она получила, и оно пришло от самой удивительной женщины во всем мире. Мабель

задавала ей несколько вопросов относительно мастерской и о возможности приступить к организации работниц, шьющих жилеты, и настаивала, чтобы Иетта зашла повидаться с ней в бюро Лиги. К письму Мабель прилагала список митингов, на которых она предполагала выступать в ближайшие вечера, и просила Иетту прийти на один из этих митингов, если ей нельзя отлучиться днем. Ей очень хотелось бы поговорить с Иеттой подольше, и, кроме того, она высказывала надежду, что Иетта ее не забудет. Письмо было не официальное и очень ласковое. Девушка перечла его пять раз и с каждым разом чувствовала себя все более и более счастливой.

Затем она принялась за брошюрки и не улеглась спать, пока не кончила их. Давно уж ей не приходилось читать так много — целых четыре года. Там и сям встречались какие-то мудреные слова, которых она не понимала, но в общем брошюрки показались ей написанными удивительно ясно. В них она встретила много ответов на смущавшие ее вопросы и познакомилась со многими новыми. Хотя чтение заставило ее остро почувствовать свое невежество — заставило ее щеки покрыться румянцем стыда при мысли о годах, в течение которых она, словно бессмысленное животное, вовсе не думала—но, несомненно, она лучше поняла жизнь и более отчетливо увидела свое в ней место.

Последняя брошюрка больно задела ее. Называлась она „Скорость“ и была написана в очень резких выражениях и несправедливом тоне. Автор не уяснил себе, что „спидеры“ тоже люди; что очень немногие из них являются добровольными или понимающими суть дела орудиями в руках боссов. Пожалуй, таких и вообще нет. Он говорил о них, как о „предателях по отношению к товарищам“, называл их „презренными созданиями — иудами, продающими себя угнетателям за тридцать сребренников“, „более отвратительными, чем штрейкбрехеры“. Быть „спидером“ — настаивал автор, это значит „заниматься более постыдной проституцией, чем уличная“. Если бы Мабель сама выбирала брошюрки, то этой именно не послала бы Иетте но она просто отдала распоряжение своей стенографистке послать

„полдюжины“. А Иетта, не слишком много зная о стенографистках и ошибках, которые с ними происходят, вообразила, что так именно и думает о ней изумительная мисс Трэн. Она решила, что ей непременно нужно как-нибудь искупить свою вину, если только она хочет смотреть прямо в глаза своим новым друзьям.

Она остановилась у распутья трех дорог. С выбором приходилось спешить. Можно было продолжать прежний путь, делать то, что она раньше делала, быть частью громадной машины, которая силой вырывала у человечества из рук свободу, быть слепым орудием в руках тиранов, орудием, пока она в состоянии работать, пока ее не использовали и не выбросили вон. Она могла попасть в руки к какому-нибудь Гарри Клейну. Или же могла рискнуть всем ради свободы.

Нам было бы легче понять взгляд Иетты на жизнь, если бы мы тоже стояли на самом краю бездонной пропасти, если бы уяснили себе, как неожиданно уразумела Иетта, как узка та безопасная полоска земли, на которой мы можем удержаться, даже при соблюдении самой величайшей осторожности. Ей не думалось, что она рискует многим, рискуя всем, что у нее было.

Напротив, Мабель Трэн вступила в ряды борцов за социальную революцию, не будучи принуждена к этому. Она сама, как и вся ее семья, пользовалась всеми благами той системы ниспровержению которой отдавала теперь всю свою энергию. Ей было бы так легко уйти с головой в нарядную, опрятную жизнь, полную отрады, в жизнь, для которой она была рождена и воспитана. Почему бы и ей не принять условной лжи нашей цивилизации, как это делают ее мать, сестра, друзья? Она была одарена тем до странности ярко-выраженным интеллектом, который ее профессор называл мужским, и не могла не признать всей неправды жизни. Кроме того, она была одарена острым нравственным чутьем и невероятной гордостью. Она не могла бы допустить мысли о своем существовании в качестве „содержанки“ несправедливости.

К ее услугам были все те качества, которые, обычно, именуются „хорошими“, и Мабель добровольно выбрала суровую и мрачную жизнь, остановилась на карьере, которая является

весьма неблагодарной. Вместо того, чтобы участвовать на великосветских балах, она посещала балы „Объединенного союза отделывающих юбки“. Она променяла удобный роскошный особняк на скромную небольшую квартирку в несколько комнат. Тяжелее всего для нее было отношение к ней прежних добрых знакомых и старых друзей: вместо того, чтобы считать ее обыкновенной здравомыслящей молодой женщиной, все думали, что она просто чудит или что на нее нашла дурь.

Положение Иетты было, конечно, совершенно иным: менее героическим, но гораздо более трагичным. И с ее точки зрения оно было более жизненным, совершенно в той же степени, как больной зуб, который мучит и раздражает вас, мешает вам больше, чем зубная боль вашего ближнего. Жизнь, на которую она была обречена, казалась ей постыдной, а стыд этот ничем не искупался, за него ей платили только постепенным увяданием, пока она не стала бы совсем никому ненужной. Ее первое усилие выбраться из ненавистной ямы, куда она попала, привело ее к самому краю пропасти, грозившей ей позором, полной и несомненной гибелью. Из всех людей, с которыми ее столкнула судьба, три человека казались Иетте необыкновенно хорошими: отец, Лонгмэн и Мабель Трэн. Все они любили свободу. Раз уж глаза у Иетты открылись, она рада была отдать всю себя на служение новому делу. При таком ее душевном настроении крестовый поход, на который она решалась, казался ей не самопожертвованием, а избавлением. Непреодолимая сила толкала ее на возмущение—la force majeure бедности.

Она не задумывалась над тем, в какую форму выльется ее новая жизнь. Иетта не знала очень многих важных вещей. Но она пришла к определенному решению—найти мисс Трэн при первом удобном случае и записаться в союз.

Разрешив эту задачу, она почувствовала, что теперь сумеет разобраться точнее в своих отношениях к Гарри Клейну. Ей не легко было отрешиться от всех переживаний и сладких грез, в которые он вдохнул жизнь. Она была еще недостаточно осведомлена в таких вопросах. Она не видела с полной ясностью подробностей тех ужасов, от которых ей удалось спастись. Она

только знала, что Гарри ей лгал. Под покровом медовых речей он скрывал свое низкое намерение сделать ее „скверной“. Кое-какие слова, сказанные Лонгмэном на балу „отделывающих юбки“, вспомнились ей и, повидимому, были вполне приложимы к Гарри. Она так глупо мечтала о том, чтобы кто-нибудь освободил ее. Все это тщетная надежда. Если ей суждено бежать из темницы однообразия, то она должна подготовить все для бегства сама.

Гарри Клейн не ложился спать, пока его план не был окончательно разработан. У него был вполне благоприятный разговор с владельцем одного из низкопробных отелей, расположенного на том пути, по которому Иетта направилась домой, расставшись с миесис Вайнштейн. Комнаты наверху будут завтра свободны, а дамская гостиная очищена от посторонних свидетелей. Гарри приказал дюжине своих приверженцев быть в трактире напротив. По его сигналу, они должны были выбежать на улицу и открыть стрельбу из револьверов в воздух, делая вид, что происходит хулиганская стычка. Тогда толпа, спешащая по домам, с криком бросится врассыпную. Воспользовавшись суматохой, он втолкнет Иетту в темный подъезд.

Он не любил прибегать к таким „сильно-действующим“ средствам. Всегда гораздо безопаснее и в общем значительно легче одурачить девушку и заставить ее пойти на все добровольно. Но данный случай требовал применения решительных действий. Гарри еще раз тщательно обдумал план и не мог найти в нем никакого упущения.

— Дело в шляпе,—снова повторил он, укладываясь спать.

Джэк Гольдфогль совсем не спал в эту ночь. Он метался на кровати в своей неуютной меблированной комнате, которую рассчитывал так скоро переменить на квартирку в Харлеме, и делал попытки обдумать какой-нибудь выход из трудного положения. Его последние средства были истрачены на выкуп векселя, столь неожиданно предъявленного к платежу. Если у него в мастерской начнутся беспорядки, то очень мало надежды на то, что ему удастся выскочить. Сколько уж раз он бывал в различных переделках и всегда выходил сухим из воды. Но

на этот раз, повидимому, ему не выкарабкаться. Не прибегнуть ли теперь же к помощи Иетты? Или довериться счастливой звезде, подождать, не пронесется ли буря мимо? Всю ночь напролет он переходил от одного решения к другому. Наконец, он решил с удвоенным вниманием шпионить за работницами и при первом же признаке начинающегося волнения позвать Иетту в контору. Джэк не сомневался, что если он сделает девушке предложение, то она станет его союзницей.

На следующее утро Иетта отправилась на работу в прекраснейшем настроении духа, с сияющим новой решимостью лицом. Она не имела никакого понятия о том, что темные силы снова угрожают ей. Восторг ее не долго длился. Миссис Коген стала гораздо хуже: легкие у ней никуда не годились. Целое утро она отчаянно боролась с приступами кашля. Миссис Леви так часто приходилось видеть такие случаи еще раньше, что она не обращала на это никакого внимания. Но веселые глаза миссис Вайнштейн стали серьезными. А у Иетты каждый приступ кашля разрывал сердце. Ведь тут отчасти и она виновата! Во время полуденного перерыва она и миссис Вайнштейн приняли на свое попечение чахоточную женщину, старались уговорить ее поесть, предлагали ей лучшие куски своего не очень изысканного завтрака. Иетта убеждала больную пойти после перерыва домой и отдохнуть. Но этого нельзя было сделать. Гольдфогль „выставит“ ее, если она уйдет домой, а ей нужен заработок. Поэтому по окончании короткого перерыва женщины снова заняли свои места за столом. Едва прошло пять минут, как пароксизм кашля помешал миссис Коген работать, и работа стала скопляться около нее целой грудой. Иетта порвала нитку, и пока она возилась с исправлением, миссис Коген оправилась, Джэк, услышав, что машина остановилась, подошел к дверям, но, увидев, что нужно обругать за это Иетту, вернулся в контору, не промолвив ни слова. Через полчаса Иетта снова порвала нитку. Но миссис Коген не могли помочь такие кратковременные передышки. Незадолго до трех наступил кризис. Она бросила работу и положила голову на руки, страшно сотрясаясь всем телом от рыданий и кашля. Иетта, чувствуя, что

она помогает убивать эту женщину, остановила машину. Джэк бурей ворвался в мастерскую.

— Wos hat da passiert?—спросил он Иетту, нервничая и злясь.—У вас опять порвалась нитка?

— Нет,—поднялась Иетта с места,—я остановила машину.

— Остановила машину?—повторил он с изумлением.

— Да. Я остановила машину. Это срам. Миссис Коген больна и не может поспевать за нами.

Этого только и надо было Джэку. Он давно ждал, на ком бы сорвать свой гнев. Обежав вокруг стола, он грубо схватил миссис Коген за плечо.

— Вы больше не служите,—завопил он.—Я таки довольно с вами повозился. Вы здесь работаете хуже всех. А теперь из-за вас останавливается целый стол. Можете убираться вон!

— Нет, вы этого не сделаете, мистер Гольдфогль,—закричала Иетта, приходя в такое же возбуждение, как и сам Джэк.—Если вы ее рассчитаете, то вам придется рассчитать и меня. Слышите? Неужели у вас нет сердца? Она убивала себя, работая для вас. Вы обязаны позаботиться о ней теперь, когда она заболела!

— Что вы себе думаете?—взвыл он.—Где ж я по-вашему—в больнице или в мастерской?

— Если это бойня, Джэк Гольдфогль, то я не желаю тут работать.

Из-за шума и спора остановилась вся работа. Мастерская была как-то странно спокойна. И Джэк едва мог удержаться от слез, видя, что его надежды на успех, его любовные мечты рассыпаются впрах, ускользают перед самым его носом. Внезапно он обрел дар слова и повернулся к другим женщинам.

— Ну, чего вы остановились? За работу! За работу, а то я выгоню вас всех.

И подойдя вплотную к Иетте, он сказал:

— Вы пойдете со мной в контору. Я хочу поговорить с вами.

— Почему вы не хотите сказать здесь?—спросила она вызывающе.—Я не боюсь, что мои слова услышат. Вы должны обращаться с миссис Коген как следует, иначе я уйду от вас. Остальные девушки тоже уйдут, если у них хватит храбрости,

— Нет, нет, нет,—заговорил он, стараясь заставить ее замолчать.—Вы пойдете со мной, мисс Раевская.

Иетта была в нерешительности. Она думала, что он придет в ярость и начнет грозить ей, но его подобострастный тон сбил ее с толку. Как бы то ни было, это даст миссис Коген возможность немного перевести дух; поэтому девушка нехотя последовала за Джэком в темную, маленькую контору. Он тщательно притворил дверь.

— Мне нужно кое о чем переговорить с вами. Я... видите... Иетта вы будете хорошей девушкой и не станете делать в мастерской скандалов. Und, когда спешка закончится, Иетта... я, ну, да, Иетта, я таки влюблен в вас. Я женюсь на вас. Если вы будете хорошей девушкой и не будете скандальничать, Иетта, так я женюсь на вас!

Если бы он пригрозил ей, что убьет ее, то и тогда Иетта не была бы так поражена. Она буквально онемела. А Джэк, взволнованный, нервничающий, испуганный, влюбленный Джэк принял ее безгласное изумление за согласие. Он вообразил, что его необыкновенно заманчивое предложение совершенно ее ошеломило.

— Да, Иетта,—продолжал он захлебываться,—я люблю вас уже очень давно. Я хотел сказать вам, aber конец контракта уже sehr близко. Вы мне очень нужны в мастерской. Вы же у меня самая лучшая работница! Теперь осталось всего несколько недель, Иетта. Мы себе разбогатеем. Мы будем богачами! Я не интересуюсь, что у вас нет денег. Когда я впервые увидел вас, Иетта, так я таки сразу влюбился в вас.

Он схватил ее за руку и пытался поцеловать Иетту. Последовавшая за этим пощечина его ошеломила.

— Выходите в мастерскую, Джэк Гольдфогль!—закричала Иетта, распахивая дверь.—Повторите всем то, что сказали мне. Как вы думаете, что сказала мне эта свинья?—спросила она изумленных женщин.—Скажите им, Джэк Гольдфогль, а то я сама скажу! Он хочет, чтобы я вышла за него замуж, когда кончится спешка! Он так меня безумно любит, что хочет, чтобы

я продолжала на него работать, не жалея сил. Чтобы я понукала его рабов, пока не кончится спешка. Ах, свинья! Я скорее пойду шляться по улицам, Джэк Гольдфогль, чем выйду за хозяина потогонной мастерской.

Джэк никогда не отличался мягкостью характера: слишком его испортили бесконечные и отчаянные думы и заботы. Видеть как публично издеваются над его затаенной мечтой, было ему не под силу. Он лишился последней капли самообладания и обрушился на Иетту, осыпая ее градом несвязных, яростных выкриков и непристойностей. Ей показалось, что он ее ударит. Но сама она была вне себя от злости, чтобы испугаться.

— Ну-ка, троньте меня, скотина,—взвизгнула она, потрясая сама кулаками перед его носом.—Я больше не работаю у вас, Джэк Гольдфогль. Понимаете? Я больше не ваша рабыня. Я свободная женщина! Я заставлю арестовать вас, если вы меня ударите. И потом заткните свою грязную пасть!

Джэк испугался. Кулак его разжался.

— Видите, какой у нас хозяин, на которого мы работали,— обратилась Иетта к остальным женщинам.—Он не мужчина. Он просто свинья! Хочет жениться на мне, когда кончится спешка! Я ухожу от него, и вы тоже должны уйти.

— Молчать!—завопил Джэк.

— Не замолчу. Смотрите, что вы сделали с миссис Коген. Вы ее убили, а теперь хотите выбросить на улицу. Мы должны забастовать.

— Вы не смеете говорить о забастовке у меня в мастерской. Ах, вы...

— Смею. Мы должны забастовать. Вы знаете все, что за мерзость достается на нашу долю. Жалкие гроши и вечная скорость. Это оттого, что мы не вступаем в союз и не боремся. Мы обязаны забастовать, как забастовали „отделывающие юбки“.

— Полицию! Полицию!—взвыл Джэк, кидаясь к дверям.— Я велю вас арестовать, грязная, негодная девчонка...

— Ничуть не боюсь, что он заставит арестовать меня,— продолжала более спокойно Иетта после его ухода.—Если бы он обращался с нами прилично, то ему не пришлось бы взы-

вать к полиции, когда кто-нибудь говорит „забастовка“. Я не боюсь тюрьмы. Я боюсь оставаться здесь, чтобы работать попрежнему и докашляться до смерти. Я ухожу отсюда, и вы тоже обязаны уйти.

— Ты с ума сошла. Ты заводишь смуту!—с убеждением сказала тучная миссис Леви.

— Нет. Неправда!—заговорила миссис Вайнштейн.—Я уверена, что мой муж тоже состоит в каком-нибудь союзе. Он говорил мне сотни раз, что у нас, рабочего люда, нет никакого иного выхода. Это боссы заводят всегда смуту, обирая нас. Я тоже забастую, если и другие присоединятся.

— Я бастую во всяком случае,—сказала Иетта.—Я ни за что не буду работать у такой свиньи, которая предлагает мне выйти замуж, когда кончится спешка.

— Я буду бастовать с тобой, Иетта,—сказала девушка, которая была на балу.—Моя сестра отделывает юбки. Но забастовка ни к чему, если только не все забастуют.

— Я тоже забастую,—присоединился еще чей-то голос...

— Отлично, — сказала миссис Вайнштейн,—мы все забастуем.

— Это глупо, — запротестовала миссис Леви, протирая изъеденные трахомой глаза.

Но возбуждение овладело всеми женщинами, и когда Джэк вернулся, без шляпы, едва переводя дух, в сопровождении флегматичного ирландца-полисмэна, то встретил всех своих работниц, спускавшихся с лестницы. Несмотря на его отчаянные требования, полицейский отказался арестовать женщин, даже не захотел арестовать Иетту.

— Я запишу ваш номер. Я пожалуюсь на вас, если вы ее не арестуете. Она заводит тут смуту.

— О! Ну, ступай, негодная жидовка! Я тебя смажу, если ты заговоришь снова при мне. А вы, женщины, проходите. Не собирайтесь около нее и не поднимайте шума, а то я сведу вас, куда следует.

Но на ближайшем углу группа женщин остановилась. Куда им итти? Что им теперь делать?

— Никто не смеет возвращаться на работу, — сказала Иетта,—если только он не примет и миссис Коген, когда она отдохнет.

— Я никогда уж не отдохну,—сказала больная.

— О, нет, вы, конечно, поправитесь,—поспешила сказать миссис Вайнштейн. Но все поняли, что она говорит неправду.

Девушка, у которой сестра была „отделывающей юбки“ и которая знала все решительно относительно забастовок, записала фамилии и адреса двенадцати женщин. Миссис Вайнштейн обещала присматривать за миссис Коген. А Иетта направилась в город в бюро Лиги Женского Рабочего Союза. И в течение всего долгого пути в душе у нее звучала радостная осанна. Она уже больше не „спидер“. Ей можно теперь смело смотреть в лицо свободным людям.

ГЛАВА X.

Л. Ж. Р. С.

Было уже около пяти часов дня, когда Иетта дошла до дома с фасадом из бурого камня, где помещалось бюро Лиги Женского Рабочего Союза. Когда-то здесь была чья-то пышная резиденция. Но деловой центр все расширяется к северу по острову Манхэттэну и вытесняет особняки. Дом казался карликом среди соседних современных зданий в двенадцать-восемнадцать этажей.

Войдя в комнату, служившую раньше „приемной“, Иетта оказалась в довольно пустой, весьма деловой по виду конторе. Две стенографистки прилежно настукивали на машинках. Около большого конторского бюро с опускающейся верхней крышкой стояло пустое кресло.

— Алло!—приветствовала Иетту одна из барышен, едва подняв голову от бумаг.—Что вы желаете?

— Мне нужно видеть мисс Трэн.

— Присядьте. Вам придется подождать. Заседание совета.

Она мотнула головой в сторону, указывая на двустворчатую дверь, которая в более аристократические дни вела в столовую. Таков был сердечный прием, оказанный Иетте. Разумеется, обе барышни были „организованы“. Мисс Трэн убедила их образовать союз. Одна из них председательствовала, другая была секретарем. Кроме них было еще шесть членов. Они это сделали, чтобы доставить Мабель удовольствие, как вообще сделали бы все, что угодно, ради ее удовольствия. Во всяком случае, они чувствовали себя на значительно более высокой ступени социальной лестницы, чем простые девушки-приказчицы.

Иетта села в большом огорчении. Она не предполагала, что ей придется ждать. Ей трудно было оценить всю невероятную важность заседания совета. Собственно говоря, она совершенно не знала, что это такое. И она не могла представить себе, что есть на свете что-нибудь более важное, чем забастовка у них в мастерской. Спустя несколько минут нетерпение взяло верх над робостью.

— Слушайте,—сказала она, поднимаясь с места и подходя к барышне, которая раньше с ней говорила,—передайте мисс Трэн, что я здесь. У меня важное дело... по поводу забастовки.

— Гм!—фыркнула стенографистка,—вы отделываете юбки?

— Нет. Не отделываю. Мы работаем жилеты. Это новая забастовка. Мисс Трэн хотелось узнать обо всем сейчас же.

— Как ты думаешь?—спросила стенографистка у подруги.—Можно помешать заседанию совета? А, как по-твоему?

Обе барышни подвергли Иетту строжайшему перекрестному допросу, но, в конце концов, уступили ее настоянию. Одна из них постучала в двустворчатую дверь. Дверь приоткрылась изнутри вершка на два, и из комнаты выглянула Мабель.

— Мы забастовали,—возбужденно воскликнула Иетта, бросаясь к ней.

Мабель повернулась к бывшим в зале заседаний и попросила извинить ее на минутку.

— Я сейчас страшно занята,—сказала она, садясь рядом с Иеттой.—Расскажите мне скорее, в чем дело.

Промышленный конфликт не логичен. Во всяком случае, он не происходит по каким-нибудь законам логики, известным так называемым „лидерам рабочего движения“. Он связан, он развивается в силу какого-то неясного „нечто“, которое мы называем за отсутствием более подходящего термина „человеческой натурой“. И лидеры рабочего движения так же, как и все мы простые смертные, не имеют ни малейшего представления о том, в чем выразится в ближайшем будущем эта „человеческая натура“. Они могут терпеливо тратить целые годы для того, чтобы сорганизовать рабочих в какой-нибудь области промышленности, собирать по крохам „забастовочный фонд“, готовиться к сражению, которого никогда не произойдет или которое закончится весьма плачевно. И вот во время таких неудач вдруг вспыхивает какая-нибудь неподготовленная забастовка в какой-нибудь несорганизованной области промышленности и без малейшей надежды на успех приводит к блестящей победе. Такие изумительные случаи Мабель приходилось видеть сотни раз.

После непродолжительной беседы с Иеттой на балу она неоднократно раздумывала о возможности сорганизовать работниц, шьющих жилеты. Но мысль эта, повидимому, не сулила особенно большой надежды на успех. Забастовка отделывающих юбки провалилась. Она уже поняла это, наблюдая за пульсом забастовочного движения, хотя сами забастовщицы еще не убедились, что все пропало. И вот снова вспыхивает новая забастовка, как раз в тот момент, когда прежняя затихает. Правда, может быть, потом произойдет осечка, может быть, это просто какое-нибудь местное столкновение в одной мастерской. Но она может разрастись. Мабель внимательно слушала Иетту.

Глазам ее было тоже не мало дела. Она заметила какую-то особенную прелесть в молодой девушке, обратила внимание на большие глубокие глаза, в которых происходила внезапная перемена, быстрые переходы от волнений надежды к печальной меланхолии, на щеки, вспыхивавшие румянцем пламенного энтузиазма новообращенной.

Мабель подумала о группе обеспеченных дам, собравшихся в соседней комнате. Весьма многие из них пользовались с ее

стороны не очень большим уважением, а некоторых она и вовсе не уважала. Было бы весьма затруднительно анализировать причины, которые побудили этих „дам“ заинтересоваться делами работниц. У немногих из них были те же самые мотивы—пожалуй, не менее основательные,—которые заставили Мабель посвятить свою жизнь такой работе. Другим нравилось, что их считают чудачками, и они находили известную пикантность в рабочих союзах. Две дамы были суфражистками и серьезно интересовались всеми женскими организациями. Встречались и такие, которым щекотали извращенные чувства, рассказы об отчаянной нужде, передававшиеся в Лиге.

Вероятно, все они были несколько заинтересованы в своем избрании в состав совета, благодаря тому, что членом совета была также миссис ван-Клив—она могла привлечь их к какой-нибудь совместной работе.

Для Мабель миссис ван-Клив была тайной. Она была очень толста, страшно богата и задавала тон в тесном кружке представительниц „самого высшего общества“. Она регулярно посещала собрания и, повидимому, никогда ничем не интересовалась, хотя бы в самой малейшей степени. Каждое первое января она посылала по почте чек на десять долларов. Мабель никогда не удавалось получить от нее ни копейки больше. Но ее социальный престиж имел бесспорную цену, иначе для Лиги она безусловно представляла бы мертвый груз.

Единственно, кто действительно помогал Мабель из всех этих дам — это миссис Карнер, жена миллионера, владельца газеты. Она была образованной женщиной и исполняла ответственную работу по многим вопросам.

С ними было очень тяжело работать. Искренно преданные были заняты разными другими делами. Трудно было зажечь в них какой-нибудь энтузиазм. Но Лига не могла существовать без их финансовой поддержки. А теперь, когда забастовка отделывающих юбки кончалась разгромом, как она сможет поддержать в сочленах интерес к делу, как она сможет убедить их продолжать попрежнему открывать свои чековые книжки? Сияющее личико Иетты внушило Мабель удачную мысль.

— Подождите минутку,—прервала она девушку на средине фразы.—Здесь еще есть другие, кому следует послушать об этом. Пойдемте со мной.

Она провела Иетту через двустворчатую дверь в комитетскую комнату—одно из художественных произведений Элеоноры Мид. Комната была расположена в задней половине дома. Вдоль стен лежали груды дешевых складных стульев. Если бы разобрать эту кучу, то их оказалось бы штук двести. В глубине у окна помещался большой стол и десять кресел, в которых удобно восседали члены совета. Над столом висела большая фотография, меццо-тинто, руанской статуи Жанны д'Арк. Комната, вся в коричневых тонах, гармонировала с фотографией и с полдюжиной таких же портретов знаменитых женщин.

— Милостивые государыни,—сказала Мабель,—это Иетта Раевская. Она сейчас только что пришла сообщить мне о новой забастовке у них в предприятии—они шьют жилеты. Мы закончили сегодняшнюю работу. И если вы располагаете несколькими минутами, то, я уверена, вас заинтересует ее рассказ. Начните с самого начала, Иетта,—продолжала она, когда дамы выразили свое согласие,—и расскажите нам всё об этом.

Иетта была невероятно смущена. Она никогда не видела таких прекрасных нарядов и такого обилия драгоценностей. Никто ни разу в жизни не рассматривал ее в лорнет так дерзко, как это делала миссис ван-Клив.

— Здесь все друзья, Иетта,—подбодрила ее Мабель.—И если забастовка должна пройти с успехом, то нам нужна будет вся помощь, на которую мы можем рассчитывать.

Такое замечание вдохнуло в Иетту энергию, и она начала. Масса книг, которые она, еще ребенком, прочла отцу, ознакомила ее с правильным английским языком. Но за последние четыре года она перешла на смесь еврейского жаргона с испорченным английским языком, как говорят в мелких мастерских. Теперь она чувствовала, что ей нужно выражаться правильно, но старание подыскивать нужные слова производило дурное впечатление и портило весь рассказ. Казалось, что Иетта говорила с большим самомнением. Мабель уже начинала раскаиваться,

что привела ее сюда, но вдруг, как-то совершенно неожиданно все возбуждение последних нескольких дней снова овладело Иеттой, и она точно опьянела, как в тот вечер перед балом, когда вино ударило ей в голову. Она начала говорить просто, прямо от сердца. Речь вовсе не шла о промышленном конфликте с экономической точки зрения. Это не был и связный рассказ о забастовке в мастерской. Скорее это была личная история Иетты. Она отошла от главной темы и рассказала слушательницам о своем отце и книжной лавочке. Она рассказала о Рахили и миссис Коген, о Джэке Гольдфогле и об его предложении выйти за него замуж. Иногда Мабель задавала ей какой-нибудь вопрос об условиях труда у них в мастерской. Господи, боже мой, конечно, условия довольно скверные, но для Иетты все это казалось деталями, не имеющими никакого значения: она хотела указать, к каким ужасным результатам приводит бедность. Долгие часы работы и плохое питание казались ей пустяками по сравнению с жалким, беспросветным убожеством жизни работниц. Разумеется, они голодают, но гораздо ужаснее тот факт, что они изнывают без солнечного света. Несколько раз она снова возвращалась к Рахили и рассказывала о том, как та „хотела быть хорошей". Внезапно она остановилась и повернулась к Мабель.

— Нужно ли рассказывать о Гарри Клейне?

Все общество дам, привыкших к комфорту, светских дам тоже повернулось к Мабель, напряженно ожидая ее ответа. Все они затаили дыхание, поддавшись обаянию безыскусственного красноречия Иетты. Мабель питала к некоторым отвращение. Ей казалось почти святотатством допустить, чтобы эта бесхитростная девушка обнажала перед ними свою душу. Но она увидела, что Иетта растрогала их гораздо сильнее, чем это когда-либо удавалось ей.

— Ведь это не имеет никакого отношения к забастовке,— сказала она после легкого колебания.—Об этом не нужно рассказывать, если вам не хочется.

— Пожалуйста, расскажите.

Это произнесла миссис Карнер. Иетта почувствовала, что из всех собравшихся здесь нарядных дам, эта дама относится к ней лучше всех. Встречаясь с ней взглядом, она находила поддержку в ее взоре. И вот, забрав в легкие побольше воздуха, она бросилась с головой в воду.

— Видите ли, это было чистое счастье—не случись такого счастья, я тоже стала бы скверной, ну, как Рахиль.

Она начала с той ночи, когда смотрела из окна на танцы в Доме Соседства. С изумительной искренностью и с необычайным самозабвением она заставила всех слушательниц почувствовать, как жаждало ее сердце хоть крупинки счастья, как страшно изнывала ее душа, как простирала она с мольбою руки, цепляясь за радостную мечту, хотя и безумно хотела быть хорошей. Она заставила всех понять, как мертвенная пустота мастерской помогла ей поверить в Гарри Клейна, как он предстал перед ней, напевая ей Песнь Песней—словно принц в блистающих латах, появившийся, чтобы спасти ее от жадного великана. Даже толстая миссис ван-Клив заплакала, роняя слезы на лорнет, когда Иетта стала рассказывать о своем первом ужине с Гарри.

— Вы знаете,—закончила она,—вот главным образом из-за этого-то мы, девушки, и устраиваем забастовки. Нам кажется, что мы боремся ради большего заработка или сокращения рабочего дня, но ведь на самом-то деле каждой бедной девушке так хочется хоть немножко быть счастливой.

Миссис Карнер вскочила с кресла, обняла Иетту и стала с плачем покрывать поцелуями ее лицо.

— Mesdames,—решила Мабель ковать железо, пока оно горячо,—будем мы поддерживать эту забастовку? Не попытаться ли нам организовать работниц жилетных мастерских?

Предложение формально не голосовалось, но миссис Карнер, председательница совета, предложила секретарю занести в протокол единодушное постановление об оказании помощи работницам жилетных мастерских. Миссис ван-Клив одобрительно кивнула головой и сама вызвалась быть председательницей финансовой подкомиссии. С ней случилось впервые, что она принимала хоть какое-нибудь участие в общей работе. Обыкновенно

она только восседала невозмутимо в своем кресле. Затем заседание было закрыто, и когда последняя из дам покинула комнату, Мабель крепко обняла Иетту.

— Дорогая моя,—сказала она,—вы заставили плакать даже миссис ван-Клив. Это прямо удивительно.

Тут Иетта сама разразилась рыданиями совершенно безо всякой причины. Мабель усадила ее в одно из кресел и уселась сама у ее ног.

— Теперь,—сказала она,—вы можете плакать, сколько угодно. После такой речи вы имеете право плакать хоть целую неделю.

Положив голову на колени к Иетте и взяв ее за руку, Мабель зажгла папироску и стала думать над планом новой кампании. Скоро Иетта выплакалась, и они начали беседовать. Знакомство Мабель со всеми мелочами, ее неожиданное для Иетты знание всех тонкостей работы в жилетных мастерских удивили Иетту. Мабель были известны такие подробности ремесла, о которых ей самой даже и не снилось.

Были позваны обе стенографистки. Одной Мабель поручила взять том фабричных отчетов и составить список всех жилетных мастерских. А другую попросила вызвать редакцию „Vorwärts"— социалистической газеты, издававшейся на жаргоне.

— Какой ваш адрес?—спросила она Иетту.—Я хочу попросить мистера Брауна зайти к вам сегодня вечером и написать о забастовке.

Вопрос напомнил Иетте о новом осложнении.

— Я забыла,—сказала она.—Мне нельзя итти домой. Мой дядя терпеть не может разные союзы. У меня сейчас нет квартиры. Нужно будет найти какую-нибудь комнату.

— Тогда прекрасно. Вы пойдете сегодня ко мне,—поспешила успокоить ее Мабель. И, обратившись к стенографистке, она попросила ее передать мистеру Брауну, чтобы он пришел к ней обедать. Затем она продиктовала с полдюжины писем разным лицам, сообщая им о своих новых планах и прося их притти на другой день в помещение Лиги. Было уже около семи часов, когда она с Иеттой и обеими стенографистками покинула бюро.

Весь этот последний час Гарри Клейн простоял с нетерпением в темном подъезде, поджидая, когда мимо него пройдет Иетта. Когда, наконец, последние волны отлива пронеслись мимо него, он перешел через улицу и сказал своим приверженцам, что они ему не нужны. Еще два вечера он размещал их по постам, но Иетта больше не проходила этой дорогой.

Счастье ему изменило. И сторонники Гарри скоро это заметили. Когда пришла пора, то в Демократическом клубе Джемса О'Рурка был избран новый председатель. И таким образом Гарри Клейн исчезает со страниц нашего рассказа.

ГЛАВА XI.

У Мабель.

Войдя в квартиру Мабель, Иетта подумала, не попала ли она в сказочную страну, хотя у нее не было ясного представления о том, какой должна быть эта страна.

Ей и во сне не снились такие великолепные комнаты. Даже более искушенный наблюдатель был бы поражен произведениями искусства мисс Мид. Внутренняя отделка комнат была ее специальностью, и Элеонора больше гордилась своими работами в этой скромной квартире, чем всеми другими, которые были ею сделаны в разных местах. Большая часть выполненных ею заказов предназначалась для безумно богатых людей, которые скорее заботились о том, чтобы отделка их покоев обошлась очень дорого, чем о том, чтобы они были действителино красивы. Здесь же не было ничего дешевого, потому что все имело громадную художественную ценность. Элеонора не говорила ни о чем с таким большим удовольствием, как о том, какие пустяки все это стоит. Она могла целыми часами разглагольствовать об абсолютном отсутствии сродства между чистыми эстетами и деньгами. Одна из ее лекций была посвящена этой теме, и она обычно в виде примера указывала на свою квартиру. Но Иетте квартира в сорок долларов показалась чудом роскоши.

Наибольшее впечатление своей внешностью, говорившей о богатстве, произвела на нее ванная комната, выложенная белыми изразцами и украшенная громадными зеркалами.

Сама Элеонора показалась ей неземным созданием. Иетта встречала очень мало женщин с действительно белокурыми волосами, да и те, кого она видела, не умели причесываться. В детстве она видела книгу, и там была такая картинка, как Элеонора, но девушка не могла себе представить, чтобы такие женщины ходили по земле. А ее платье! Бедной жительнице Восточной Стороны оно показалось достойным королевы. Иетта не могла понять, отчего оно так блестит, и решила, что платье соткано, должно быть, из золотой пряжи. Но оно вовсе не стоило так дорого, как показалось Иетте. Единственная экстравагантность, которую позволяла себе Элеонора в своих поисках красоты—это покупка ранних нарциссов.

Мабель принесла одну из своих блузочек и заставила Иетту переодеться. Пока она сама переменяла свою будничную одежду на свежий наряд—на взгляд Иетты едва ли менее великолепный, чем у Элеоноры — горничная доложила о приходе Исидора Брауна.

Он был продуктом движения, направленного к изменению существующего социального строя. Еще мальчиком Браун безумно стремился к знанию. Дома царила страшная бедность, и ему пришлось итти работать, но он продолжал учиться, посещая вечерние классы на курсах для взрослых. На раннее развитие мальчика было обращено внимание, и кто-то из университетских преподавателей, читавших лекции на курсах, пораженный пламенным желанием Исидора учиться, помог его семье улучшить свое финансовое положение, и мальчик мог снова поступить в училище. Ему все время помогали, пока он был в высшей школе, а затем в нью-иоркском колледже.

Во время пребывания на втором курсе университета Исидор вступил в партию социалистов. Это решение было связано для него с глубоким и бурным душевным потрясением. Он знал, что оно будет крайне неприятно его покровителям и отдалит его от них. Осмотрительность, целесообразность, простое благо-

разумие заставляли его повременить с решением—по крайней мере до окончания университета. Но видение новой жизни ослепляло его невыносимым блеском. Ждать он не мог.

Новые политические убеждения вырыли пропасть между ним и его друзьями, помогавшими ему бороться с жизнью. С другой стороны у него появилась масса новых друзей, которые если и были победнее, то во всяком случае были истинными друзьями. Ему пришлось выйти из университета. Но к этому моменту в нем уже проявился выдающийся талант к занятию такого рода журналистикой, которая ценится Восточной Стороной. Он стал писать в газетах, менее падких на сенсации, но гораздо более серьезных, чем большая часть газет, выходящих на английском языке. Браун обосновался в „Vorwärts", где исписывал целые столбцы по вопросам историческим и научным и помещал заметки о драме, получая за свой труд такие крохи, которых ему едва хватало на жизнь. Газета выходила среди дня, поэтому вечера у него оставались свободными для занятий. Он записался на вечерние лекции в нью-иоркском училище правоведения. Началась отчаянная борьба, которой он не выдержал бы, если бы не его способность к упорной, настойчивой работе и не одно из тех чудесных свойств характера—как и у Иетты—которые, повидимому, специально унаследованы их расой — физическая и нравственная выносливость, объясняющаяся, должно быть, многовековым соблюдением строжайших диэтических предписаний Моисея.

Наружность его не была привлекательна, черты лица грубоваты и несколько топорны. Он был небольшого роста, но коренастого телосложения и сутулился от постоянной работы за письменным столом. Правое плечо было заметно выше левого.

И склад ума его не отличался привлекательностью. Браун был слишком большим утилитаристом, чтобы допускать какие бы то ни было уступки. Ему было двадцать пять лет, и с первых дней своего увлечения, когда он стал социалистом, он подчинил себя железному закону. Он не давал себе ни минуты отдыха, читал и сознательно делал на протяжении этих пяти лет только то, что казалось на его взгляд полезным. С той же самой беспощад-

ной прямолинейностью, которой отличалось стремление Джэка Гольдфогля разбогатеть, Исидор Браун уходил с головой в приобретение способностей, которые могли сделать из него более могущественное орудие в борьбе за социализм.

Он продолжал свои занятия в училище правоведения. Он с невероятной настойчивостью пришпоривал себя, напрягая все свои усилия, не потому, что ему хотелось получить доступ в Высший суд, но потому, что он видел, как остра потребность рабочих в компетентных законных представителях их интересов в судебных учреждениях, представителей, которые относились бы с симпатией к рабочему люду. Браун верил, что социалисты составляют наиболее просвещенный элемент в великой армии промышленной революции. Он утверждал, что социалисты должны быть как бы „генеральным штабом", направляющим деятельность рабочих союзов, помогающим им советами, а союзы должны быть нижними чинами армии. Он добивался попасть в сословие адвокатов только для того, чтобы стать юрисконсультом союзов Если бы ему предложили громадный гонорар, чтобы он принял на себя хлопоты по утверждению духовного завещания или заключению делового контракта, то он пришел бы в крайнее изумление и наверное отказался бы под тем предлогом, что у него нет времени. Он добровольно предложил свои услуги Лиге Женского Рабочего Союза в качестве законного поверенного.

Браун все еще извлекал свои скудные средства к жизни из „Vorwärts", но писал уже значительно реже по общим вопросам и специализировался по рабочему вопросу. Он продолжал работать в газете не только потому, что это занятие приносило ему небольшой доход, но скорее потому, что оно обеспечивало ему широкую аудиторию. Его имя было известно в городе почти каждому рабочему, говорившему на еврейском жаргоне. Говорил он сжато, но сильно, и в настоящее время, когда больше не посещал уже вечерних лекций, выступал по вечерам четыре-пять раз в неделю на эстраде, проповедуя социализм.

Такой образ жизни повел к неизбежному и нездоровому результату. Целые годы он так интенсивно занимался мелочами, что у него не хватало времени на широкий размах мысли, на

критику и дальнейшее развитие основных положений своей веры. В двадцать лет он увлекся философией социализма; с тех пор у него не было времени, чтобы продумать ее. Он очень быстро превратился в фанатика с узким кругозором. Это странный, но обычный парадокс. Проведя пять лет в борьбе за социализм, он не приобрел более последовательного, более зрелого мировоззрения, чем четыре года тому назад. Все его единомышленники разделяли те же самые убеждения, но обсуждали только их применение на практике в мелких деталях. Подобно Брауну они были—за весьма немногими исключениями—скорее рабами, чем властелинами Великой Идеи.

Из несоциалистов он дружил только с Мабель Трэн и Вальтером Лонгмэном. Когда он впервые начал работать в Лиге Женского Рабочего Союза, то относился с полным презрением к „буржуазным реформаторам". Постепенно Мабель заставила его отказаться от враждебного чувства, и в конце концов он стал питать к ней глубокое уважение. Понять ее он не мог. Но в то же самое время он и не мог удержаться от восхищения перед целостностью ее стремлений, перед той упорной настойчивостью, с которой она шла к раз намеченной цели, выбрав себе карьеру, весьма далекую от приятностей и удовольствий, перед ее выдающимися способностями и светлым, острым умом. Он не знал ни одной женщины, которая была бы так непреклонна, как Мабель. Но почему? Что ее заставляет быть такой? Она не была социалисткой. Между прочим, она как-то объяснила это тем, что у ней хватает времени только на рабочие союзы. Браун мог понять преданность великому философскому принципу, но не был в состоянии открыть какую-нибудь стройную систему в мировоззрении Мабель, уяснить себе, какой задней мыслью объясняется несомненная преданность мисс Трэн своей руководящей идее.

Он часто бывал у Мабель. Но ему никогда в жизни не приходилось бывать у нее с официальным визитом. С Элеонорой у него не было ничего общего, он мало обращал на нее внимания, и она в свою очередь платила ему той же монетой. Правда, он старался из вежливости делать вид, что интересуется

„внутренним декоративным убранством“, но Элеонора даже не пыталась скрыть, что ей решительно нет никакого дела до социализма. И Брауну становилось как-то не по себе, даже с Мабель, если заканчивался деловой разговор, который заставлял его притти к ней. На почве общей работы по организации трудящихся или по проведению забастовок они поддерживали друг с другом восхитительно откровенные и свободные дружеские отношения. Но во всех других случаях жизни он чувствовал себя как-то принужденно. Он никогда не вступал с Мабель в спор о социализме, что было очень странно, так как Исидор являлся ревностным прозелитом этого учения. Оставив в стороне ее случайное замечание, что у нее совершенно нет времени, чтобы заниматься партийными делами, он чувствовал, что у нее есть еще какая-то точка зрения, совершенно иная, чем его собственная. В действительности он боялся затрагивать в ее присутствии эту тему; он опасался ее блестящего красноречия и колкого, обидного тона, с которым она приводила свои доводы. Браун отвык от споров о более глубоких принципах социализма; вступив в словесное состязание с Мабель, он был бы выбит из привычной колеи. Он твердил себе, что ведь она женщина, и если бы ей удалось взять верх над ним в споре, то она подумала бы без сомнения, что ею сокрушен социализм.

Через Мабель он познакомился с Лонгмэном, и если она не укладывалась в рамки его жизненных теорий, то Вальтер составлял еще более резкое исключение. Его непринужденное, пожалуй, несколько ленивое, блестящее остроумие всегда поражало и сердило Исидора. Вот необыкновенно способный человек, который ясно сознает, насколько прогнил весь существующий строй, но в то же время питает весьма слабый интерес к переустройству мира на справедливых началах. Какая сила в нем пропадает! А он вместо того тратит время на самую мертвую эпоху из всех давным-давно минувших времен и совершенно непоследовательно занимается какими-то пустяками— „балуясь“, как говорил Исидор, философией. Браун не мог без гнева думать об образе жизни Лонгмэна; это такая подлая трата энергии. Ему следовало бы относиться к Вальтеру с презре-

нием, но он не в силах был не полюбить его. Не будучи связан с Лонгмэном общей работой, как с Мабель, он гораздо чаще оказывался у него в комнате, чем в квартире мисс Трэн.

Иетте, немного ошеломленной ослепительным нарядом хозяек, доставила большое облегчение несколько небрежная внешность Исидора. Его черные, курчавые, жесткие волосы имели такой вид, словно он не приглаживал их по крайней мере недели две. Безукоризненное столовое белье, раззолоченные абажуры настольных ламп, невероятное количество вилок и ложек, горничная-француженка в белом передничке—от всего этого у Иетты кружилась голова. Она положительно чувствовала себя лучше, бросая иной раз взгляд на знакомое лицо жителя Восточной Стороны, сидящего через стол от нее.

Элеонора скоро умолкла, произнеся со своего председательского места несколько официальных вежливых фраз, и Мабель стала рассказывать Исидору о новой забастовке. Иногда они обращались к Иетте с вопросом. Когда со стола было убрано и горничная подала кофе—черный кофе в малюсеньких, малюсеньких чашечках, Элеонора удалилась в гостиную и, взяв книгу, приняла художественную позу около лампы с зеленым абажуром. А Исидор, вынув несколько листков для заметок, принялся выводить каракули для статьи, которая должна была назавтра поведать Восточной Стороне, что в мастерских, где шьют жилеты, вспыхнуло гигантское, быстро захватывающее все новые и новые области и несомненно победоносное возмущение. Иетта попробовала запротестовать, указывая, что забастовала всего только одна ее мастерская—двенадцать женщин. Но они, смеясь, оставили без внимания ее возражение. Ведь нужно, чтобы статья произвела как можно больше впечатления, быть может, потом забастовка и разрастется. Затем они принялись составлять список требований, с которыми забастовщицы должны обратиться к предпринимателям. Прежде всего шло требование о „признании Союза", а затем длинный перечень реформ в мастерской. Для непосвященных понятна была только одна реформа, касающаяся более высоких размеров поштучной платы, остальные касались таких технических вопросов, как регулирование скорости,

вентиляция и т. д. Иетта хотела, чтобы они включили в условия требование принять обратно на работу миссис Коген. Но Мабель объяснила ей, что требования останутся только на бумаге, если к забастовке не присоединятся другие мастерские, поэтому нельзя упоминать о том, что имеет отношение только к одной мастерской.

— Но мне кажется, — настаивала Иетта, — что такие миссис Коген есть в каждой мастерской.

Они стали доказывать ей, что союзы не имеют возможности брать на себя попытку исправить зло, причиняемое отдельным личностям, они могут только питать надежду добиться таких условий, которые сделают невозможным появление миссис Коген. Иетта уступила, хотя ее и не убедили. Исидор помчался на митинг.

Элеонора, не поднимая глаз от книги, небрежно пожелала ему всего хорошего, а Мабель пошла проводить его до прихожей. Иетта сразу почувствовала себя одинокой. Элеонора продолжала читать, игнорируя ее присутствие, а Мабель замешкалась у двери, беседуя с Исидором.

Когда Мабель вернулась в гостиную, Элеонора оторвалась от книги и капризно сказала по-французски:

— Мне кажется, вы могли бы, по крайней мере, сказать, что вам жаль испорченного вечера.

— Он еще не испорчен,—отвечала Мабель.—Он только начинает портиться.

— Не испорчен для вас, это может быть. Вы никогда не думаете обо мне. Вы торжественно обещали, что будете свободны сегодня вечером, и мы займемся немного музыкой. А между прочим, в шесть часов ваша стенографистка зовет меня к телефону и говорит, что у нас будут обедать посторонние. Вы не могли даже найти свободную минутку, чтобы самим телефонировать мне.

— Нелль, не ворчите. Если вы слышали наш разговор, то должны были видеть, как важно...

— Ну, конечно, для вас все важнее меня!

— Наша музыка от нас не уйдет. Я отошлю малютку спать.

И затем, перейдя на английский язык, Мабель сказала Иетте, что она, должно быть, страшно устала после такого волнения,

что впереди еще предстоит тяжелый день и что не лучше ли ей принять ванну погорячее, чтобы крепче уснуть, и сразу же ложиться в кровать. Иетта не понимала по французски, но по тону Элеоноры догадалась, что значит „de trop“. Ей очень хотелось остаться еще и побеседовать с мисс Трэн, но она послушно последовала за ней, с болью в сердце, в спальную, подождала, пока Мабель доставала ей ночную рубашку и купальный халат, и так же послушно пошла вслед за ней в ослепительную ванную комнату.

— Сделайте себе ванну погорячее, как рука терпит, а потом прыгайте в кровать,—сказала Мабель, целуя ее на прощанье.

Иетта еще не успела принять ванну, как до слуха ее стали доноситься звуки музыки. А надев ночную рубашку и закутавшись в купальный халат—никогда еще ее кожи не касалась такая мягкая материя—она бесшумно отворила дверь и на минуту остановилась, незамеченная в коридоре. Мабель сидела в зале за пианино, а Элеонора стояла около нее, закрыв глаза и нежно прижимая подбородком скрипку и тихо раскачивалась в такт музыке. Они играли один из ноктюрнов Шопэна. Иетта не знала, что такое ноктюрн; самая хорошая музыка, которую ей приходилось когда-либо слышать, исполнялась дешевенькими оркестрами в Доме Соседства и на балу у отделывающих юбки. Ни Элеонора, ни Мабель не были блестящими музыкантшами; их игра для большинства из нас показалась бы совершенно обыкновенной, но для девушки в купальном халатике эта музыка казалась восхитительной, не поддающейся описанию, самой чудесной вещью в том волшебном незнакомом мире, куда она так неожиданно попала.

Она послушала немного, а потом прошла на цыпочках по коридору в свою комнату, тихонько закрыла окно, которое Мабель заботливо открыла, оставила дверь широко отворенной и юркнула в кровать с мягкими белоснежными простынями. Иетта была очень утомлена, горячая ванна успокоила ее нервы, и она заснула, когда подруги начали играть третью пьесу, что то из Грига. Иетта помнила, что, засыпая, она задавала себе мечтательно и жадно вопрос, выпадет ли на ее долю когда-

нибудь такая чудесная жизнь, примет ли она в ней какое-нибудь участие.

Музыка продолжалась больше часа. Те, кто удивлялись, почему живут вместе такие две различные натуры, никогда не видали их за игрой. Ни одна из них не считала себя такой выдающейся музыкантшей, чтобы выступать публично, но обе они страстно любили играть. Смешное ломанье Элеоноры, ее позы, капризная ревность очень часто действовали Мабель на нервы. Иной раз ей приходила в голову мысль прекратить их совместную жизнь. Но были такие бесценные мгновенья, когда все различие их характеров стушевывалось, и они наслаждались редкой и совершенной гармонией. Иногда Мабель освобождалась от бесчисленных приглашений, и они шли вдвоем в оперу или на концерт. Общность переживаемых ощущений чувствовалась еще сильнее в тех гораздо более частых случаях, когда они играли вместе, как в этот вечер. Такие минуты более чем искупали те трения, которые происходили между ними днем. Для ревнивой Элеоноры эти мгновенья значили, что Мабель освободилась от всех своих дум и забот, и что ни единой, ни единой обязанности, которая только может притти в голову, не стоит между ними, что они могут забыть все на свете—все решительно—и быть вместе. Для Мабель такие интимные переживания значили освобождение от всех терзающих сердце постоянных страданий и борьбы, которыми она жила днем; они служили для нее моментами безмятежного счастья, светлыми проблесками на мрачном жизненном пути. Магическое влияние музыки как-то успокаивало и заставляло утихнуть боль сознания общественного несовершенства. Она не знала никакого другого средства, чтобы найти забвение от тягостной меланхолии жизни.

— Нелль,—произнесла Мабель, обняв Элеонору, когда, наконец, они пошли спать,—вы будете добренькой, если я попрошу? Постарайтесь полюбить эту маленькую Иетту. Она меня интересует. И мне хотелось бы, чтобы она пожила у нас немного, если вы ничего не имеете против.

— Во всяком случае, она гораздо более декоративна, чем большинство ваших protégées,—ответила Элеонора.

ГЛАВА XII.

Прощание Иетты.

Иетта проснулась в обычный час. Но вокруг нее вместо смутного шума пробуждающейся жизни царила странная тишина. Она даже не слышала, чтобы кто-нибудь храпел. На нее напал панический страх,—не убиты ли все в доме? Поэтому, вскочив с кровати, она пробежала на цыпочках через комнаты к открытым дверям спальни Мабель и с облегчением увидела, что ее хозяйка мирно спит. Вернувшись снова к себе, она опять забралась в постель. Однако, ей не удалось заснуть, так как было очень светло—светлее, чем бывало в ее прежней спальной комнате в полдень. Несколько минут она занималась рассматриванием комнаты, изучением картин и bibelots. Узкая полоска старой стенной шпалеры показалась ей особенно странной: она очень выцвела, и изображения можно было различить с трудом. Иетта решила, что неприлично валяться в кровати, раз уж она проснулась, поэтому она встала и бесшумно оделась. Она уселась у окна и, отдернув занавеску, стала смотреть на улицу, на Вашингтон-Сквэр. Там и сям виднелись пятна едва пробивающейся зелени; ранняя весна уже произвела на свет божий несколько почек. Иетта видела на своем веку очень мало зелени, если не считать зеленой краски. И наливающиеся на деревьях почки в небольшом парке, казалось, представляли символически всю необычайность того нового мира, который открывался перед нею.

Это ее опечалило. Она из другого мира. Ей никогда не удастся быть такой, как Мабель. Инстинктивный здравый смысл заставлял Иетту видеть ту громадную пропасть, которая отделяет ее от жизни новых друзей.

Каким-то непонятным путем она начала воспринимать идеи красоты и изящества, которые даются роскошью. Платье Элеоноры, ее нарциссы, поза, которую она принимала, играя на скрипке, все это наводило ее на мысль о том, что ухаживание за своей внешностью не такая простая вещь, как она думала раньше, когда шляпка и белые башмаки казались ей верхом

совершенства. Обед показал ей, что еда может быть чем-то иным не только одним удовлетворением чувства голода. Перед обедом Мабель переоделась, переменив свой выходной костюм на обеденное платье. Очевидно, она считает одежду чем-то особенным а не только необходимым средством для прикрытия наготы. Даже та комната, где она сейчас сидит, не только служит просто местом для спанья. Вот это „излишество"—не объясняемое насущной потребностью—эта роскошь и отделяет ее от нового мира. Она не могла поверить, что ей удастся когда-нибудь перешагнуть через эту пропасть.

С той же резкостью перед ней возникло обратное положение. А Мабель перешагнет? Может ли она действительно жить жизнью рабочего люда, сродниться с тем миром, в котором живет меньшая братия? Это показалось ей столь же невозможным. Иетта почувствовала себя одинокой, и ей стало не по себе. На нее набежала волна неизбежного досадного чувства, она не могла не испытывать враждебности к этим двум избалованным женщинам. Разве она сама и ей подобные, вроде Рахили и других девушек, не хотели бы, чтобы и им можно было наслаждаться всей этой красотой и непринужденным изяществом—всей этой роскошью? Иетта почувствовала себя во враждебном лагере.

Раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошла Мабель в утреннем халатике.

— О, вы уже встали,—улыбнулась она.

Вся враждебность Иетты растаяла под влиянием дружеского привета и утреннего поцелуя Мабель. Элеонора, повидимому, никогда не подымалась с постели раньше девяти, поэтому им никто не мешал. Через несколько минут Мабель появилась снова уже в выходном платье, и они сели за ранний завтрак, закрыв дверь в столовую, чтобы не потревожить спящей. Завтрак поразил Иетту еще больше, чем обед. Были поданы кофе, густейшие сливки, яйца, поджаренный хлеб и мармелад. Иетта, конечно, знала, что есть такие люди, которые великолепно обедают, но ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может, не спеша, пить свой утренний кофе. Пока Мабель читала газету, у Иетты было много времени, чтобы заняться своими

думами, и к ней снова вернулось чувство враждебности. Вот уже больше часа, как ее сотоварищи по работе сидят согнувшись, за гибельными для здоровья машинами, а Мабель прихлебывает себе спокойно кофе и почитывает газеты. Иетте хотелось подняться из-за стола и приняться за дело.

Но, выйдя на улицу, она была поражена и пристыжена, увидев, как деятельна Мабель. Иетта не знала, с чего начать. А Мабель уже составила план на целый день.

Прежде всего, они отправились к „девушке, которая знала все решительно относительно забастовок", и узнали от нее адреса всех остальных работниц мастерской Джэка Гольдфогля. Оказалось, что тучная миссис Леви и сплетница миссис Левина утром снова встали на работу. Но двум мастерицам нечего было делать в мастерской, и Джэк отослал их обратно домой, обещая дать им знать, как только начнется работа. Он думает начать завтра, так он им сказал. Миссис Левиной Джэк вручил доллар и потихоньку дал ей инструкцию присоединиться к забастовщицам и держать его в курсе всех дел.

Едва Мабель увидела миссис Коген, как в ту же секунду бросилась в аптеку и вызвала по телефону доктора Любовича. „Ее нужно поместить в санаторию"—донеслись до Иетты ее слова.—„И затем я боюсь, что уже слишком поздно. Все, что нужно, делайте за мой счет". Потом она позаботилась, чтобы детей больной кормили две беднейших забастовщицы, и из собственного кармана выдала этим двум семействам небольшую субсидию. Больше всего Иетту удивляла способность Мабель внушать к себе доверие. При их приходе большая часть женщин находилась в беспомощном состоянии и надеялась, что Джэк простит их и примет обратно в мастерскую. Мабель несколькими словами отгоняла от них всякое сомнение. Десять женщин из двенадцати—исключение составляли тучная миссис Леви и шпионка миссис Левина—скоро пришли к убеждению, что их победа обеспечена. И все, кроме миссис Леви, дали обещание притти в четыре часа в Лигу Женского Рабочего Союза и приступить к организации.

Покончив с этим, Мабель в сопровождении Иетты, следовавшей за ней по пятам, вскочила в вагон надземной железной дороги и помчались в бюро Центрального Федеративного Союза, чтобы взять удостоверение для нового союза. Секретарем Союза был мистер Кэзи, здоровый и добродушный ирландец, лет сорока. В течение двадцати лет он был ответственным наборщиком и стоило ему поговорить с кем-нибудь двадцать минут, как он начинал рассказывать собеседнику о том, как он набирал „Образцовый Словарь“—„наисложнейший набор, когда-либо поступавший в типографию“.

— На-те вам,—заметил он при виде Мабель,—вот не было печали! Когда вы оставите нас в покое, мисс Трэн? Знаете, ведь есть же на свете и другие люди, человека два-три, кроме ваших милейших женщин!

Остальные мужчины, бывшие в комнате, поднялись со своих мест и предложили вошедшим стулья. Иетта еще раз удивилась той непринужденности, с которой Мабель объяснила сущность дела. С присущим ей здравым взглядом на вещи, она сумела узнать и понять этих мужчин. Ей была известна биография почти каждого из них, она отлично знала как их скрытые добродетели, так и пороки. И она обладала уменьем поставить всегда на своем, зная, как надо держать себя с „хитрецами“ и как с „простаками“.

— Ладно,—сказал Кэзи.—Можете получить удостоверение. Больших хлопот с этим не будет. Но ни с какими другими просьбами сейчас ко мне не обращайтесь. Сам дьявол не будет так занят в день воскресения мертвых, как я теперь.

— Мы все заняты,—возразила Мабель.—И мне страшно хочется, чтобы вы зашли к нам в четыре и помогли работницам организоваться.

Кэзи замахал руками, застучал по столу и начал браниться, неизменно принося извинения за свою „проклятую невоспитанность“, но Мабель вцепилась в него. Остальных присутствующих в комнате она уже привлекла на свою сторону, и они с хохотом уговаривали его пойти.

Добившись обещания, что он придет, Мабель не стала отнимать у него ни минуты времени. Она помчалась с Иеттой в Лигу Женского Рабочего Союза и погрузилась в утреннюю корреспонденцию.

Все это, казавшееся Иетте невероятно важным, приняло теперь совсем иной вид и стало утрачивать свое значение. В бюро было несколько „отделывающих юбки". В их забастовке принимало участие несколько сот женщин. В мастерской же Гольдфогля было всего двенадцать работниц. Пока Мабель занималась другими делами, Иетта взяла номер „Американского Федералиста", ежемесячного журнала, органа национальной федерации рабочих союзов. Как бесконечно мало ее участие в великой промышленной борьбе! Она прочла о забастовке тысяч углекопов, разрабатывающих антрацитовые залежи, о сотнях шерстопрядильных фабрик, прекративших производство. В одном западном городе остались без работы служащие городских железных дорог. В полдюжине южных штатов производился референдум относительно забастовки печатников. Бурное волнение охватило бойни Чикаго. А здесь в Нью-Иорке протекало пять забастовок в различных областях промышленности. На мгновение в ней зашевелилась гордость при мысли, что и она составляет часть этой громадной армии тружеников, которые ведут борьбу за большую долю солнечного света и за Свободу. Но в ту же минуту ее поразила мысль о том, как незначительно дело работниц, шьющих жилеты.

Она успела прочесть почти весь номер „Федералиста", когда, наконец, Мабель позвала ее, и они спустились вниз в ресторан для девушек-работниц, чтобы позавтракать. Они нашли свободный стол и Иетта только что приступила к своим бесконечным вопросам, как вдруг вошли две взволнованных „отдельщицы" и, увидя Мабель, кинулись к их столу. Иетта еще раз почувствовала себя оттесненной на задний план. В это утро забастовка дошла до критического момента, в двух мастерских женщины встали на работу, придя к соглашению, которым союз не признавался; неминуема общая паника.

Около двух часов начали появляться женщины из мастерской Гольдфогля, и ровно в четыре Мабель вырвалась от „отде-

лывающих юбки“ и направилась в заднюю комнату, где собрались работницы, шьющие жилеты. „Vorwärts“ вышел из печати час тому назад, и женщины, умеющие читать на жаргоне, читали вслух пылкий отчет Брауна об их подвигах. Это приобрело в их глазах новый смысл, получило большее значение, они почувствовали, что за ними есть сила, что к ним относятся с симпатией. И чувство это усилилось еще больше под влиянием веселой и бодрой речи мистера Кэзи. Когда они выбрали должностных лиц: председателя — миссис Вайнштейн; казначея — „девушку, знающую все относительно забастовок“, и секретаря и делового агента—Иетту, он вручил им удостоверение, отпечатанное в три краски и показавшееся им каким-то магическим знаменем победы. Своей программой они решили объявить список требований, уже напечатанных Брауном в „Vorwärts“.

Мабель вывела их всех из восторженного состояния, перейдя к обсуждению деталей. Она объяснила, что единственная надежда на успех заключается в следующем: надо убедить другие мастерские, занятые шитьем жилетов, присоединиться к забастовке. Одни они ничего не сделают. Каждая работница должна вспомнить всех других мастериц, шьющих жилеты, которых она знает и убедить их объявить забастовку у себя в мастерской. Она прочла список мастерских и отметила все те, где у кого-нибудь из женщин были знакомые. Затем она роздала им большие связки „Vorwärts“ и распределила работниц попарно по главным мастерским, где шьют жилеты. Женщины должны были стоять у дверей и раздавать газету всем, выходящим из мастерской. Вечером они должны были пойти к своим знакомым, сотоваркам по работе, а на утро снова приняться за дело, раздавая номера „Vorwärts“ уже у дверей другой мастерской. Она же сама пойдет с Иеттой, деловым агентом Союза, к Гольдфоглю и вступит с ним в переговоры. Конечно, сразу он не пойдет на уступки, но лучше показать ему, что они его не боятся. И затем Мабель отпустила их по домам, сказав несколько ободряющих слов о том, как помогают им „Vorwärts“, Центральный Федеративный Союз, социалисты и, конечно, Лига Женского Рабочего Союза.

Без Мабель Иетта едва ли нашла бы в себе мужество выполнить свою первую задачу, выпавшую на долю ее, как делового агента Союза. Она еще продолжала испытывать какой-то прежний страх перед неограниченным хозяйским могуществом Джэка Гольдфогля. Под влиянием возбуждения она осмелилась бросить ему вызов. Но совсем иное дело искать свидания с ним для хладнокровной беседы. Для Мабель же все это составляло ее обычную работу. И ведение переговоров она приняла главным образом на себя.

Джэк принял их, нервничая. Он не был крупным предпринимателем и не мог сидеть спокойно и цинично выжидать, пока его работницы не начнут голодать. Недельный перерыв неминуемо приводил его к разорению, но он был бы точно так же наверняка разорен, если бы согласился поставить своих работниц в сколько-нибудь приличные условия. Более крупные капиталисты жестоко его эксплоатировали и единственная надежда Джэка на успех заключалась в том, чтобы чудом добиться еще более ужасной эксплоатации своих работниц. Целый день он был занят с разными агентами по найму рабочих. Они могли поставить ему любое количество чернорабочих, но ему нужны были умелые люди. Для него было бы неизмеримо лучше, если бы он смог получить обратно прежний состав работниц. И поэтому он встретил делегаток довольно вежливо. Но, увидев Мабель, незнакомую серьезную американку, он смутился. Он предполагал, что ему придется иметь дело только со своими подчиненными. Джэк сразу понял, что ему не удастся ни одурачить, ни запугать эту незнакомку.

Он едва слушал, что она ему говорила, и вцепился в напечатанный на машинке лист с требованиями. Не успел он прочесть перечень до половины, как все его надежды рухнули.

— Что вы себе думаете?—захныкал он.—Разве я миллионер? А как по вашему мне быть с контрактом?

— Ваш контракт совершенно нас не касается, мистер Гольдфогль,—отвечала спокойно Мабель.—Нам кажется, что вам не следует соглашаться на такой контракт, который вы не можете выполнить прилично. Вы не заботитесь о том, как живут ваши

работницы на те деньги, которые вы им платите, а мы не интересуемся вашими контрактами. Если вы можете поставить своих работниц в хорошие условия, то они завтра утром снова примутся за работу. Если нет, забастовка будет продолжаться.

— Ступайте прочь! Проваливайте,—закричал он, вскакивая с места.—Завтра я начну работать с новыми людьми. Я никогда не приму обратно ни единой из прежних работниц.

Мабель улыбнулась, не приходя в уныние.

— Штрейкбрехеры,—заметила она,—сломают вам машины. Вам обойдется дешевле закрыть мастерскую, чем работать с неумелыми людьми.

Джэк знал, что это совершеннейшая правда, но думал, что запугает своих прежних работниц, если будет держаться смело и независимо, и тем заставит их вернуться обратно.

— Вы так думаете? Превосходно! Я вам покажу. Проваливайте.

Приближался час окончания работ, поэтому Мабель с Иеттой заняли пост около одной из больших жилетных мастерских, набрав полные руки номеров только что вышедшего „Vorwärts“, и стали раздавать газету всем желающим и вступать в разговор со всеми, кто хотел слушать. Они поужинали в одном из ресторанов Восточной Стороны и потом снова вышли на улицу, чтобы навестить тех работниц, адреса которых у них были.

Когда они шли поспешно по улице, Иетта вдруг остановилась.

— Я забыла,—сказала, она,—мне нужно зайти к тетке и взять у нее кое-что из вещей.

— Да, это надо сделать,—заметила Мабель.—Дома должно быть беспокоятся о вас. Скажите, что вы будете пока жить у меня.

— Дело не в том,—произнесла Иетта,—не важно, что им сказать; они все ровно будут думать, что я пошла по дурной дорожке. Но мне непременно нужно взять кое-что из вещей, пока они их не продали.

Они были не очень далеко от квартиры Гольдштейнов и когда подошли к дому, Мабель спросила, не зайти ли и ей.

— Нет,—ответила Иетта,—подождите. Я не задержусь очень долго.

Ей не хотелось, чтобы новый друг увидел то место, где она жила. Дядя мог оказаться дома, и тогда они застали бы его в пьяном виде. Сердце у нее сразу упало, когда она остановилась у дверей квартиры Гольдштейнов. А что, если дядя дома? Вдруг он начнет ругать ее, словно тогда Рахиль, вдруг он набросится на нее с кулаками? Если бы вопрос касался только одежды, новой шляпки и белых башмаков, то она наверное вернулась бы в страхе обратно. Но ведь там три тома „Les Misérables". Это придало ей храбрости, и она вошла.

В комнате были только тетка и кузина Роза.

— Я пришла за вещами,—сказала она, желая выиграть время и не дать им возможности обрушиться на нее с обвинениями.— У нас в мастерской забастовка. Значит, я не смогу теперь некоторое время зарабатывать деньги и не буду нужна вам здесь. Жить буду у одной подруги.

Она прошла в спальную комнату и начала завертывать книги и башмаки в парадную блузочку и юбку. Роза остановилась у порога и следила за нею.

— Какая это у тебя подруга?—спросила она.

— Ее зовут мисс Трэн.

— Ах, скажите! Так это женщина?—с насмешкой сказала Роза.

Иетта вспыхнула от гнева, но ничего не ответила. Собрав все свои скудные пожитки, она еще раз обвела взором жалкую спаленку и прошла в кухню, где молча сидела миссис Гольдштейн, зашивая истрепанную нижнюю юбку Розы.

Какая-то внезапная нежность овладела Иеттой при виде этой черствой старухи, которая так гадко обращалась с ней.

— Прощайте, тетя Марта,—произнесла она.

Старуха продолжала шить, как будто не замечая присутствия племянницы. Потом она заговорила, обращаясь к Розе.

— Было еще хуже, когда уходила Рахиль. Она была моей родной дочерью.

— Но я иду не туда, куда ушла Рахиль,—возразила Иетта. Старуха ничего не ответила.

— Тетечка,—продолжала Иетта,—я не иду по скверной дорожке. Если вам захочется когда-нибудь узнать обо мне или что-нибудь вам понадобится, то обратитесь в Лигу Женского Рабочего Союза. Вот. Я запишу вам адрес. Там будет известно, где найти меня.

Она оторвала клочок бумаги, в которую были завернуты ее пожитки, и нацарапала адрес. Так как тетка продолжала игнорировать ее присутствие, то Иетта положила записку на стол.

— Прощай Роза,—сказала она.—Прощайте, тетя Марта.

Выйдя в прихожую, она почувствовала слабость и головокружение. Иетта не любила ни самого жилища, ни его обитателей. Почему же ей так тяжело расставаться с ними? На мгновенье она прислонилась к стене, чтобы овладеть собою. Мимолетное знакомство с новым миром не давало ей уверенности, что она будет когда-нибудь чувствовать себя там, как дома. Ведь и у Колумба были сомнения, когда он решался пуститься в плавание по неведомому морю. Но в ту же минуту она почувствовала острый угол „Les Misérables“, который впивался ей в бок. Она нежно прижала к груди свой сверточек, словно он был спасательным кругом. И Иетта ощутила в себе мужество, чтобы даже с улыбкой сбежать по темной лестнице вниз, где ее ждали Мабель и новая жизнь.

Книга 3.

ГЛАВА XIII.

Забастовка.

Только около полуночи Мабель с Иеттой вернулись, наконец, домой. Они успели побеседовать с работницами из дюжины мастерских, занятых шитьем жилетов. Статья „Vorwä ts“ была написана с большим подъемом и, вероятно, девяносто процентов всех занятых в этой отрасли производства слышали о взрыве происшедшем в мастерской у Гольдфогля, и читали пророчество Брауна о том, что эта забастовка повлечет за собою громадные последствия. Иетте казалось, что, собственно говоря, пока они еще почти ничего не добились, но Мабель, более привыкшая правильно подходить к оценке положения, ликовала.

— Иетта, голубушка,—сказала она, целуя ее на прощанье,— есть чудесная французская песенка—„Ça ira!“—что можно перевести так: „Что-нибудь да выйдет!“

В течение дня у нее все крепло убеждение, что ничего не значущая ссора между Иеттой и ее боссом подает надежду на чрезвычайно большой рост. Очень часто забастовки вспыхивают в самое неблагоприятное для рабочих время. Иной раз неожиданная провокация вызывает людей на преждевременное выступление. Кроме того, еще задолго до кризиса бывают слышны раскаты надвигающейся грозы, и поэтому, когда рабочие бросают работу, то оказывается, что у боссов вполне достаточно времени для подготовки к сражению. Но, как показало подробное изучение условий производства готового платья, нельзя было найти более подходящего момента для забастовки в мастерских занятых шитьем жилетов. Сезон усиленной, спешной работы как

раз приближался к концу. С одной стороны боссы напрягали все усилия, чтобы во-время закончить контракты. С другой— многим работницам все равно было бы отказано от места с окончанием спешки. В случае забастовки менее умелые, хуже всего оплачиваемые работницы рисковали бы только заработком нескольких недель. А причин для недовольства у них было, конечно, вполне достаточно. Все, с кем им приходилось беседовать, жаловались на невыносимую быстроту темпа работы, жалкую плату, произвольные штрафы и невозможные условия. Были вполне основательные данные питать надежду, что забастовка распространится на всю отрасль производства. Вот почему, собираясь итти спать, Мабель пропела Иетте „Ça ira“.

Проницательность ее не обманула. Еще до двух часов дня все уже убедились, что забастовка „клюнула“. В течение утра забастовали шесть мастерских, в том числе одна из самых крупных. А после полуденного перерыва за работой осталось не больше четверти работниц.

Джэк Гольдфогль мог бы найти двенадцать опытных мастериц для своей маленькой мастерской, но найти быстро достаточное количество работниц для всех мастерских было совершенно немыслимо. Вопрос обострялся, и начиналась длительная борьба. Обе стороны приступили „к организации“. Забастовавшие наняли помещение в районе „потогонных“ мастерских для своей штаб-квартиры, и там заседал „en permanence“ комитет, выдавая забастовщицам членские билеты, составляя карточный каталог фамилий и адресов, занимаясь распределением, в виде пособий, всех денег, которые можно было собрать. Мабель несла на своих плечах всю эту кропотливую, страшно важную работу, имевшую громадное значение для успешного хода забастовки. Ей уже приходилось сотни раз заниматься такой работой раньше, и ее ничто никогда не могло смутить. Всюду как будто царил какой-то хаос, но благодаря невозмутимому хладнокровию Мабель все приходило под ее руководством в надлежащий порядок.

В одной из контор на Бродвэй боссы организовали „Общество хозяев жилетных мастерских“. У них в штаб-квартире было меньше шума, чем в союзе. Но тишина и спокойствие не

всегда знаменуют более высокий уровень этики. Лига Женского Рабочего Союза помогала забастовщицам, а „Общество хозяев“ посылало боссам обученных мужчин. Через несколько дней в Нью-Иорк стали прибывать опытные работницы из других городов. Некоторые мастерские могли начать снова работать, приблизительно при половинном размере своего нормального производства. Агенты осведомители печати „Общества хозяев жилетных мастерских“ разослали по газетам объявления, что забастовка закончилась.

Союз ответил на удар ударом, и началась „пикетная“ кампания. Этой работой стал руководить Исидор Браун. Каждое утро он принимал под свою команду „пикеты“ из добровольцев, расставлял их по постам и старательно объяснял, какими они могут пользоваться законными правами. Они имеют право останавливаться на улице, где угодно и разговаривать со всяким, кто пожелает их слушать, если только около не будет собираться толпа, мешающая свободному уличному движению. Они не смеют никого удерживать силой, угрожать насилием или ругаться.

Недавно Высшим судом Нью-Иорка было сделано разъяснение, что понятие „мирный пикетаж“ заключает в себе противоречие в самых терминах. С его точки зрения всякий пикетаж по существу своему уже связан с насилием. Как юридическое положение, это чистейший идиотизм. Громадное большинство рабочих пикетов носит совершенно мирный характер. Но во время какого-нибудь крупного промышленного конфликта, затянувшегося надолго, некоторым из бастующих нечего есть, у многих из них дома голодные дети. Трудно ожидать, чтобы рабочие относились с любовью к штрейкбрехерам—„скэбам“,—которые отнимают у них работу. И вождям забастовочного движения бывает отчаянно трудно—как бы искренно они ни старались—предотвратить спорадические акты насилия. Браун—сам юрист и социалист—твердо верил в законность. Он настойчиво указывал забастовщицам на крайнюю желательность соблюдать во всем букву закона.

В первый день Мабель и Иетта были вместе в одном пикете. Они стояли на тротуаре около самой большой из жилетных

мастерских и старались вступать в разговоры с каждой работницей, входившей в мастерскую. Главную роль взяла на себя Мабель. Она приводила старые, избитые доводы юнионистов. Единственная надежда рабочих на успех заключается в единстве действий. Штрейкбрехеры—„скэбы“,—замещая бастующих, больше помогают боссам, чем самим себе. По окончании забастовки боссы всегда рассчитывают „скэбов“ и берут обратно прежний кадр рабочих. Если они найдут себе постоянную работу, то рано или поздно явится кто-нибудь, кто будет штрейкбрехерствовать по отношению к ним. Если же они вступят в союз, то будут получать пособие, вполне достаточное для жизни, а при сильной организации труд будет поставлен в хорошие условия. Да и кроме того позорно отнимать работу у своих же братьев-рабочих. Большинство штрейкбрехеров старалось быстро прошмыгнуть мимо, кое-кто угрюмо прислушивался, один или двое отвечали ругательствами. Постороннему наблюдателю работа пикетов кажется довольно бесполезной. Вам очень редко удастся заметить какие-нибудь положительные результаты. Но долгий опыт показал союзам, что работа пикетов вполне оправдывается. Не так уж редки случаи, когда выбывает из строя сразу по десятку штрейкбрехеров, что объясняется тем, что они не в силах бороться с собой, стыдятся смотреть пикетчикам прямо в глаза и не приходят больше на работу.

Мабель была слишком завалена работой, чтобы бывать очень часто в пикетах. У нее и так были полны руки хлопот: она старалась спасти что можно от гибели при ликвидации забастовки „отделывающих юбки“. А кроме того нужно было еще заниматься тысячью и одним делом, касающимися работниц, шьющих жилеты: устраивать митинги, стараться заинтересовать газеты, оказывать давление на совет, чтобы он собирал побольше денег. Денег собирали порядочно, но нужда среди работниц была отчаянная; „пособия“, выдаваемые бастующим, неизменно опустошали кассу. Мабель приходилось ежедневно следить за пополнением средств. Иетта же бывала в пикете каждый день.

Мало-по-малу обнаружилось, что „пикеты“ работают успешно. Очень многие из привезенных работниц, наиболее опытные

мастерицы, вступили в союз. Работы происходили всего лишь в нескольких мастерских, при чем расходы по их эксплоатации повысились очень сильно, вследствие невыгодности труда неквалифицированных работниц. Более мелкие боссы доходили до банкротства. Джэку Гольдфоглю пришлось пасть первым. Пять дней забастовки лишили его всего. На другой день за ним последовали еще двое. В кредите стали отказывать даже самым крупным боссам.

„Общество хозяев жилетных мастерских" поняло, что нужно во что бы то ни стало разгромить пикеты. Произошел целый ряд секретных совещаний с представителями городской полиции. Полицейский судья, заседавший в участковом суде на Эссекс-Маркет, был переведен в один из судов в верхней части города, а на его место был назначен судья Корнетт, известный своим явно враждебным отношением к рабочим союзам. Кроме того, полиции были отданы соответствующие распоряжения.

Для Исидора Брауна началась страдная пора. Повсюду пикеты арестовывались. Сначала ему показалось, что лучше всего вести борьбу на законном основании, выступая в грязноватом здании суда на Эссекс-Маркет. Закон был на стороне Брауна, и он отлично умел им пользоваться, как сильным оружием. Первые партии пикетчиц были освобождены с предостережением. Но через несколько дней полиция прибегла к услугам теплой компании таких свидетелей, которые охотно показывают все, что угодно. Суд начал налагать штрафы, которые в сущности приводили просто к тюремному заключению, так как у девушек не было ни копейки денег.

Одно из педагогических правил Фребеля гласит, что мы учимся за делом. Но это правило не совсем верно, как и большинство кратких изречений. Например, Иетта шила жилеты в течение четырех лет, но о том, как они шьются, узнала гораздо больше за первые четыре недели забастовки, чем за все время своей работы в мастерской.

Она начала понимать, что ее ремесло заключается не только в привычных движениях проворных пальцев. На одном из митингов Браун обрисовал вкратце сложный промышленный про-

цесс. За пределами ее мастерской работают еще мужчины, „закройщики“, раскраивающие сукно, из которого потом шьются отдельные части одежды. А за „закройщиками“ стоят рабочие, которые ткут сукно и прядут пряжу, а еще дальше—пастухи, которые пасут овец и стригут с них шерсть. По выходе же жилетов из мастерской они поступают к „отдельщикам“. От них к оптовым торговцам, которые скупают пиджаки и брюки из такого же сукна и, наконец, готовые комплекты продаются уже мелкими торговцами непосредственно потребителям. И всем этим тысячам людей, которые трудятся вместе с нею, нужно есть. Кто-нибудь должен печь для них хлеб. Поэтому и хлебопеки принимают участие в производстве жилетов. Такое же участие принимают тут и сапожники, шьющие работницам сапоги, и углекопы, извлекающие для них топливо из недр земли, и рабочие машиностроительных заводов, изготовляющие для них швейные машины и иголки. Трудно представить себе, что есть какой-нибудь рабочий, который так или иначе не содействовал бы производству жилетов.

Браун говорил, что все участники процесса одинаково эксплоатируются, что они жертвы одной и той же несправедливой системы. Все они „рабы заработной платы“. И Иетта во время своих ежедневных встреч с бастующими, то при исполнении обязанностей в „пикете“, то на митингах, то в помещении стачечного комитета, где ей приходилось присутствовать при грустном занятии—распределении „пособий“,—начала уяснять себе, что значит „рабство наемного рабочего“, чего она совершенно не могла познать раньше только на основании собственного опыта. Жизненная трагедия миссис Коген повторялась на каждом шагу.

До сих пор ей еще ни разу не пришлось познакомиться с голодом, Великим Погонщиком Рабов. И даже теперь она видела его только издали. Она, во всяком случае, всегда хорошо завтракала рано утром у Мабель. А иной раз успевала еще раз перекусить днем или поужинать. Мабель, невероятно заваленная всякой мелкой работой, связанной с забастовкой, не представляла себе, как часто Иетта проводила целый день почти без

пищи, поев всего один раз. Квартира была всего в двадцати минутах ходьбы от помещения комитета. Но у Иетты не было средств для поездок на трамвае и кроме того она не всегда могла улучить время, чтобы сбегать домой позавтракать или пообедать. Если вечером бывал митинг и Иетта возвращалась домой с Мабель и Лонгмэном, то обычно дома им подавался холодный ужин. Но, конечно, она ничего не зарабатывала и у нее не было взято с собой из квартиры Гольдштейнов ничего такого, что можно было бы заложить. Нужда других бастующих работниц была настолько ужаснее и острее, чем ее собственная, что у ней не хватало духа обратиться с просьбой о „выдаче пособия".

Мабель сразу заметила, что у Иетты выдающиеся способности к воздействию на других, и поэтому она очень заботливо занялась тем, чтобы выдвинуть ее на передний план. Иетта к немалому своему смущению, очень часто оказывалась в фокусе общего внимания. С полдюжины газетных издателей, старавшихся создать целый роман из этого возмущения в „потогонных" мастерских, весьма заинтересовались Иеттой. Они разослали своих редакционных фотографов снять с нее фотографии. Газеты, широко распространенные среди рабочего класса, содействовали тому, что ее лицо стало известно миллионам людей Одна из газет была настолько предприимчива, что поместила моментальный снимок, на котором была изображена Иетта, спорящая со штрейкбрехером перед зданием „Жилетной Компании— Как раз впору". Корреспондент „Вечернего Знамени", подписывающий свои статьи псевдонимом „Веселый Наблюдатель", написал психологический этюд, посвященный этой огненной головне Восточной Стороны. Тон статьи был, как всегда, довольно обидный, но под конец автор сделал попытку сказать комплимент, сравнив Иетту с Жанной д'Арк.

Где только являлась возможность, Мабель выталкивала Иетту на эстраду. Разные дамы—члены совета—устраивали послеобеденные чаепития, где Иетта выступала с речами. Такие речи, в которых высказывалась просьба о деньгах, были для Иетты гораздо более неприятной работой, чем дежурство в пике-

тах. Но ей было не трудно выступать перед этими небольшими собраниями. Говорила она на них очень просто. Она уже не рассказывала своей личной истории, в стремительном ходе событий Иетта о ней почти позабыла. Каждый день знакомил ее с какими-нибудь новыми и еще более печальными трагедиями. Денег, в общем, собирали не очень много: десять, пятнадцать, иногда двадцать пять долларов. Но нужен был каждый цент. Мабель, благодаря своему обширному опыту в подобных делах, ясно увидела, что Иетте удивительно везет. Правда, едва ли у какой-нибудь из присутствовавших на этих чаепитиях дам самое дешевое кольцо не стоило во много раз больше всей собранной суммы. Иетта, видя драгоценности и зная о том, как велика нужда ее сотоварок по работе, считала себя неудачницей, пересчитывая несколько долларов.

Если подобные экскурсии в высший свет и не предоставляли тех денежных выгод, на которые рассчитывала Иетта, то они, во всяком случае, ознакомили многих дам, занимавших видное общественное положение, с ее лицом, с большими печальными глазами и нежным голосом,—а это принесло в будущем свои плоды.

Они исцелили ее также от зависти, бросившей тень горечи на первое утро, встреченное Иеттой в комнате Мабель. Иетта еще яснее увидела ту пропасть, которая отделяла людей ее мира от этого другого мира, полного роскоши. Ей уже больше не хотелось перейти через эту пропасть. Странная страна, в которую она проникала случайным взором, казалась ей очень жестокосердной. Иетте всегда было тяжело видеть такое веселое, легкомысленное безразличие. Иногда она ходила с такими же поручениями в штаб-квартиры других союзов. Там она видела людей из своего круга и встречала живую симпатию. Однажды вечером она выступала с речью в голой, плохо освещенной комнате, где происходил митинг „пирожников". Это были по большей части страшно бедные иностранцы, французы и немцы, только что пережившие забастовку, окончившуюся разгромом. В кассе у них не было ни копейки, но все-таки некоторые из собравшихся стали шарить в карманах, и Иетта собрала целую горсть

мелочи и монеток по десять центов. Сбор был не так велик по сравнению с той суммой, которую она получила днем от „дам“, но он был гораздо ценнее. Иетта почувствовала очень остро, что каким-то таинственным образом их дар, такой скудный, имеет гораздо большее значение для дела, которому она служит, чем доллары, полученные от высшего общества.

Прекрасно одетые дамы, с которыми она встречалась, казались ей немного стоящими по сравнению с товарками по ремеслу. Она гордилась тем, что принимает участие в чудесном героизме женщин, переносящих муки голода. Воспоминания об отце были для нее самым драгоценным из всех ее духовных сокровищ. Если бы она выросла под руководством человека более практической складки, если бы отец научил ее, как учат большинство из нас, считать элегантность, или успех в обществе, или богатство, или культуру большей добродетелью, чем полную любви доброжелательность—то, конечно, она вынесла бы менее строгий приговор. Но Иетта не чувствовала, чтобы „золотое правило“ принималось всерьез христианками высшего света. Она сомневалась, действительно ли они любят своего ближнего, как самих себя. Ведь ответ на этот вопрос не доходил до слуха людей, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Бриллианты дамских бесполезных украшений озаряли лучами холодного, бессердечного света нищету, доставшуюся в удел ее народу.

В процессе выработки этой суровой оценки мира роскоши Мабель служила для нее мерилом. Почему все другие женщины не такие, как Мабель? Ведь они столь же красивы, так же образованы, с такими же утонченными вкусами. Но Мабель живой человек. Иетте стало стыдно, что она сперва отнеслась к ней с чувством зависти и недоверия. С каждым днем она все лучше видела, как широко поле деятельности Мабель—нынешняя забастовка работниц, шьющих жилеты, была только одной из сторон этой деятельности—и восхищение и удивление Иетты все росло. Мабель не только отдавала работе все свое время, она не боялась и того, что девушки называли „черной работой“:

она носила знамя во время торжественных уличных шествий, она вступала в очередные дежурства в пикетах, принимала участие в надписывании и заклеивании конвертов. А ответственность падала на нее более тяжелая и в большей степени, чем следовало бы по характеру ее обязанностей. Иетта не в состоянии была понять, почему все другие женщины могут держать себя совершенно иначе, хотя им тоже приходится видеть чужое горе. Ежедневно она рассказывает им о таких случаях, а они довольствуются только тем, что дают пять или десять долларов. Нет. Ей не хотелось бы быть „дамой".

Почти каждый день происходили аресты нескольких пикетов, и пикетчиц отправляли в исправительный дом. Но на их место неизменно добровольно вызывались новые. Нет более поучительного урока, который можно почерпнуть из истории, чем тот, что преследование похоже на масло, подливаемое в пламя энтузиазма. Вместо разгрома пикетов, как—с безрассудством Нерона—рассчитывали боссы, они добились только того, что пикеты стали работать более интенсивно и с большей пользой. Боссы пришли тогда к такому заключению, что „нужно предпринять что-нибудь более решительное". Состоялось несколько совещаний—конечно, они протекали очень спокойно и в полном порядке—с экспертами по штрейкбрехерству, которых ссудил им заимообразно „Союз Предпринимателей". Было составлено пространное сообщение, в котором публика извещалась, что владельцы жилетных мастерских, чувствуя, что они не пользуются достаточным содействием со стороны городской милиции, обратились к услугам частного сыскного агентства для охраны своей собственности и жизни верных служащих от насилий со стороны стачечниц. Все газеты, выходящие на английском языке, опубликовали это сообщение, совершенно не задаваясь вопросом, нуждаются ли жизнь и собственность в какой-нибудь специальной охране. При этом более услужливые из них напечатали разные истории о „насилиях", материал же был доставлен „агентами печати", состоящими при „Союзе Предпринимателей". Таким образом в широких кругах создалось впечатление, что бастующие работницы из жилетных мастерских просто-напросто фурии,

с пылающими волосами на голове, которые горланят на улицах и срывают платья с почтенных женщин.

Но едва ли кому из лиц, связанных когда-либо так или иначе с забастовкой, будь то предприниматель или служащий, едва ли кому из неоперившихся еще газетных корреспондентов города не было понятно, что значит такое объявление. Боссам не удалось разгромить забастовку „легальными“ средствами. Поэтому приглашались на помощь „частные сыщики“, чтобы сломить бастующих путем запугивания и жестокостей. Девушки начали приходить в помещение стачечного комитета с окровавленными лицами, с синяками от побоев.

Высший суд не вынес ни разу решения по вопросу о том, не нарушается ли общественное спокойствие, если во время трудовых конфликтов прибегают к услугам прохвостов, именующих себя „частными сыщиками“.

Считая, что Иетта особенно полезна, как оратор и сборщица денег, Мабель старалась убедить ее, что эта работа гораздо важнее, чем исполнение обязанностей пикетчицы.

— Нет,—отвечала Иетта,—если я не проведу утра среди девушек, то мне не о чем говорить вечером.

Мабель не стала настаивать; она уж больше не называла ее la petite, когда говорила о ней с Элеонорой. Все, кому приходилось за эти недели входить в соприкосновение с Иеттой, заметили, что она очень быстро выросла и сделалась женщиной.

Иетта рассчитывала, что ее арестуют. Почему бы и ей не попасть под арест? Она как бы намеревалась испытать все. Почему другие девушки должны подвергаться побоям со стороны бесчинствующих частных сыщиков, а она будет оставаться в стороне? День за днем она занимала пост перед той или другой из жилетных мастерских и несла свои обязанности по своему разумению, как их исполняли другие женщины. На каждом посту стояли всегда две пикетчицы, и вот во время этих утренних дежурств Иетта и знакомилась самым основательным образом с жизнью своих товарищей по работе.

Для нее самой жизнь складывалась очень удачно. У нее было чудесное пристанище для ночлега. Она во всяком случае ела хоть раз в день. У нее не было ребят, которые с плачем требовали бы, чтобы им дали есть. Другим женщинам жилось гораздо хуже, чем ей. Некоторые из них были больны, почти все голодали и чувствовали недостаток в одежде. И, кроме того, Иетту часто посылали на менее утомительную работу—в бюро или на какое-нибудь светское чаепитие в городе, тогда как эти женщины, привыкшие проводить весь день за машиной, должны были часами стоять на своем посту. Но не вид работниц, не то жалкое зрелище, которое представляли собою многие из них, больше всего причиняли боль Иетте. То были их рассказы, которые в большинстве случаев передавались без всякой задней мысли. Слова вырывались невольно, вызывая образы больных мужей и голодных ребят. У некоторых из пикетчиц были седые волосы и согнутые спины, иные были моложе Иетты, но все они казались более страдающими от забастовки, чем сама Иетта. А голодные грудные дети! Иетта спала тревожно—по ночам ей слышался детский плач.

Что полиция и сыщики ее щадят, это казалось Иетте самой большой несправедливостью из всех, которые она видела вокруг себя. Провести неделю на „Острове“ было для нее пустяком; никто не зависит от ее поддержки. Но всегда захватывали какую-нибудь вдову, у которой никого не было, чтобы заботиться о детях, пока она сидит в тюрьме. Иетта чувствовала себя сильной и здоровой. Почему сыщики бьют всегда какую-нибудь старуху или слабую чахоточную девушку? Хотя до сих пор она избегала всяких неприятностей, но все же ожидала их спокойно и без волнения. Стоило ей только встретиться с кем-нибудь из девушек, бывших в исправительном доме, как она начинала расспрашивать о нем точно так же, как мы, собираясь провести зиму в Париже, осведомляемся у бывших там друзей относительно тамошних цен, магазинов и тому подобное.

Но когда, наконец, дошла очередь и до нее, то произошло все в совершенно неожиданном виде.

ГЛАВА XIV.

Арест.

В одно майское утро Иетта была назначена стачечным комитетом итти на дежурство к „Коронной“ Жилетной Компании. Выходя на улицу, она встретилась с Мабель, у которой макинтош блестел от дождя.

— Ох, Иетта,—сказала та,—не выходите сегодня. Погода отвратительная, а если вы простудитесь, то не сможете говорить.

Иетта только улыбнулась. Мабель показалось, что она никогда еще не была так красива, как в это утро. Лицо у нее немного похудело от напряженной работы, оливковый цвет кожи стал чуть бледнее, глаза как будто сделались еще больше. А благодаря целому месяцу, который она провела на ногах, и под влиянием нового чувства—горделивого упоения битвой—спина у нее, уже начавшая сутулиться в потогонной мастерской, выпрямилась, плечи выравнялись. На ней была та же самая юбка и блузочка, которые она надевала на бал, потому что в этот день ей нужно было выступать с речами в городе. Голову и плечи окутывала теплая шаль. Подошвы башмаков были совершенно изношены, но Мабель не могла этого видеть.

— Мне придется продежурить всего несколько часов,—сказала Иетта.—Сегодня у нас опять заседание этого совета.

И она вышла на улицу под потоки дождя. „Коронная“ Жилетная Компания помещалась на Четвертой Восточной улице, сейчас же за Вашингтон-Сквэром. Когда Иетта, идя по Бродвэй, повернула за угол, то она едва устояла на ногах. Все ветры небес—резкие, пронзительные ветры запоздавшей весенней бури—сходились, как в воронку, в Вашингтон-Сквэр и проносились оттуда по узкому каньону Четвертой Восточной улицы. Хотя Иетта пришла с опозданием, но к удивлению своему не нашла второй пикетчицы перед „Коронной“ Жилетной Компанией. Их всегда назначали на дежурства попарно. Удивление ее перешло в огорчение, когда она узнала, кто из „частных сыщиков“ стоит в подъезде. Никто не знал, как было его настоящее имя. Сам он называл себя Бреннаном, но девушки звали его „Мотыкой“.

Работницы боялись его больше, чем кого бы то ни было. Он считал себя остряком. У него была привычка, сидя у подъезда, откидываться со стулом к стене и, зажегши трубку, развлекаться своими попытками заставить девушек покраснеть. Язык его не знал никаких границ в мерзких и непристойных выражениях.

— Заходите сюда, милашка. Укройтесь от дождя,—сказал он, увидев Иетту.—На стуле хватит местечка для двоих.

Иетта сделала попытку не слушать его и принялась расхаживать, как часовой, взад и вперед перед дверью. Она даже радовалась, что идет дождь. Иной раз в хорошую погоду собиралась целая толпа развращенных зевак, чтобы послушать остроумные шуточки Мотыки.

— Очень неприятно выходить на работу, крошечка, в такой день, как сегодня,—обратился он к ней снова, когда она проходила мимо.—Давайте, зайдемте-ка в ресторанчик и дернем чего нибудь. Там наверху миленькие теплые комнаты.

Иетта чувствовала, что она не дрожала бы так сильно, если бы не этот холодный, язвительный голос. Она решила, что с ее стороны было бы трусостью позволить ему отогнать себя на такое расстояние, чтобы слова его до нее не долетали. Это бы ему очень понравилось. Она ломала себе голову, почему нет другой пикетчицы.

— Не нужно быть такой гордячкой,—сказал он, когда она опять поравнялась с ним.—Первая девушка, которая была здесь сегодня утром, тоже пыталась быть гордой. Но она потом смягчилась. Что толку? Гораздо лучше зайти и выпить, как и та девушка сделала.

Иетта знала, что он лжет. Но, господи, как холодно! Утром она позавтракала досыта яйцами и горячим кофе. До полудня ей не захочется есть и кроме того она так близко от дома, что может забежать туда ко второму завтраку. Некоторые девушки вечно голодают. У очень немногих из них найдется теплая одежда для такой погоды. Как они выдерживают? Она пожалела, что не спросила фамилии девушки, назначенной в пикет к „Коронной“.

— Мне было страшно ее жалко,—продолжал Мотыка.— Господи, вот она проголодалась! Посмотрели бы вы, как она ела. Тоже очень хорошенькая девочка. Теперь она сладко спит.

Разумеется, это была ложь. Но Иетта чувствовала, что ей становится все холоднее и холоднее. Мотыка поднялся и пошел к ней. Она старалась не замечать его, но ей страшно хотелось убежать от сыщика.

— Пойдемте,—сказал он.—Ну, что за смысл изображать из себя дуру? На улице ни души. Сегодня скэбы не являются. Зайдемте в ресторанчик и подружимся.

Иетта дошла до конца своего участка, машинально повернулась и снова пошла к тому месту, где стоял сыщик.

— Чувствительная девочка,—сказал он.

Но она прошла мимо него, словно он был фонарным столбом.

— Прекрасно, — проворчал он. — Очевидно, нужно пойти и разбудить вашу приятельницу. У вас заняло бы не больше получаса, если бы вы захотели пойти со мной, вместо того, чтобы...

Нет никакой надобности упоминать все то, что он сказал.

Он направился через улицу. Иетта не могла удержаться, чтобы не обернуться и не посмотреть, как он входил в распахивающуюся в обе стороны дверь. Он уловил ее взгляд и поманил ее рукой. Страх Иетты перешел в гнев. Конечно, она не верила, чтобы он убедил одну из девушек их союза пойти с ним в „салун". Но еще гнуснее, что он делает вид, будто это так и было. Хоть бы кто-нибудь убил этого скота.

Только тогда Иетта увидела одну из забастовщиц—маленькую миссис Мусковиц — торопливо идущую по улице. Иетта кинулась к ней навстречу.

— Это вы назначены сюда?—спросила она нетерпеливо.

Миссис Мусковиц раскашлялась и только могла утвердительно кивнуть головой. Иетта чуть не закричала от радости. Итак, история, рассказанная Мотыкой, оказывается в конце концов ложью.

— Мне очень жаль, что я опоздала,—произнесла маленькая миссис Мусковиц хрипло, потому что у нее „был бронхит",—

но я достала немного денег утром и мне нужно было купить кое-что для ребенка.

Иетте было достаточно одного взгляда, чтобы увидеть, откуда появились деньги: миссис Мусковиц заложила свою шаль. Неоднократно они бывали в пикетах вместе, и Иетта знала историю маленькой женщины. За три года перед тем она вышла замуж за молодого живописца вывесок. Не успел еще миновать медовый месяц, как он начал кашлять. Умер он перед тем, как родился ребенок. И когда миссис Мусковиц оправилась настолько, чтобы снова приняться за работу, вся обстановка их маленькой квартирки пошла на уплату по счетам доктора. Заложив кое-что и продав обручальные кольца, она получила возможность устроиться на чердаке. Ребенка она поместила в ясли и нанялась на работу. А теперь она кашляла. Когда, кроме того, у вас бронхит, то кашлять очень мучительно. Так как шали у нее не было, то тонкая кофточка промокла и прилипла к телу. Иетта могла видеть, как конвульсивно двигаются у нее на спине мышцы, когда она кашляет.

— Слушайте, миссис Мусковиц, — сказала она авторитетно.—Вы пойдете домой. Вам не следовало бы выходить в такой день. Вы простудитесь на-смерть. Сегодня тут нечего делать. Я справлюсь и одна.

— Вам-то хорошо говорить, Иетта, — отвечала миссис Мусковиц. — Вы можете выступать с речами, работать в бюро и делать кучу всяких вещей для союза. А я только и могу работать в пикете. Я бы не имела возможности платить за помещение, не будь „пособий". Я должна что-нибудь делать.

Из „салуна" вышел Мотыка, увидел их вместе и, понимая, что двух женщин вместо одной не так забавно мучить, задвинул стул поглубже в подъезд и проклял скверную погоду.

— Я скажу вам, что вы могли бы сделать, — продолжала Иетта спорить с миссис Мусковиц. — Это будет гораздо лучше, чем стоять здесь. Пойдите в комитет и сварите кофе. Вы передадите мисс Трэн мои слова, что сегодня так холодно, что она должна послать кофе девушкам, дежурящим на улице. Раздобудьте у кого-нибудь ведерки и чашки, а мальчик миссис

Вайнштейн разнесет кофе. Девушки с удовольствием попьют горяченького кофейку, а полицейским крючкам будет завидно смотреть, как мы пьем. Готовить кофе гораздо лучше, чем стоять здесь. На улице никого нет. Я прекрасно справлюсь тут.

— Мне противно оставлять вас одну с этой гадиной.

— О,—засмеялась Иетта с веселым видом, хотя в глубине души ей не так было весело.—Брань на вороту не виснет. Ну, бегите.

Пока миссис Мусковиц колебалась, взгляд ее упал на „скэба".—Смотрите!—шепнула она. У противоположной тумбы стояла ширококостная молоденькая женщина, лет двадцати, бедно одетая и, повидимому, очень испуганная. Она смотрела вверх на объявление, выставленное в окне „Коронной" Жилетной Компании, гласившее о том, что нужны работницы. Поглядывала она и вниз на двух женщин, стоящих у дверей. После нескольких минут, проведенных в нерешительности, она направилась через улицу.

— Бегите в комитет и позаботьтесь, чтобы кофе был готов,— сказала Иетта.—Я поговорю с ней.

— Нет, — ответила миссис Мусковиц. — Пустите меня. А потом я пойду. Мне хочется что-нибудь сделать.

Она бросилась к женщине. Мотыка, закутавшись в пальто и стоя спиной к улице, не видел приближения „скэба". Незнакомка, должно быть, читала в газетах лживые сообщения о том, как нападают на штрейкбрехеров. Поэтому она была страшно перепугана и, увидев, что к ней приближается миссис Мусковиц, пронзительно вскрикнула. Мотыка, не видевший происшедшего—если бы мы пожелали найти какое-нибудь оправдание для его поведения—мог и в самом деле подумать, что маленькая миссис Мусковиц напала на взвизгнувшего молодого „скэба". Услышав вопль, он вскочил со стула и ринулся на миссис Мусковиц. Та, вообразив, что он хочет ее ударить, подняла руку, чтобы защитить лицо. Мотыка схватил эту руку и, свирепо вывернув ее, заставил Мусковиц упасть на колени.

— Ах, ты, шлюха! Ах, ты..! Ах, ты..!—заревел он и сразмаху ударил ее под ребра своим тяжелым сапогом.

У Иетты все завертелось перед глазами, как говорят в мелодрамах. Что-то перевернулось у нее в голове. Мелькнувшее за несколько минут перед тем, скорее чисто платоническое пожелание, чтобы кто-нибудь убил этого скота, превратилось в страстное, мучительное намерение сделать это самой.

И вот в тот момент, когда сапог его ударялся в бок миссис Мусковиц, Мотыка почувствовал, что Иетта неожиданно обрушилась на него всей своей тяжестью. Она скорее прыгнула на него, чем толкнула. Если у нее было какое-нибудь определенное намерение, то она хотела задушить Мотыку. Внезапный толчок сбил его с ног — он стоял на одной ноге—и когда он рухнул на землю, то голова его с неприятным стуком ударилась о камни мостовой. Если бы на нем не было толстой шапки, то от удара наверное раскололся бы череп. Во всяком случае удар ошеломил его. Лицо его страшно побледнело. Скэб удирал вверх по улице, слишком перепуганный, чтобы оглядываться назад.

— Надеюсь, он мертв,—сказала Иетта с судорожно сжатыми кулаками.

Но миссис Мусковиц пощупала его сердце и покачала головой.

— Наверное?—спросила Иетта.

— Да. Сердце у него бьется. Пощупайте сами.

— Я не дотронусь до гадины даже ногой,—сказала Иетта,— пойдемте.

— Нас никто не видел, кроме скэба, — сказала миссис Мусковиц.

— Пойдемте же,—повторила Иетта.—Пойдем в комитет.

Ее ничуть не заботило, видел ли ее кто-либо или нет. Она хотела убить человека и жалела, что ей не удалось этого сделать. Она читала рассказы об угрызениях совести убийц. А теперь она знала, что все это ложь. Она никогда не стала бы жалеть, если бы убила эту гадину.

Когда они поворачивали на Бродвэй, миссис Мусковиц, все время оглядывавшаяся назад, вдруг схватила Иетту за руку.

— Он поднимается, — сказала она,—там ему кто-то помогает.

Они обе выглянули из-за угла и увидели, что Мотыка с помощью какого-то прохожего поднимается с трудом на ноги и в изумлении потирает себе голову.

— Пойдемте,—сказала Иетта.—Через минуту он поднимет шум. У меня есть десять центов. Сядем в вагон.

Они кинулись, чтобы поспеть на поезд подземной железной дороги. Ехали они молча; миссис Мусковиц нянчилась со своей ноющей рукой и ушибленным боком. Иетта, удивленная тем спокойствием, которое она испытывала теперь после внезапного тайфуна ярости, все время повторяла:—Я хотела его убить, я хотела его убить.

В Комитете они застали Исидора Брауна, который только что вернулся из здания суда на Эссекс Маркет, где он выступал по делу целой серии арестованных утром пикетов.

— Пройдите в комитетскую комнату,—спокойно обратилась к нему Иетта.—С нами произошла неприятность.

— В чем дело?—спросил он профессиональным тоном, запирая за собой дверь.

— Дело-то плохое, — отвечала Иетта. — Миссис Мусковиц и я, мы обе были в пикете у „Коронной". И Мотыка... знаете, бросился на нее, а я... знаете... сбила его с ног, и он свалился без чувств.

Браун вскочил со стула вне себя от изумления.

— Вы? Вы сбили с ног Мотыку, и он свалился без чувств? Да вы шутите!

Но Иетта утвердительно пожала плечами. Тут Браун начал смеяться. Он знал Мотыку. Через каждые несколько дней ему приходилось встречаться на суде с этим драчуном и слушать, как он хладнокровно лжесвидетельствует. От девушек он слышал об его жестокости. И вместе с тем ему казалось, что он знает Иетту. Ее первая речь на балу у „отделывающих юбки" привлекла на себя его внимание. Он с возрастающим интересом следил за ее развитием за четыре недели забастовки. Больше всего на него производил впечатление ее спокойный, ровный характер. Мысль, что она сбила с ног Мотыку, была прямо нелепой.

Но миссис Мусковиц подтвердила слова Иетты. По мере того, как он постепенно узнавал от них все подробности происшедшего, он становился все серьезнее и серьезнее. Враг впервые получал вполне достаточные основания для обвинения их в насилии. Конечно, этим не замедлят воспользоваться в самых широких размерах.

— Как вы думаете, он знает вас в лицо?—спросил Исидор Иетту.

— Наверное.

Браун спохватился, что его вопрос глуп. Об Иетте кричали в газетах больше всего, она была самым известным лицом из всех имеющих какое-нибудь отношение к стачке.

— Они явятся за вами с приказом об аресте,—сказал он.

Иетта пожала плечами.

— Там были еще свидетели?—спросил он.

— Только скэб,—сказала миссис Мусковиц.—Она убежала оттуда. Я думаю, она слишком перепугалась, чтобы вернуться назад. И еще человек, помогавший ему подняться.

В течение нескольких минут Браун сидел, опершись подбородком на руки и обдумывая план действий.

— Придется соврать,—произнес он наконец.—Вот как все произошло. Миссис Мусковиц разговаривала со скэбом. Мотыка завернул ей руку и ударил ее. Все это правда. Вы хотели их разнять. Это тоже правда, если считать...

— Я хотела его убить,—перебила Иетта.

— Но вам нечего рассказывать это судье! Вы хотели их разнять, он поскользнулся на мокрой мостовой и посадил себе шишку на голову. Вы обе бросились бежать, боясь, что он на вас кинется. На Бродвэй вы сели в вагон и приехали прямо сюда. Посмотрим-ка... он взглянул на часы:—вы пришли сюда приблизительно в одиннадцать тридцать.

— Я лучше расскажу всю правду,—стала настаивать Иетта,—я только повторю судье те слова, что мне говорила эта гадина, и расскажу, отчего я пришла в бешенство.

— Этого вам нельзя делать. Во-первых, судья вовсе не станет вас слушать. А во-вторых, он вам не поверит. Они только

и ищут случая, чтобы сказать, что мы прибегаем к насилию. Зачем вы это сделали? Ну, да впрочем, нечего об этом спрашивать. Сделанного не вернешь. Придется нам соврать.

Иетта, повидимому, не поддавалась на убеждения.

— Не только будет для вас хуже,—продолжал Браун,—но и для нас всех, если вы скажете правду.

— Ну, тогда хорошо,—сказала Иетта неохотно.—Я буду врать.

В эту минуту в комнату ворвалась, не постучавшись, Мабель.

— Здесь Мотыка и какой-то штатский с приказом об аресте Иетты,—закричала она.—Где бы нам ее спрятать?

— Нам ее не надо прятать,—сказал Браун.—Мы не желаем, чтобы о нас подумали, что мы боимся этого обвинения.

— Но в чем же дело?—спросила она.

— А видите ли, Мотыка был, как всегда, навеселе,—сказал Браун.

Он поскользнулся на мокрой мостовой и набил себе шишку на голове. Мне думается, он собирается предъявить к нам обвинение в нападении, воспользовавшись этим случаем.

— Что?—спросила изумленная Мабель.—Ему взбрело в голову сказать, что Иетта на него напала?

Иетта чуть не сказала:—Да это так и было,—но Браун незаметно толкнул ее, и она смолчала.

— Идите к ним и скажите, что мы без сопротивления сдаемся,—произнес Браун.

Как только Мабель вышла, он торопливо повторил придуманную версию, которую они должны поддерживать.

— Никому не говорите правды,—настаивал он.—Никому решительно. Даже мисс Трэн. Мы проведем их за нос. И чем больше народу поверит, что мы говорим правду, тем лучше удастся наша штука.

Они вышли в главную комнату, и Иетта была формально подвергнута аресту.

— А вот и другая женщина,—сказал Мотыка, увидев миссис Мусковиц.

— У меня нет ордера на ее арест,—сказал человек в штатском. Он не чувствовал особенной симпатии к негодяю, который корчил из себя сыщика.

— Во всяком случае, она пойдет в суд в качестве свидетельницы,—сказал Браун.

В ту же секунду он увидел Лонгмэна, репортера и луч надежды. Он бросился к ним.

— Лонгмэн,—сказал он,—они арестовали Иетту Раевскую, предъявив к ней невероятно глупое обвинение в том, что она напала на этого прохвоста, Бреннана, которого девушки называют Мотыкой. Мне хотелось бы, чтобы вы пошли с нами в суд. Я могу использовать вас, кажется, в защиту Иетты. А вам—повернулся он к репортеру,—тоже, пожалуй, стоит пойти, вы не пожалеете потраченного времени. Я думаю, что для вас найдется хороший материал.

И вот небольшая процессия вышла на улицу. Впереди шла Иетта, сопровождаемая по бокам Мотыкой и сыщиком. Браун, миссис Мусковиц, Лонгмэн и репортер замыкали шествие.

У Мотыки едва ли было какое-нибудь более искреннее чувство, чем страх и ненависть, которые он питал к Брауну, поэтому он держал язык за зубами, пока Браун был неподалеку. Но как только стальная дверь тюрьмы на Эссекс Маркет гулко захлопнулась за ними, как только служащий канцелярии занес в книги фамилию, возраст и адрес Иетты, Мотыка дал волю своей разнузданной ярости. Иетту отвели в „комнату для допроса“, но по совету Брауна девушка отказалась отвечать на все вопросы. Она забилась в угол и старалась не слушать, что ей говорит сыщик. Она выросла в таком обществе, где мужчины не слишком заботятся о тщательном выборе сильных выражений, но ей никогда в жизни не приходилось слышать ничего подобного.

Иетте было бы страшно трудно поведать кому-либо, даже Мабель—что для нее значила эта четверть часа. Собственно говоря, она не боялась. Пожалуй, она была готова к этому. Ей и раньше приходилось слышать выражения Мотыки. Девушки рассказывали ей, что во время заключения они страдали больше

всего оттого, что им приходилось выслушивать оскорбления, непристойности и бешеные выкрики „пьянчуг“.

Хотя Иетта не была ни испугана, ни изумлена, но все существо ее содрогалось от выслушиваемых слов. Ее тело, казалось, сжималось в комок от усилия избежать заразы при соприкосновении с такой мерзостью. Долгие годы потом она внезапно бледнела при одном воспоминании об этом потоке ругательств. Один раз Мотыка подошел к ней вплотную, словно собирался ее ударить, но сыщик оттолкнул его прочь. Иетта почти жалела, что этого не произошло. Для нее было бы облегчением, если бы он ударил ее своей собственной рукой. Ведь все-таки Иетта очень мало страдала ради самой себя. Она приносила себя в жертву за многое множество. Ее мало задевало все то, что с ней делали, но в ее лице посягали на все бесчисленное множество „участников процесса“—женщин, занятых тем же ремеслом, которым занимается и она, на ткачей сукна, на обрабатывающих шерсть, на тех, кто взращивает пшеницу для хлеба, на тех, кто делает кровати, на которых они спят. Она чувствовала себя каким-то чутким инструментом для передачи звука. Эти язвительные, жестокие слова распространятся до самых отдаленных углов земли, они заставят покраснеть от стыда всю меньшую братию на земном шаре, точно так же, как удар сыщика, который он нанес миссис Мусковиц в бок, заставил всех их охнуть от боли. Один раз она подняла на него взор; она хотела спросить его, сколько ему платят, если он считает, что стоит труда обращаться так с ее народом. Но она знала, что спрашивать бесполезно—он все равно бы ее не понял.

Затем она услышала разносившийся эхом по коридору голос смотрителя, выкрикивавшего ее имя. С точки зрения придуманного Брауном плана защиты, арест Иетты произошел в удачное время дня. К полудню утренний список дел, назначенных к слушанию, исчерпывался, и Браун мог добиться назначения дела Иетты сейчас же к слушанию. Самая малейшая просрочка дала бы возможность обвинительной власти найти каких-нибудь свидетелей, видевших, как Иетта ударила Мотыку.

Иетта хотела рассказать судье всю правду. Она согласилась солгать только потому, что Браун настаивал, что такое показание повлечет за собою опасность для успешного исхода стачки. Но когда она была введена в залу судебных заседаний, то все угрызения совести оставили ее.

Говорить правду, все равно, что ссориться—тут должны быть две стороны. У русского художника, Николая Ге, есть полотно, называемое: „Что есть истина?“ На нем изображен Понтий Пилат, задающий этот вопрос Христу. И вам сразу же становится понятно, почему арестованный не мог ответить. Истина не является простым изъяснением некоторых слов. Ни одно из тех слов, которыми униженный, подвергнутый бичеванию, увенчанный терновым венцом Христос мог поведать о своей истине, не проникло бы сквозь толстый череп тупого и спесивого римского проконсула.

Иетта, находясь в несколько сходном положении, сразу поняла, что эта мрачная зала заседаний не местопребывание истины. Судья Корнетт, перед которым она предстала, хотя еще и молодой человек, был совершенно лыс. Он сидел, сгорбившись, в большом кресле, и складки тяжелой черной мантии придавали его фигуре бесформенный вид. Ногти на руках были тщательно отделаны. Кожа у него была выхолена, но тело под нею дрябло. Лицо и руки—как у гурмана.

Письмоводитель прочел обвинительный акт. Иетта обвинялась в нападении в самом подлинном смысле слова, произведенном ею в этот самый день и заключающемся в том, что она с заранее обдуманным намерением ударила по голове некоего Михаила Бреннана опасным орудием, как, например, кастетом.

— Признает себя виновной или нет?

— Не признает,—отвечал Браун.

Человек в штатском показал, что ему ничего не известно по данному делу, кроме того, что он предъявил приказ о задержании, как было указано судом. Ответчицу он застал в стачечном комитете работниц шьющих жилеты.

Человек, который помог Бреннану подняться, был приказчиком в одном из соседних оптовых магазинов. Он был послан

с телеграммой, и на поливаемой дождем пустынной улице не заметил никого, кроме распростертого на земле сыщика, который только что начал приходить в сознание, когда свидетель подошел к нему. Он помог лежащему на улице человеку подняться на ноги; вот и все, что ему известно.

Затем его сменил Михаил Бреннан, иначе Мотыка. Обыкновенно он представлял собою на суде очень заметную величину. Он чувствовал себя среди друзей, он чувствовал какое-то уверенное сродство с полицейскими, с писцами и даже с самим судьей. Наверное, все они знали, что он клятвопреступник, и очень немногие из них подали бы ему руку. Но вместе с тем он являлся одной из необходимых частей великой машины, поддерживающей существующий социальный строй, который всех их оплачивал. В этот день сыщик чувствовал себя не в своей тарелке. Прежде всего у него отчаянно болела голова. Во-вторых, он был в такой неистовой ярости, что едва мог сдерживать свой язык. А в третьих, он знал, что его будет всячески допекать Браун. И, кроме того, он сверх обыкновения боялся допроса, ибо не был уверен в том, что, именно произошло на самом деле. Ему припоминалось, что он бил миссис Мусковиц, у него осталось смутное впечатление, что Иетта набросилась на него—а потом он мог только вспомнить, что кто-то подошел к нему и помогал подняться на ноги.

— Ваша честь, — начал он,—сегодня утром я находился у здания „Коронной“ Жилетной Компании, исполняя, как всегда, свои служебные обязанности. Около меня никого не было, кроме вот этой девушки, Раевской, и женщины, которую она привела с собой в качестве свидетельницы. Так вот, ваша честь, я вошел в подъезд, чтобы зажечь трубку, и как раз в эту минуту идет скэб...

— Ваша честь,—перебил Браун,—некоторые из моих клиентов были отправлены в тюрьму за то, что пользовались таким термином. Здесь же в суде было вынесено решение, что выражение это оскорбительно и грубо.

— Это слово сорвалось у меня с языка, ваша честь,—сказал, смутившись, Мотыка.

— Письмоводитель,—распорядился судья,—вычеркните это слово из протокола, а вы будьте осторожнее, Бреннан.

— Слушаю-с, ваша честь. Я говорю, идет какая-то почтенная женщина в поисках работы—собственно говоря, не то, чтобы женщина, а так, молоденькая девушка. Я ее не видал, потому что зашел в подъезд и зажигал трубку, как я уже упоминал вашей чести, но услышал ее вопль и, выбежав на улицу, увидел вот ту женщину, которая набросилась на нее, нанося ей удары, по чему попало...

Миссис Мусковиц хотела было запротестовать со своего места на скамье, но Лонгмэн по знаку Брауна удержал ее.

— Так вот, ваша честь, я бросаюсь и хочу арестовать женщину, но другая — вот эта девушка, Раевская, кидается на меня с кастетом и сбивает меня с ног, ваша честь. Первый, кого я заметил, придя в себя, был этот господин, который помогал мне встать. Сколько времени я провалялся там без чувств, ваша честь, не знаю. Я отправился прямо сюда и получил ордер на арест, а затем чиновник Шихан и я, мы забрали ее в помещении стачечного комитета, как он докладывал вашей чести.

— Не желаете ли задать вопрос свидетелю, мистер Браун?

— Бреннан, — начал тот,—вы видели кастет в руке ответчицы?

— Нет, сэр Если б я знал, что у нее кастет, разве бы я допустил, чтобы она подкралась ко мне сзади? Нет. Я бы тогда не спускал с нее глаз.

— На основании чего вы думаете, что у нее был кастет?

— На основании шишки на голове.—Он перегнулся через скамейку, чтобы судья мог сам убедиться в этом.—Она не могла бы посадить такую шишку голой рукой, ваша честь.

— Действительно, это похоже на кастет,—сказал судья.

— А не думаете ли вы, Бреннан, что удар мог быть нанесен вам каким-нибудь камнем?

— Нет. Не камнем—я бы видел, как она поднимала его с земли. Она хватила меня кастетом,—настаивал он упрямо.

— Откуда вы знаете, что это не был кусок газовой трубы?

— Для чего задавать такие вопросы?—спросил судья нетерпеливо.—Преступление было бы не менее тяжко, если бы удар был нанесен куском газовой трубы.

— Ваша честь,—отвечал Браун,—это очень важный вопрос. Бреннан не знает, чем ему был нанесен удар, а я знаю. Я уверен, что мне удастся, задав еще несколько вопросов, убедить суд, что Бреннану это не известно. Бреннан,—обратился он к свидетелю,—вы говорите, что зашли в подъезд, чтобы зажечь трубку. Когда вы выскочили на улицу, чтобы броситься на пикет, видели ли вы этого господина, идущего по улице? Профессор Лонгмэн, не будете ли вы любезны встать? Бреннан, видели ли вы этого господина, идущего по улице вот с этой тростью в руке?

Бреннан ломал себе голову, зачем Лонгмэн пришел на заседание суда. Он взглянул на него с подозрением.

— Нет,—сказал он.—Я ни разу в жизни не видал этого человека, пока не зашел в стачечный комитет.

— Хорошо, Бреннан. Вполне ли вы уверены, можете ли вы присягнуть в том, что когда вы дали миссис Мусковиц пинка, то этот господин не сбил вас с ног, как вы этого заслуживали—как каждый настоящий мужчина должен был бы сделать.

— Я не давал женщине пинка,—сказал Бреннан.

— Вопрос не в этом. Уверены ли вы в том, что вас свалил с ног не профессор Лонгмэн?

На мгновение Бреннан растерялся. Ему трудно было поверить, что это Иетта сбила его с ног и он свалился от этого без чувств. Он ясно видел, что Браун старается уличить его в лжесвидетельстве. А совесть у него была нечиста.

— Если это он меня хватил,—заревел Бреннан,—то я ему покажу. Я был при исполнении служебных обязанностей.

— Пристав,—сказал судья,—озаботьтесь, чтобы этот господин не ушел из залы.

— Напрасная предосторожность, ваша честь,—сказал Браун.—Профессора Лонгмэна совершенно не было поблизости. Но мне кажется вполне ясно, что Бреннан абсолютно не знает, кто или что его ударило.

Пришедший вместе с ними репортер, не прикомандированный к суду постоянно, не побоялся громко расхохотаться.

— Я не имею больше вопросов,—продолжал Браун.—Не пожелает ли суд выслушать показание ответчицы о том, что̀ было на самом деле?

Иетта была приведена к присяге и рассказала все так, как ее научил Браун, гораздо спокойнее и проще, чем бывает с большинством людей, когда они говорят правду. Судья не мог поверить, чтобы человек, только что совершивший нападение с целью убийства, был в состоянии держаться столь хладнокровно при таком обвинении. Он знал Бреннана и был уверен, что тот, по всей вероятности, сейчас лжет. Он и сам поскользнулся сегодня утром на мокрой мостовой, когда его мотор остановился по пути из города. Судья поверил Иетте. Он, вообще говоря, верил тем забастовщикам, против которых выступали свидетелями Бреннан и другие „частные сыщики", но, зная прекрасно, чего ожидают от него те лица, от которых зависело его повышение, он посылал иных девушек в тюрьму. Он повертел карандашиком с минуту, задал Иетте несколько непоследовательных вопросов и с сожалением пришел к заключению, что ему едва ли удастся посадить ее по обвинению в нападении.

— Есть здесь еще какие-нибудь свидетели?—спросил он.

— Здесь есть миссис Мусковиц, которая была в пикете с обвиняемой,—сказал Браун.—Она рассказывает мне совершенно то же самое. Она сообщит все это и суду, если ваша честь прикажет. Но, пожалуй, это будет лишняя трата времени. Против моей клиентки нет никаких фактов. Бреннан доказал суду, что ему не известно происхождение удара. Взгляните на них обоих, ваша честь. Если вы думаете, что на земле найдется двенадцать таких человек, которые поверят, что эта хрупкая девушка напала на жалобщика, то, конечно, вы можете задержать ее впредь до разбора дела в окружном суде. Но я прошу суд освободить обвиняемую.

— Не столь поспешно, мистер Браун,—отрезал судья.—Если даже допустить, что ее маловероятное показание правдиво—в чем я очень сильно сомневаюсь—если даже допустить, что нет

достаточных оснований, чтобы задержать ее по обвинению в нападении, то все же она сама признается в противозаконных поступках, которые выражаются во вмешательстве в действия чиновника, производившего арест. Мне думается, вы удостоверите жалобу, Бреннан, под присягой.

Пока за конторкой письмоводителя составлялся протокол, судья разразился неофициальной филиппикой против забастовщиков. Большая часть его речи имела в виду миссис Мусковиц: только чрезвычайная снисходительность суда, говорил он, мешает ему отдать приказ об ее аресте; на самом же деле все объяснялось тем, что уже миновал час завтрака. Его тирады, которыми, повидимому, он сам невероятно восхищался, увидев, что репортер делает заметки,—были прерваны письмоводителем, передавшим ему новые бумаги.

— Иетта Раевская, доказано, что вы были сегодня утром перед „Коронной“ Жилетной Компанией в пикете, что̀ является запугиванием честных тружеников; доказано, что вы вмешались в действия чиновника Бреннана в то время, как он был при исполнении своих служебных обязанностей. Суд признает вас виновной в противозаконных поступках. Но чиновники сообщают мне, что вы впервые привлекаетесь к суду. По своему обыкновению я освобожу вас, если вы дадите мне обещание, что больше никогда не будете участвовать в пикетах. Иными словами, если вы снова будете приведены ко мне сюда, то я отправлю вас в тюрьму. Воспользуйтесь моим советом и ступайте работать. Леность всегда питает смуту. Обещаете ли вы больше никогда не участвовать в пикетах.

— Нет.

Судья порывисто вскочил с места.

— Десять дней исправительного дома!—прогремел он.

И когда Иетту выводили из залы, он стукнул по столу молотком, и письмоводитель объявил перерыв.

— У этой жидовочки гораздо больше пылу, чем я ожидал от нее,—говорил спустя несколько минут судья в своей комнате секретарю, который помогал ему надеть подбитое мехом пальто.— Не удивительно, если она на самом деле хватила по башке Брен-

нана.—Ему пришлось снова присесть, чтобы похохотать над такой мыслью.

— Не браните меня,—сказала Иетта Брауну, когда тот пришел в тюрьму и разговаривал с девушкой через решетку.— Я устала от лганья.

Уходя оттуда, Браун сказал себе, что это, именно, по-женски: справиться с крупной ложью и споткнуться на мелкой.

ГЛАВА XV.

В исправительном доме.

Днем Иетта была посажена в „фургон“ вместе с целой компанией „пьянчуг“ и проституток и отвезена на полицейскую пристань, где нужно было ждать переправы на Остров.

Она не представляла себе, как ее измучило напряженное состояние в течение целого месяца, пока не прошло возбуждение и она не очутилась на полицейском катере среди реки. Чувствуя полный упадок сил, она повернулась и, положив руки на спинку скамейки, уткнулась в них лицом. Почти сейчас же чья-то рука прикоснулась к ее плечу.

— Не относитесь к этому так серьезно, крошка,—произнес чей-то ласковый голос.—Тяжело только сначала, а потом вы привыкнете.—Она подняла голову и взглянула в лицо подкрашенной и увядшей жрицы веселья.

— Ох,—воскликнула женщина, несколько смутившись,—вы одна из этих забастовщиц. Что, вас били?

— Нет,—ответила Иетта.—Я дешево отделалась.

Женщина с минуту переминалась с ноги на ногу—ей не приходило больше в голову, что бы еще сказать. Она перешла на другую сторону катера и сообщила одной из своих старых знакомых, как ей было неловко „налететь на такую хорошенькую девочку“.

Иетта находилась в каком-то странном отупении. Потом она вспоминала с удивлением, как мало смутили ее неудобства тюремного заключения. Она едва обратила внимание на грязное, грубое

платье, которое ей было выдано. Унылая, тяжелая и бесцельная работа, состоявшая в мытье щетками каменных полов, показалась ей нереальной. Она едва заметила, какую пищу поставили перед ней за ужином. Есть ей не хотелось. А когда ей разрешили итти спать, то она так быстро забылась глубоким сном, что ее не тревожили насекомые и до слуха не долетал угрюмый шопот сотоварок по камере. Ум ее, донельзя утомленный всеми новыми мыслями и ощущениями, пользовался теперь отдыхом. Даже нервная система была слишком утомлена, чтобы чутко отзываться на все впечатления.

Прежде чем Иетта впала в этот блаженный сон без сновидений, арест ее начал производить в Нью-Иорке большое впечатление. Когда Браун вернулся с Лонгмэном в стачечный комитет после суда, то они встретились там с Мабель, собиравшейся итти в город на заседание совета. Заключение Иетты в тюрьму показалось ей верхом насилия в длинном списке обычных арестов. Ей и не снилось, как близко к истине было обвинение, предъявленное к Иетте. Десятки других девушек посылались в исправительный дом на основании лжесвидетельств. Но с Иеттой совсем другое дело. Иетта была одной из „близких“ к Мабель. За минувшие недели она стала „ее“ другом. Таковы мы все. В утренних газетах мы читаем, что тысячи китайцев, русских или мавров умирают голода. Быть может, мы посылаем чек в Красный Крест. Но если бы мы сами голодали или кто-нибудь из наших дорогих друзей подыхал с голоду, то это показалось бы нам чудовищно несправедливым.

В таком гневном настроении Мабель встретилась с дамами из совета. Для них Иетта была тоже гораздо более реальным существом, чем другие арестованные девушки. Как, их Иетта, их такая спокойная, с такими скромными манерами, с такими печальными глазами, с таким нежным голосом Иетта арестована за нападение на человека? Это невозможно! Со слезами на глазах Мабель уверила их, что это, однако, так и есть.

— Мы не можем этого допустить,—грозно сказала миссис ван-Клив, с треском складывая свой лорнет.—Это нелепо. Моло-

дая особа была принята у меня в доме. Я представила ее своим друзьям. Этого нельзя допустить.

— Хорошо, но что же нам делать?—спросила Мабель, на мгновение приходя в недоумение.

Со всех сторон посыпались самые дикие предложения. Наконец, миссис Карнер, дама, которая понравилась Иетте и по просьбе которой она рассказала о Гарри Клейне, предложила практический план.

— Нам нужно прибегнуть к помощи газет,—сказала она.— Поднимем на ноги печать.

— Ну, да, как же,—сказала Мабель в отчаянии,—господа газетчики смеются, когда я заявляюсь к ним в контору. Они или не интересуются или принадлежат к другому лагерю.

— Они смеются, потому что привыкли к вам. Вы уже не представляете для них ничего особенного,—продолжала миссис Карнер.—Но они не будут смеяться, если с ними заговорит миссис ван-Клив.

— Как? Что?—испуганно спросила миссис ван-Клив.

— О! Вам не придется даже ездить по их конторам; вы можете послать за ними. Я когда-то работала в газете и знаю это. Вам не придется к ним ехать. Они сами придут. Издатели будут брать у вас корм из рук. Они сделают для вас все, что хотите, в надежде, что вы, быть может, пригласите их жен на обед. Поручите своему секретарю позвонить в редакции газет, и целая сотня специальных корреспондентов раскинет лагерь у ваших дверей.

— Ну, вот действительно! Что за мысль!—фыркнула миссис ван-Клив.

Все дамы с различной степенью раболепства стали уговаривать ее согласиться. Но газетная известность не очень ее прельщала.

— Нет,—повторяла она десятки раз.—Я не могу этого сделать. Нелепо! Нелепо!

Но она почти не слышала уговоров. Перед взором ее, устремленным куда-то вдаль за пределы комнаты, витал образ маленькой девочки, умершей много лет тому назад—единствен-

ного существа, которое за всю ее жизнь не имело ничего общего с мирской суетой. И у этой ее дочурки были почти такие же глаза, как у Иетты. Да. Очень похожие. В самом деле, они у нее были почти совершенно такие же. И вот в ту минуту когда дамы начинали уже терять всякую надежду, она внезапно произнесла решительным тоном.

— Да. Я это сделаю. Мой секретарь на улице в моторе. Попросите ее сюда.—Джэн,—сказала она, когда появилась эта весьма деловитая и уже поблекшая молодая женщина:—две вещи. Во-первых, список всех тех дам, которые встречали у меня в доме эту маленькую работницу. Во-вторых, позвоните по телефону всем местным издателям. Мне нужно сделать одно сообщение, сообщение личного характера. У меня, сегодня вечером. Утренние газеты. Можете воспользоваться телефоном в конторе. Так будет хорошо.

На следующее утро первые столбцы газет были разделены между Иеттой и миссис ван-Клив. В двухцентовых и трехцентовых газетах гораздо больше места занимала Иетта, в одноцентовых замечалось обратное. Во всяком случае, история Иетты—более или менее разбавленная описаниями гостиной миссис ван-Клив, ее платья и бриллиантовой диадемы: она уделила газетным корреспондентам несколько минут, так как собиралась уезжать в оперу, — была прочитана почти всеми и каждым в аристократических кварталах Нью-Иорка. Иетта неизменно изображалась очень юной в нескольких случаях, всего тринадцатилетней девочкой. О Мотыке обычно упоминалось, как о бывшем призовом бойце—клевета по адресу лиц, принадлежащих к этой профессии, которая во всяком случае может похвастаться физическим мужеством.

Среди других, прочитавших статью, был и главный начальник тюремного управления. Он вызвал к телефону заведующего исправительным домом.

— Этот осел Корнетт поднял на ноги весь ад на Эссекс Маркет. Видели газеты? Так вот, к вам будут приставать сегодня с утра полторы тысячи репортеров, которые захотят проинтервьюировать эту Раевскую. Разрешения им не давать. Но они

все равно набросятся на нее потом, когда она выйдет из тюрьмы; она будет рассказывать всем и каждому о своих впечатлениях от тюремной жизни. Сделайте ей какую-нибудь поблажку. Кормите ее. Будь она трижды проклята, не давайте ей повода лягнуть нас! Поняли?

Было приблизительно девять часов, когда это поручение полетело по проволоке. Спустя несколько минут смотритель входил в женский флигель исправительного дома. Там было около пятидесяти заключенных, которые, стоя на коленях, терли щетками каменный пол.

— Иетта Раевская.

Она поднялась с изумлением и направилась к нему, задавая себе вопрос, какую еще новую штуку собираются с ней проделать.

— Умеете обращаться с детьми?—спросил он.

Иетта была слишком удивлена вопросом, чтобы ответить.

— Ладно,—произнес он,—по вашему виду что-то не похоже, что вы перережете им глотки. Моей жене нужна нянька. Пойдемте.

— Нет ли у вас какого-нибудь платья, которое пришлось бы ей впору?—спросил он у пожилой надзирательницы, стоявшей у дверей.—Чистого. Не нужно такого, как здесь в исправительном доме. Вымойте ее. Клопов нам не надо. И сейчас же пришлите ее ко мне.

— Вот так штука,—произнесла матрона, неожиданно проникаясь к Иетте подобострастным уважением.—Почему вы мне не сказали, что у вас есть протекция?

Так Иетта была выведена из ада раньше, чем ее утомленные чувства вполне проснулись, чтобы понять его ужасы. Дом смотрителя был за тюремной стеной. Около него была веселая лужайка, с коротко подстриженной травой, с хорошо содержимыми цветочными клумбами, потому что труд „вверенных попечению“ был даровой. У детей была уже няня и Иетте совершенно нечего было делать. Со вчерашней бурей закончилась зима, и над Нью-Иорком стояла почти летняя жара. Иетта проводила большую часть своего времени, сидя на деревянной скамейке

под большим вязом. Оттуда открывался чудный вид через оживленную реку на еще более оживленный город.

Настоящая нянька задирала нос перед Иеттой и не желала с ней разговаривать, что избавляло ее от глупой болтовни. Никто не обращал на нее никакого внимания, кроме трехлетнего сынишки смотрителя, который постоянно удирал от своей няни и старался забраться к Иетте на колени. Ее хорошо кормили и отвели удобную постель. Правда, со стороны ее новых хозяев было довольно нелюбезно стаскивать ребенка с колен Иетты, когда он на них забирался. Но в других отношениях с ней обращались очень хорошо. Единственные стеснения, которым она подвергалась, заключались в требовании не уходить с лужайки и не читать газет.—От них у нее голова распухнет,— сказал смотритель. Это запрещение имело то преимущество, что она оставалась в стороне от волнений, связанных с забастовкой.

Больше всего другого Иетта нуждалась в отдыхе и спокойствии, чтобы собраться с мыслями. Первый день она провела в дремоте. На второй ее ум проснулся. Иетта боялась, не позабыла ли она чего-нибудь. Так много случилось с ней за минувший месяц. Десять дней казались ей бесконечно длинным сроком, поэтому она начала с самого начала. Ее самые ранние воспоминания были связаны с мрачной маленькой книжной лавочкой и с отцом. Утро прошло в приведении в порядок воспоминаний о нем. Когда ее позвали ужинать, она дошла в обзоре своей жизни до первого бала Рахили. Потом она уселась около маленького слухового окошка в своей спальной комнате и стала смотреть на город, окутанный спустившимися сумерками; она глядела на огни на реке и на звезды, плывущие над головой, и мысленно вернулась к своему знакомству с Гарри Клейном.

Она многому научилась за тот месяц, который отделял ее от ухода из мастерской. Из слов, которые ей приходилось слышать то там, то здесь, из всего того, что она видела, Иетта получила более ясное понятие о том, чего она избежала. Она вообразила, что любит Гарри Клейна! Иетта пошла спать, убедившись в том, как ложно было ее представление о любви. Это

слово получило теперь совершенно иное содержание, когда она увидала Вальтера и Мабель вместе и услышала сплетни девушек. Мысль о том, что два таких человека влюблены друг в друга, показалась ей поразительной.

На следующее утро после завтрака она снова уселась в тени вяза и опершись подбородком на руки, стала размышлять о забастовке. У нее была замечательная память на слова и целые фразы. Она могла составить подробный отчет о всех речах, слышанных ею за этот месяц. Многие из ораторов, выступавших на митингах, делали попытки объяснить, какое значение имеет стачка. Она вспомнила различные и часто противоречивые объяснения и, дополнив их своим собственным опытом и наблюдениями, пришла к собственному толкованию. Многое из него явилось прямым наследием, доставшимся ей от отца. Из всех ораторов на нее больше всего произвели впечатление двое: Лонгмэн и Браун. Вместе с первым она была убеждена в том, что на всех, кто любит свободу, лежит священная обязанность бороться за нее. А ясное, сжатое сообщение Брауна о социальной организации показалось ей вполне разумным. Она хотела бы, чтобы ей удалось как можно скорее заняться изучением социализма.

Тем временем буря, поднятая ее арестом, быстро разрасталась. В это утро в газетах было помещено открытое письмо, которое главный начальник тюремного управления адресовал дамам из Лиги Женского Рабочего Союза. Он был вынужден это сделать, потому что в вечерних газетах были опубликованы интервью с другими забастовщицами, побывавшими в исправительном доме. Они подробно передавали поразительные сведения об отвратительном помещении, о грубой пище, о насекомых, о темных камерах и об унизительном обществе, которое их окружало. Письмо главного начальника было проникнуто благородным негодованием. Написано оно было его секретарем. Он доказывал неопровержимым образом, что все обвинения, предъявляемые забастовщицами, есть злостная клевета и отсылал дам— членов совета и вообще всю публику к 213 странице последнего отчета Тюремной Ассоциации, которая воздавала должную спра-

ведливость современному санитарному состоянию, разумному питанию и здоровому режиму исправительного дома.

„Что же касается дела мисс Раевской, вокруг которого концентрируется эта агитация, то главный начальник просит заметить, что он ни в коем случае не является ответственным за заключение в тюрьму. В пределы его компетенции совершенно не входит суждение о судебных решениях. Он должен принять любое лицо, которое поручается его охране. В ответ на запрос начальника смотритель исправительного дома сообщает, что вместо того, чтобы переносить фантастические пытки, которые, как некоторые истеричные нарушительницы закона стараются убедить публику, якобы имеют место в исправительном доме, мисс Раевская назначена на службу, в качестве няни, к детям смотрителя и живет в его доме, как член семейства—пожалуй, с большим комфортом, чем она жила когда-либо раньше.

Так как главный начальник не имеет намерения просить публику отнестить с большим вниманием к его словам, чем к историям, сообщаемым в безответственных газетах, то он приглашает Лигу Женского Рабочего Союза избрать комиссию, которая могла бы посетить мисс Раевскую в исправительном доме и сделать об этом сообщение публике“.

Пока Иетта размышляла над значением стачек и военных действий в области промышленности, весь Нью-Иорк спорил об ее деле и читал о том, что думают разные светские дамы относительно того, как обращаются с их любимицей. Мотыка потерял работу в качестве частного сыщика и ему пришлось снова заняться прежней профессией—грабежами на большой дороге.

После второго завтрака Иетта перешла к самой труднейшей проблеме: почему ей захотелось убить Мотыку? Инстинктивно она чувствовала, что Лонгмэн понял бы это. Но ни Мабель, ни Браун не поняли бы—Браун меньше всех. Ее поступок не соответствует социалистическому учению. Никто из ораторов не настаивал с такой силой, как социалисты, чтобы бастующие воздерживались от насилий и правонарушений. Не только один Лонгмэн понял бы ее. Были еще Кэзи, секретарь Центрального Федеративного Союза, и мужчины из Союза Пирожников. Она

могла бы без всякого колебания рассказать им об этом. В течение нескольких минут она старалась решить, понял ли бы ее поступок отец. В этом она не была уверена. Ей хотелось подвергнуть себя своему собственному суду по всей справедливости, но, как она ни старалась, она приходила к тому выводу, что невозможно искренно осудить себя. Ее размышления были прерваны голосом Лонгмэна.

— О чем вы так задумались?

Она вскочила в удивлении с места, увидев, что к ней через лужайку идут Лонгмэн и миссис Карнер, шагов которых она не слышала. Смотритель устроился в кресле, откуда можно было наблюдать за ними.

Миссис Карнер была случайно в бюро, когда пришло письмо главного тюремного начальника. Она назначила себя самое вместе с Мабель и Лонгмэном в комиссию для посещения Иетты. Они известили тюремного начальника, а тот в свою очередь предупредил смотрителя. Но как раз в тот момент, когда они собирались выехать, представитель Общества хозяев жилетных мастерских протелефонировал Мабель и обратился к ней с просьбой о совещании. Этот случай был слишком важен, чтобы упустить его. Поэтому миссис Карнер и Лонгмэн поехали одни.

Иетта кинулась в объятия миссис Карнер и с трудом удержалась, чтобы не поцеловать Лонгмэна. Она не чувствовала своего одиночества, пока не увидела знакомых лиц.

— Нам дали только пятнадцать минут,—сказал Лонгмэн.— Поэтому мы должны приступить к делу. Что, они вас сразу перевели в дом смотрителя?

— Нет. Сперва... первую ночь я провела в камере. А на следующее утро около девяти часов пришел смотритель и увел меня.

— Как я вам говорил,—сказал Лонгмэн миссис Карнер.— Прочтя газеты, они перепугались и сделали для нее исключение. Это все благодаря вашей газетной кампании.

— Что такое?

И миссис Карнер рассказала Иетте обо всем; как разозлились ее друзья, услышав, что ее обвинили в нападении и как они подняли страшный шум в газетах. Иетта вспыхнула. Если бы

Лонгмэн был один, она наверное рассказала бы ему правду несмотря на запрещение Брауна. Но она не была уверена в том, что миссис Карнер поймет ее.

— Тяжело вам, Иетта,—сказал Лонгмэн,—сидеть под замком. Но для забастовки это очень важно. Понадобилась именно такая бросающаяся в глаза наглость, чтобы привлечь общее внимание. Газеты только и говорят о забастовке, и все на стороне работниц жилетных мастерских. Девушки произвели вчера уличный сбор и собрали почти тысячу долларов. Боссы перепуганы. Их организация расстраивается. Две мастерские уже уладили все вопросы. Все это походит на победу.

В течение еще десяти минут они передавали ей утешительные новости и сердечные приветы. Затем они увидели, что смотритель идет через лужайку.

— Не хотите ли, чтобы я вам что-нибудь прислал?—спросил Лонгмэн.

— Мне хотелось бы получить несколько книг, написанных о социализме.

— Смотритель,—сказал Лонгмэн, когда чиновник подошел к ним,—мы чрезвычайно довольны своим посещением. Мы в высшей степени обязаны вам за ваше особенно внимательное отношение к мисс Раевской. Не встретите ли вы каких-либо препятствий, если я пришлю ей несколько книг?

— Она может, если хочет, брать у меня книги,—сказал он угрюмо.

— Конечно, это весьма любезно с вашей стороны. Но она хочет учиться. Я хочу прислать ей несколько книг по экономике.

— Не встречаю препятствий,—сказал смотритель.—Пришлите их мне. Но только никаких газет.

Миссис Карнер снова поцеловала Иетту, а Лонгмэн крепко пожал ей руку. В жизни Иетты было очень мало такой ласки, и их визит глубоко ее растрогал. Думы последних нескольких дней были пропитаны горечью. Теперь эта горечь стала исчезать при мысли о том, что у нее есть друзья. В громадном городе, там за рекой, были люди, которые о ней заботились. И что это были за удивительные люди!

Катер полицейского ведомства подхватило течением, и Иетта увидела, что миссис Карнер машет ей платком. Она вскочила с места, чтобы ответить ей тем же.

Когда миссис Карнер уселась, в глазах ее стояли слезы.

— Как вам кажется, сохранит ли она свою веру?—спросила она Лонгмэна.

Он был удивлен вопросом. Ему никогда не приходилось слышать, чтобы миссис Карнер употребляла слово „вера". Обычно она блистала своим цинизмом.

— Я не совсем понимаю.

— О, да! Вы понимаете. Сохранит ли она... как это называют бегуны на большие дистанции?.. „дыхание", „стойкость", свою веру в возмущение? В социализм? Ведь жизнь наша продолжительная скачка, и на каждом шагу это скачка с препятствиями... выдержит ли она?—Через минуту она продолжала.— О, я надеюсь, что она выдержит. Это так прекрасно! Я надеюсь, что она не разочаруется и не займется чем-нибудь другим. Нет на земле ничего дороже веры... Почему вы молчите?

— Я...

— О, вы удивлены, слыша от меня такие речи? Но не будьте пошлы и не придирайтесь ко мне, хотя я и выдыхаюсь. Было такое время... она внезапно остановилась и потом опять продолжала.—Неужели вы действительно думаете, что когда-либо жил кто-нибудь на свете, у кого не было хоть немного юности или веры? Когда-то я была девушкой. Было время, когда душа моя была без единой морщинки. Да! Когда-то я собиралась написать великий американский роман. Иной раз я пытаюсь утешить себя словами, что газетная работа слишком тяжела для женщины. Мне следовало бы отправиться куда-нибудь в паломничество—на коленях—чтобы возблагодарить богов за то, что я не родилась мастерицей, шьющей жилеты. У меня не хватило нервов—не хватило стойкости. Я выдохлась.

И когда наш грязный пароходик подойдет к пристани, я предложу вам сесть со мной в мотор и поехать к Шерри напиться чаю. Это избавит меня от необходимости отправиться в великое социальное установление, в оплот величия Америки—

к Семейному Очагу. Я бы пригласила вас к себе, но, боюсь, не сочтете ли вы мое приглашение за обиду. Там есть громадная комната окнами на Драйв—она полным-полна готической мебели; часть обстановки сделана еще в средние века, часть—родом из Мильвоки. Берт помешался на готике. Наш дом—нечто вроде Musée du Cluny. Сегодня у меня нет приема, но кое-кто из дам несомненно заявится к нам. Кто в юбке, а кто в брюках, и все они будут молоть всякий вздор или еще того хуже. А некогда я была живой женщиной, работала вместе с живыми людьми и о чем-то мечтала. Уже давным-давно я почти позабыла об этом, пока не появилась эта маленькая швейка со своими огромными глазами и пламенной верой.

Катер ударился о пристань.

— Не пугайтесь мелодрамы, которую я разыграла,—сказала она.—Отправимся к Шерри, и я расскажу вам про последний скандал. Он таков, что его, пожалуй, совершенно нельзя передать полностью. Мы позабудем об этой евреечке с ее печальным, смущающим людей взглядом. Чорт с ним! Вы знаете, когда я смотрю ей в глаза, то начинаю понимать, почему евреи распяли Христа в таком раннем возрасте. Вы едете?

— Удобно вам остановиться по пути и захватить книги для Иетты?

Поздно вечером Лонгмэн достал один из своих печатных листов небольшого формата и приобщил credo миссис Карнер к своему собранию. Это был первый из его опросных листов, который он заполнил с тех пор, как начал готовиться к экспедиции в Ассирию.

На следующее утро смотритель передал Иетте связку книг. На чистом листке в начале самой маленькой из них—„Опытов“ Торо—Лонгмэн написал: „Торо жил до того, как возник социализм. Но я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных писателей написал лучше его „Об обязанности гражданского неповиновения“.

Шести дней, которые оставались до конца срока наказания, Иетте хватило, чтобы прочесть и перечесть все книги, присланные ей Вальтером, и подумать о том, каким образом можно вернее выйти на жизненный путь.

ГЛАВА XVI.

Зал Карнэги.

Те десять дней, которые Иетта провела номинально в тюрьме, но на самом деле отдыхая телом и развивая свой мозг на прелестной лужайке смотрителя, были великими днями для работниц, шьющих жилеты.

Неожиданная гласность, которую получило их дело, благодаря ее аресту, повернула ход вещей в их пользу. Ни одна из газет, издающихся на английском языке, не поместила подробного или точного отчета о борьбе, но как-то смутно публика, обычно невнимательная, начала уяснять себе, что в Восточных кварталах разыгрывается картинное столкновение между сотнями полуголодных женщин и Всемогущей Жадностью. Едва ли можно назвать такое чувство симпатией, ведь симпатия требует, до некоторой степени, понимания. Но начало широко распространяться убеждение, что борьба ведется „не честно". Журналисты, впадающие в пафос, стали ежедневно печатать своего рода „Хижины Дяди Тома" в миниатюре. А журналисты, пишущие для общества, продолжали отдавать дань новой моде.

Забастовавшие работницы могли бы добиться значительных уступок и без этой нечаянной помощи. Они остановили работу на пять недель во время самого горячего сезона. Их энтузиазм и выдержка росли вместе с голодом и преследованиями. Даже крупнейшие боссы начали задумываться, не дешевле ли будет пойти на известный компромисс. Правда, забастовавшие не добились бы успеха так быстро и в таких широких размерах, если бы к ним на помощь не подошло неожиданное подкрепление. Судья в Эссекс-Маркетском суде уже не решался быть таким заносчивым. Наемные сыщики со страхом видели в каждом прохожем репортера, в каждом пикете какого-нибудь любимчика общества. На следующий же день два босса дезертировали из Общества хозяев жилетных мастерских и уладили все дело собственными силами. Стоило только начать, как паника сделалась всеобщей; с каждым днем работа налаживалась все в большем

числе мастерских, и к тому времени, как Иетта была освобождена, стачка, собственно говоря, уже закончилась.

Около четырех часов дня в четверг Иетте вернули ее платье и сказали, что она свободна. Пока она ждала на тюремной пристани, когда ее перевезут на ту сторону, на нее вдруг нахлынула неожиданная волна страха. Лежащий за рекой город казался ей враждебным. Забастовка рано или поздно кончится. Что ей тогда придется делать? Она знала, что для нее „забастовка“ не кончается: она будет длиться до конца ее жизни. Но где ей придется жить, каким образом будет она зарабатывать себе средства к существованию? Как ей удастся добиться возможности учиться, что, как она чувствовала, для нее нужнее всего? Эта мысль смущала ее больше всего. Ей все равно, где спать, чем питаться, но ей нужно знание, в котором сила. Пока катер боролся с течением и город подходил все ближе и ближе, он казался ей каким-то насторожившимся чудовищем, которое охраняет огромное сокровище. Рано или поздно ей придется сразиться с этим чудовищем, ибо добыча должна быть ее. Она чувствовала себя очень слабой, а вооружение ее казалось ей таким жалким.

На нью-иоркской пристани она увидела Мабель, Лонгмэна и миссис Карнер, которые ее ожидали.

— Иетта, Иетта,—смеялась и плакала Мабель, крепко обняв ее.—Помните, какая толпа девушек приходила приветствовать первых выпущенных из тюрьмы? Как вам кажется, почему никого нет здесь сегодня, чтобы устроить вам встречу? Они все снова на работе. Мы победили! Мы победили!

Иетта широко раскрыла свои огромные глаза, но сердце слишком сильно колотилось у нее в груди, чтобы она могла произнести хоть слово. Больше и выше радости при вести о драгоценной победе была веселая радость дружбы. Ей казалось, словно эти три друга спустились с небес навстречу к ней, чтобы вооружить ее на борьбу за сокровище. Объятие Мабель было словно броней, поцелуй миссис Карнер—шлемом, а в искреннем рукопожатии Лонгмэна ей почудился меч, который ей вкладывали в руку.

— Пойдемте,—сказала миссис Карнер.—Залезайте в мотор. Вы все едете ко мне обедать. Вам придется, малютка, выступать сегодня вечером с речью перед самой громадной аудиторией, которую вы когда-либо видели:—в Зале Карнэги. У них была целая куча разных глупейших планов, которыми они собирались вам надоедать, но я сказала: „Нет! Я возьму ее в свои руки и позабочусь, чтобы она приняла ванну, переоделась в чистое, хорошо поела и немного успокоилась, чтобы обдумать свою речь". Ну, забирайтесь.

Пока автомобиль мчался по городу, они объяснили Иетте, что миссис ван-Клив пожертвовала деньги на наем зала Карнэги—еще до того, как забастовка была выиграна—и что они решили во всяком случае устроить там митинг, раз уж все приготовления сделаны. Судя по всему, получится что-то грандиозное, так как все, кто дружит с миссис ван-Клив или кому хочется попасть к ней в друзья, наперебой вырывали друг у друга билеты на ложи, и все места в два и в один доллар распроданы.

Миссис Карнер была так же добра и ласкова, как ее речи. По приезде в величественный дом на Риверсайд-Драйв, она оставила Лонгмэна в библиотеке, где он неловко старался сохранить равновесие на готическом стуле, а сама вместе с Мабель провела Иетту в ванную комнату, еще более ослепительную, чем та, которая произвела на девушку такое громадное впечатление в квартире на Вашингтон-Сквэр.

— Когда кто-нибудь подвергается аресту, выигрывает забастовку исключительно собственными силами и собирается выступать с речью перед Четырьмя Сотнями Избранных, то такая особа может разрешить другим поухаживать за собою. Поэтому я достала для вас платье.

На одном из заседаний совета миссис ван-Клив сказала:—Разумеется кто-нибудь из нас должен позаботиться о том, чтобы она была прилично одета. Миссис Карнер вызвалась, что она возьмет это на себя и, обсудив все с Мабель, которая принесла для мерки кое-что из скудного гардероба Иетты, они заказали для нее простенький, приличный костюм из мягкого коричневого вельвета.

— Если вы устали, можете подремать. Мы разбудим вас к обеду.

— Нет,—сказала Иетта.—Мне не хочется спать. Мне хочется послушать о забастовке.

Тогда они облачили ее в новое платье, похлопотали над ее прической и, наконец, провели в библиотеку. В течение некоторого времени все четверо беседовали о забастовке.

— Иетта,—спросила Мабель, сразу переходя к другой теме,— что вы теперь собираетесь делать?

Им пришлось прождать несколько минут, прежде чем она ответила.

— Не знаю. Я пыталась об этом думать. Впереди будут еще забастовки и мне хотелось бы во время их помогать попрежнему. Так как кроме этого делать мне нечего, то я хотела бы учиться. Мне нужно учиться целой куче разных предметов. Вы ведь знаете, я перестала ходить в школу с пятнадцати лет, а вы все были в университете. Конечно, мне никогда не удастся поступить в университет, но мне страшно хотелось бы научиться всему, что будет в моих силах.

Я не знаю, что буду делать. Мне хотелось бы остаться в нашем союзе в качестве делового агента, если вместо меня еще не выбрали никого другого. Но мне не могут ничего платить. Пожалуй, мне придется возвратиться в мастерскую. Я не знаю никакого другого дела, чтобы зарабатывать деньги. Но мне хотелось бы иметь свободное время, чтобы иметь возможность учиться. Мне хочется знать больше, чтобы приносить больше пользы. Да. У меня есть стремление к учению. Мне нужно еще подумать об этом.

— Прекрасно, есть два вопроса, которые нам надо обсудить, — сказала миссис Карнер. — Мне кажется, я лучше расскажу ей сперва о предложении, сделанном миссис ван-Клив. Видите ли, Иетта, вы произвели на нее очень сильное впечатление, а денег у нее куры не клюют. Она уверена, что вы прямо какая-то удивительная, мы все вполне согласны с ее мнением— это было сказано с такой ласковой улыбкой, что Иетта почти не смутилась—и ей кажется, что вам необходимо получить высшее

образование. Ну, посмотрите, как наша девочка раскрыла глазки! Да. Вот так-то! Она хочет оплачивать все ваши расходы в подготовительном училище и в Брин-Моор. Если вы будете работать с большим напряжением, то сможете окончить университет через шесть-семь лет. В самом деле, миссис ван-Клив очень хочется, чтобы вы так и сделали. Никто не обращался к ней с просьбой об этом и не предлагал этого плана. А она очень щедра, когда возьмется за дело. Она окажет вам широкую поддержку, и вы сможете одеваться так же хорошо, как и другие молодые девушки. Мы обе с мисс Трэн были в университете и знаем, как это весело. Балы и все такое. И так приятно быть хорошо одетой. Это редкий случай. У вас есть царь в голове и масса здравого смысла, и вам не нужно будет мучиться тем, что другие молодые девушки выглядят лучше вас. Каникулы вы будете, по всей вероятности, проводить у миссис ван-Клив. Не худо будет, если вы выйдете замуж за милли...

Иетта поняла, что миссис Карнер насмешничает.

— А это хороший университет для занятий?—спросила она.

Обе женщины молчали. Мабель была из Висконсинского университета, а миссис Карнер окончила Маунт-Холиок. Ни одна из них не была очень высокого мнения об университете, на котором остановился выбор миссис ван-Клив. На вопрос ответил Лонгмэн.

— У нас нет ни одного женского высшего учебного заведения, в котором преподавание стояло бы на такой образцовой высоте. Это одно из самых лучших, какие только есть в этом роде. Если вы хотите стать „ученым“, если вы хотите поступить туда, чтобы специализироваться в греческом или в математике, или в одной из других наук, то диплом Брин-Моорского университета дает право им гордиться. Но большинство студентов из богатых семей. Я не думаю, чтобы они были с вами сухи. Вам не придется беспокоиться, имея за своей спиной миссис ван-Клив, но весьма возможно—вы встретитесь с другой крайностью. Но мне не верится, чтобы вы нашли среди студенток или среди различных факультетов много таких, которые были бы заинтересованы рабочим вопросом. Миссис ван-Клив очень любезна,

но я, пожалуй, уверен в том, что она больше заинтересована лично вами, чем „забастовщиками". Как я уже сказал, если вы хотите быть „ученым", то это подходящее место. Но если вы хотите агитировать среди рабочих, если вы хотите бороться за свободу, то я не думаю, чтобы Брин-Моор принес вам большую пользу.

Блеск возбуждения в глазах Иетты, жаркий румянец ее щек быстро погасли.

— В чем заключается второе предложение,—спросила она.— Вы сказали, что их два.

— О, оно не будет предложением, исходящим от какой-нибудь сказочной феи, моя милая Золушка, — сказала миссис Карнер.—Это просто повседневная работа. Ничего столь блестящего, как университетский диплом. План принадлежит мисс Трэн, поэтому пусть лучше она вам расскажет.

— Нет, Иетта,—сказала Мабель.—Другое предложение довольно мало привлекательно, оно не блещет яркими красками. Вам известен мой старый план сделать попытку объединить всех работающих в производстве готового платья, шьющих жилеты и пиджаки, брюки и пальто и рабочую одежду, объединить всех в колоссальный федеративный союз, как у строительных рабочих. Прекрасно. Так вот, наша забастовка прошла так удачно, что я имела возможность заинтересовать некоторых из дам своей более широкой схемой, и они дали денег, так что теперь Лига может пригласить за плату нового организатора. Правда, жалованье меньше того заработка, который даст вам машина, но его хватит на жизнь. Нам всем кажется, что вы будете идеальным работником. Вы сможете оставаться попрежнему деловым агентом у шьющих жилеты. Я знаю, они хотят вас и даже если бы они не смогли вам платить, хоть что-нибудь, то это все же дало бы вам известное положение в Центральном Федеративном Союзе и даже среди неорганизованных рабочих. Всем им известно, как была выиграна эта забастовка, и несомненно вскоре будут еще новые. Конечно, работы будет выше головы, но наши дамы ничего не имеют против того, чтобы у вас утро оставалось свободным для ваших занятий. Это не похоже на университетские

занятия. Но если вы серьезно хотите заняться самообразованием, то у вас есть возможность это сделать. Все мы поможем вам. Я не желаю вас уговаривать, мне хочется, чтобы вы выбрали то, что считаете для себя наилучшим. А предложение миссис ван-Клив очень щедро. Но вы знаете, как мне хотелось бы, чтобы вы работали в Лиге вместе со мной.

Иетта встала и подошла к окну. Она знала, что взоры всех обращены на нее. Она знала, что думают все собравшиеся здесь, и это задевало ее за живое. Все они получили высшее образование, которое им было дано, как нечто подразумевающееся само собою. Они не могут понять, что оно значит для нее. Она не могла собраться со своими мыслями под их молчаливыми взглядами.

— Я думаю, мне лучше пойти и прилечь до обеда,—сказала она.—Я должна обдумать хорошенько свою сегодняшнюю речь.

После ее ухода Лонгмэн набросился на собеседниц.

— Почему вы, женщины, не можете быть откровенными и не говорите того, что думаете? Предложение миссис Карнер лучше предложения миссис ван-Клив. Она сделает ужаснейшую ошибку, если свяжется с компанией выскочек из семей миллионеров.

— Мабель, — сказала миссис Карнер торжественным тоном,—будемте соблюдать полнейшую тишину и прислушаемся к мужской мудрости.

После такого замечания Лонгмэну больше нечего было говорить.

— Не думает ли венец творенья, — продолжала миссис Карнер,—что маленькая Иетта Раевская решает только вопрос о том, итти ли ей в университет или нет?

— Ну, хорошо. Но ради бога, почему вы не попытаетесь помочь, вместо того, чтобы затруднить ей выбор?

— Разве господин философ еще не пришел к тому открытию, что некоторые вопросы не считаются решенными, пока их не решат про себя? Самому Павлу пришлось отправиться в Аравию. Иетта ушла в мою гостиную. Вы можете помочь какой-

нибудь особе внести плату за наем квартиры, а если у вас есть пропасть такта, вкуса и знания предмета, то вы можете помочь ей в выборе шляпки, идущей ей к лицу, но вы не можете помочь кому бы то ни было решиться на храбрый поступок.

— Это остроумно,—сказал Лонгмэн кисло.—Но я, кажется, не шутил.

— Когда мы хотим иметь право голоса, Мабель, то мужчины говорят, что у нас нет никакого чувства юмора. А теперь он обвиняет меня в том, что я шучу... и повидимому,—сказала она после паузы,—думает, что Иетте не известны наши настоящие к ней чувства.

Предмет их разговора не ложился вздремнуть, он забился в большое кресло, придвинутое к окну, и глядел через Гудзон на солнце, заходившее за Палисадами. Иетта безуспешно старалась понять басню о лисице и винограде, вывернутую наизнанку. Соблазнительные грозди можно легко достать. Действительно ли виноград зелен? В таких мыслях она провела почти целый час, пока ее не позвали, но еще не начала обдумывать то, что ей придется говорить в Зале Карнэги.

Почти у всех больших публичных митингов есть какая-то смешная сторона. Оратор при первом взгляде на обращенные к нему лица очень редко испытывает ощущение, что у собравшихся есть что-то общее, какое-то единство. Но он понимает, что слушателей привели сюда различные жизненные пути, что они собрались здесь со своих фабрик или из контор под влиянием какой-то доминирующей мысли. Если в нем просыпается оратор, то тогда ему очень легко уловить основной тон собрания и повести за собой слушателей, куда угодно.

Не такая аудитория собралась в этот вечер в Зале Карнэги. Вальтер, бросив быстрый взгляд из дверей в раздевальную на массу народа в партере, на кольцо лож и на переполненные ярусы балконов и галлерей, повернулся к Мабель:

— Публика в ложах,—сказал он,—явилась поглазеть на Иетту, а остальная—поглазеть на них.

— Не говорите ей об этом, ради всего святого,—сказала Мабель.

Но Иетта видела это сама. Впервые она почувствовала нечто вроде боязни эстрады, посмотрев в щелочку на публику. Публика, занимавшая ложи, привела ее в ярость. Она обращалась уже к женщинам такого сорта, и они давали ей всего лишь несколько долларов. Она задавала себе вопрос, а сколько из них окончило курс в Брин-Моорском университете?

Мабель отозвала Иетту от дверей, чтобы представить ее преподобному Дэнхаму Деннингу, священнику той церкви, которую посещала миссис ван-Клив. Он должен был председательствовать на митинге. А затем она была представлена почтенному джентльмэну, по фамилии Кроссмэн, который был когда-то членом кабинета и у которого были седые волосы и бородавка на носу. Эти два пожилых джентльмэна очень смутили Иетту своими изысканным комплиментами. Она не имела ни малейшего представления о том, что им надо сказать.

Когда, наконец, ораторы вышли на эстраду, то раздались вежливые хлопки и настоящая буря аплодисментов из глубины сцены. Иетта с изумлением обернулась и увидела, что на сцене расставлены скамьи, и на них буквально теснятся ее собственные подруги—работницы из жилетных мастерских. Она не заметила их раньше из дверей в раздевальную. Иетта остановилась, как столб, и глаза ее наполнились слезами. Мабель вынуждена была потянуть ее за рукав, чтобы заставить выйти вперед и ответить на приветствия главной аудитории.

Но шум за спиной вывел Иетту из того состояния усталости, которое нагнал на нее вид разодетой, снисходительной публики, занимающей ложи. Она должна сделать все, что в ее силах. Она почувствовала себя страшно маленькой, а то, о чем собиралась сказать, очень значительным. Она придвинула свой стул вплотную к стулу Мабель и вложила свою руку в руку друга.

Преподобный Дэнхам Деннинг весьма поучительным тоном напомнил аудитории о разных словах, которые были сказаны Христом о ближних и которые, как он опасается, очень часто позабываются. Он представил собранию почтенного мистера Кроссмэна, всем известного своими выдающимися заслугами перед родиной, своей справедливо прославленной филантропией

и своей активной работой на поприще гражданской федерации, которая столь успешно прилагает усилия для смягчения остроты промышленной борьбы. Мистер Кроссмэн имел сказать очень немногое и произнес это в громовых периодах. Речь заняла у него почти целый час.

Затем наступила очередь Мабель. По своему обыкновению она говорила бесстрастно, чисто деловым образом. Она обрисовала в общих чертах работу организации, которую представляла, и приводила забастовку работниц, шьющих жилеты, как пример того, что может сделать Лига, имея достаточно средств.

Когда она села, председатель начал бросать цветы своего красноречия к ногам Иетты.

— Если мне разрешается воспользоваться таким выражением,—сказал он,—то в то время, как мисс Трэн была мозгом этой стачки, что и признали мы, собравшись здесь, то следующий оратор был ее душой. Мое личное знакомство с этой особой самое поверхностное. Но его было вполне достаточно, чтобы убедить меня, вне всякого сомнения, что обвинение, на основании которого она была отправлена в исправительный дом, является гнусной клеветой. Кто может взглянуть на ее милое личико и поверить, что она способна на грубое нападение? Но вам предоставляется возможность судить самим. Она расскажет нам о той победе, которой она столь блестяще содействовала и, как я надеюсь, в уверенности, что мои надежды разделяются всем этим громадным собранием, расскажет нам и о своих собственных впечатлениях. Лэди и джентльмэны, представляю вам мисс Иетту Раевскую

Иетта стиснула Мабель руку и, поднявшись со стула, подошла к краю эстрады. Ей хотелось подойти к публике поближе, чтобы ее можно было лучше слышать.

Смех и болтовня в ложах сменились официальным взрывом аплодисментов. Но когда публика стала хлопать в ладоши и глазеть на модную знаменитость, хрупкая красота Иетты заставила всех захлопать более сердечно. Вблизи Иетта казалась пышущей здоровьем. Но издали, стоя одиноко на громадной эстраде, она выглядела слабенькой и экзотичной. Двухдолларовые кресла

потянулись вслед за ложами и подняли шум изо всех сил. Галлерея и толпа работниц, сидевших позади Иетты, приветствовали ее криками и воплями и стучали ногами, не заботясь о приличиях. А Иетта стояла на эстраде одиноко, с румянцем, горящим на щеках, все более и более похожая на орхидею, и ждала, когда буря уляжется.

— Я не собираюсь рассказывать вам о нашей забастовке,— начала она, когда ей удалось заставить слушать себя.—Она закончена. Мне хочется поговорить с вами о будущей, о ближайшей стачке. Мне очень хотелось бы, чтобы я сумела рассказать так, чтобы вы меня поняли, о тех забастовках, которые еще предстоят.

Но прежде всего мне нужно сказать вам несколько слов о нашем союзе. Мы очень обязаны всем, кто помог нам. Мы не могли бы победить без денег, и мы благодарны каждому, кто дал нам хоть десять центов, хоть цент.

Для нас, девушек и женщин, это удивительная победа. Мы страшно рады. Больше месяца мы бастовали, и теперь можем вернуться обратно в мастерские, где выжимают пот. Благодаря тому, что мы голодали целый месяц,—у некоторых из нас есть дети, и это еще тяжелее, когда они должны голодать,—благодаря тому, что многие из нас были избиты полицейскими и больше двух десятков работниц просидели в тюрьме, мы можем теперь вернуться обратно к машинам, и боссы не могут заставить нас работать больше пятидесяти шести часов в неделю. Это немногим больше девяти часов в день, если откинем один день. А боссы дали нам обещание платить немного больше и предоставить больше возможности вздохнуть свободно; и если мы надорвемся, работая для них, то они не выбросят нас на улицу, обрекая на голод, пока у них будет находиться для нас какая-нибудь подходящая работа. Нам пришлось вынести тяжелую борьбу, пока мы добились этой победы, и мы гордимся ею и приносим свою благодарность всем вам, оказавшим нам помощь. Но дороже сокращения часов работы и всего другого — наш союз. Теперь мы добились его, и это самое важное для нас. Мы никогда не будем снова такими рабами, какими были до сих пор.

Но раз мы выиграли теперь эту забастовку, нам нужно подумать о ближайшей. Я не знаю, какую отрасль промышленности она затронет. Быть может, вам никогда не приходилось слышать о людях, занятых изготовлением бумажных коробок или искусственных цветов или кисточек. Этими ремеслами заняты рабочие со своими семействами, и они никогда не зарабатывают того, что зарабатывала я, шивши жилеты. А работницы-сигарьеры— им тоже очень плохо. А если бы вы увидели помещения, в которых печется хлеб, то никогда не стали бы его есть. Дело не изменится от того, куда вы обратите свой взор. Рабочему люду везде живется очень плохо, никто из рабочих не видит справедливого к себе отношения. Не видят они его от боссов. Не видят они его от владельцев земли. А купцы продают им всякое гнилье в пищу. Всегда будут происходить забастовки, пока каждому не будет хорошо, пока каждый не добьется справедливости.

Быть может, среди вас есть такие, кому никогда не приходилось задумываться над забастовками до сего момента. Хорошо. Забастовки бывали постоянно. Я не могу себе представить, чтобы когда-либо выдавался такой год, когда бы здесь, в Нью-Иорке, не было десятков забастовок. Когда мы начинали, отделывающие юбки кончали. Они проиграли свою забастовку. Голодные, они брели по той же самой дороге, но никто им не помог. И теперь им хуже, чем было раньше. Никакой разницы нет между одной забастовкой и другой. Быть может, они бастуют ради большей платы или ради признания союза или вследствие закрытия мастерских. Но следующая забастовка будет совершенно такая же, как наша. Люди будут бороться за то, что они не хотят больше быть такими рабами, какими были до сих пор.

Председатель говорил, что, быть может, я расскажу вам о своих собственных впечатлениях. Мне сказать нечего, разве только о том, что все были ко мне страшно добры. Отрадно чувствовать, что все ко мне так добры. Но мне было бы еще приятнее, если бы все попытались понять, какое значение имеет эта забастовка для всех нас, работниц—как та, которую мы

выиграли, так и те, которые еще впереди. Если бы я рассказала вам, какой доброй по отношению ко мне хочет быть одна дама, то вы, быть может, и поняли бы. Видите ли, это было бы прекрасно для меня, но не принесло бы больше никому пользы.

Хорошо. Сегодня я вышла из исправительного дома, и мне сказали, что эта дама хочет дать мне денег на ученье, хочет, чтобы я поступила в университет, словно я богатая барышня. Это очень любезно. Мне хочется учиться. Я не была ни разу в школе с пятнадцати лет. Мне кажется, я не умею даже говорить, как следует, по-английски. Мне очень хотелось бы поступить в университет. И я часто видела на картинках в журналах красивых богатых дам и, конечно, было бы так чудесно иметь такие же платья. Но, когда примешь участие в стачке, когда посмотришь на все людские страдания, когда наглядишься на всю жестокость, все покажется совсем в ином свете.

Председатель приводил вам какие-то слова из христианской библии. Хорошо, у нас, у евреев, тоже есть рассказ—может быть, он встречается и в вашей библии—о Моисее и об его народе в Египте. Его воспитала богатая египетская дама—одна принцесса—как будто бы он был ее сыном. Но пока он старался быть египтянином, он был нехорошим. И бог однажды заговорил с ним из объятого пламенем куста. Я не помню в точности слов рассказа, но бог сказал: „Моисей, ведь ты еврей. Тебе нечего делать с египтянами. Сними с себя эти прекрасные одежды и ступай назад к своему народу и помоги ему избавиться от неволи“. Хорошо. Конечно, я не Моисей и бог никогда не говорил со мною. Но у меня такое чувство, будто я во время этой забастовки видела неопалимую купину. Во всяком случае, я видела свой народ в неволе. И мне не хочется итти в университет и быть дамой. Мне думается, что ласковая принцесса не могла понять, почему Моисею захотелось стать бедным евреем, вместо того, чтобы быть богатым египтянином. Но если вы можете понять, почему я предпочитаю остаться со своим народом, то вы поймете все, что я пыталась вам сказать.

Мы—народ в неволе. Есть масса людей, которые к нам добры. Мне думается, что не одна только принцесса из всех

египетских знатных дам была добра к евреям. Но не в одной доброте нуждается народ, который находится в неволе. Доброта никогда не приведет нас к свободе. А бог в наши дни не посылает больше пророков. Нам приходится добиваться избавления своими собственными силами. И когда вы читаете в газетах, что вот там-то вспыхнула забастовка—дело не в том, бастуют ли трамвайные кондуктора или кружевницы, бастуют ли итальянцы или поляки, евреи или американцы, происходит ли забастовка здесь или в Чикаго—это мой народ—народ в неволе, который собирается выступить в Обетованную Землю.

Она остановилась на мгновение, и странное выражение появилось на ее лице—как будто она вступила в общение с каким-то далеким призраком. Когда она снова заговорила, слова ее были непонятны для громадного большинства слушателей. Некоторые из евреек, работниц, поняли. И достопочтенный Дэнхам Деннинг, который был знаменитым ученым, тоже понял. Но даже те, кто не понял, были охвачены очарованием мерного, звучного каданса. Она сразу остановилась.

— Это по-еврейски,—объяснила она. Этому мой отец научил меня, когда я была маленькой девочкой. Здесь говорится об Обетованной Земле—я не могу передать этого на правильном английском языке...я ...

— Если только я не позабыл своих познаний в еврейском языке, — сказал достопочтенный председатель, выступая вперед,—то мисс Раевская повторила слова бога, обращенные им к Моисею, как это записано в третьей главе Исхода. Мне кажется, это седьмой стих:

„И сказал господь Моисею: я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его;

И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед“.

— Да. Совершенно верно,—сказала Иетта. — Хорошо, так вот что обозначают стачки. Мы боремся за древние обеты.

— Хорошенькая крошка, не правда ли?—спросила белокурая дама в ложе миссис ван-Клив у своего соседа.

— Не мой стиль,—отвечал тот.—Если бы даже у вас не было иных прелестей, если бы у вас был горб или вы косили бы, то и тогда ваши волосы могли бы свести меня с ума. Не найдется ли у вас свободного часочка на будущей неделе, мы могли бы тогда пожениться?

— Я не знал, что старый Деннинг такой мастак в еврейском языке,—прервал другой.

— Что напоминает мне одну историю...

— Ее стоит слушать?—спросила блондинка.

— Ну да, конечно. Дело идет об одном уэллском священнике...

Но дама отвернулась, разочарованная, к немалому огорчению господина, которому действительно хотелось жениться на ней.

Но, быть может, в этой наполненной народом аудитории были и такие люди, которые поняли то, о чем говорила Иетта.

Позднее вечером, когда она стояла с Лонгмэном на опустевшей сцене в ожидании Мабель, которая—если воспользоваться выражением Элеоноры,—„подметала пол", Вальтер спросил у Иетты, что она собирается делать на следующий день.

— Мне хочется, чтобы вы у меня пообедали,—сказал он.—Будут Мабель и Исидор Браун. И если я прошу не слишком многого, то мне хотелось бы, чтобы вы уделили мне до их прихода часть вашего дообеденного времени. Мне было бы приятно поговорить с вами о массе разных дел. Вы знаете, ведь послезавтра я отплываю. У меня это последний случай познакомиться с вами, как следует.

— Решено. Мне будет очень приятно притти, — отвечала Иетта.—Но куда вы уезжаете?

Она в изумлении выслушала его планы. Она думала, что он собирается жениться на Мабель. Когда он расстался с ними у дверей их квартиры, Иетта спросила Мабель с наивной прямотой, не помолвлена ли она с Лонгмэном.

— Нет,—рассмеялась Мабель.—Откуда у вас эта мысль?

— Да как же, все девушки думают, что вы помолвлены.

— Ну, так они все ошиблись. Я не помолвлена.

— И вы не влюблены в него?

— Ни капельки. Ах вы, маленькая дурочка! Разве нельзя быть добрыми друзьями, не будучи влюбленными друг в дружку?

Иетта отправилась спать, стараясь обдумать эту мысль. Она почти не вспоминала ни о том выборе, который был ею сделан между университетом и работой, ни о подъеме, пережитом во время большого митинга. Так было трудно представить себе, чтобы Мабель и Вальтер не любили друг друга.

ГЛАВА XVII.

Операционная комната.

Кабинет Вальтера показался Иетте идеальным. В обстановке его не было ничего похожего на роскошь, не было ничего, что бы ее напоминало по контрасту с бедностью голодных там, за стенами дома. Никаких „украшений“ не было, кроме двух портретов дедушки и бабушки Лонгмэна и стоящей на каминной доске небольшой репродукции с изображения одного из великих хактитских богов с коровьей головой. Остальную обстановку комнаты составляли удобные кресла, мягкое, покойное сиденье на подоконнике и книги. Книжные шкафы были набиты книгами, ими был завален стол, они лежали на нескольких стульях и даже валялись на полу. Знание было той целью, на которую отец указывал Иетте, почти как на синоним „доброты“ и „счастья“. Об этом она позабыла в потогонной мастерской, но все пережитое за последние дни пробудило в ней неутолимую жажду знания. Никто из тех, кого „посылают в школу“, кому образование дается, как нечто само собой подразумевающееся, не может понять, с каким благоговением она относилась к книгам. Когда Лонгмэн ввел в свою комнату Иетту, ей показалось, что она вошла в обитель своих снов.

Самым большим подарком, который Иетта получила от новой жизни, были друзья. Со времени смерти отца, если не считать тех нескольких недель, в течение которых Рахиль откры-

вала ей свои тайны, вокруг нее были только равнодушные родственники, да подруги по мастерской. А теперь она с трудом могла сосчитать своих друзей. С самого же начала она предоставила в этом списке почетное место Лонгмэну. Причиной такого предпочтения было нечто более сложное, чем его драматическое появление в ее жизни. Она редко думала о нем, как о своем спасителе. Но она чувствовала, что его отношение к ней было более задушевным и непосредственным, чем отношение других. Она сама не могла объяснить своего чувства как следует, но это не мешало ей ощущать его не менее остро. Миссис ван-Клив была к Иетте неравнодушна, потому что у ней были такие же глаза, как и у ее давно умершей дочери. Миссис Карнер чувствовала к ней привязанность, потому что она напоминала ей собственную безвозвратно минувшую юность. Исидор Браун и Мабель ценили ее за ее пламенный и революционный дух возмущения.

На „Острове“ маленький трехлетний сынишка смотрителя пошел к ней на руки сразу, при первом же знакомстве, несмотря на ее арестантское платье, несмотря на ревность своей собственной няньки. Она чувствовала инстинктивно, что Вальтер относится к ней с симпатией, похожей на эту детскую любовь. Если бы во время забастовки она пала духом, превратилась в „скэба“, то Браун и Мабель перестали бы дружить с нею. Но Лонгмэн подошел бы к ней со своей ласковой, неуклюжей манерой и спросил бы, как это случилось. Он мог бы разочароваться в ней, даже рассердиться, но все-таки продолжал бы оставаться ее другом.

Иетте хотелось сразу же начать разговор с вопросов о социализме.

— Оставьте их до прихода Исидора и Мабель,—рассмеялся Лонгмэн.—Браун вызубрил все ответы наизусть, конечно, только ортодоксальные. Ну, а Мабель не социалистка. Я же сам ни рыба, ни мясо, ни копченая селедка. Вот-то поднимется хорошенькая буча, если вы зададите сегодня эти вопросы!

Он рассказал ей о своей задуманной книге по философии и заметил, что ему было бы очень приятно присоединить к своей

коллекции и ее „credo“. Громадный размах его плана заинтересовал Иетту, и она выразила свое согласие.

С первых шагов работа пошла медленно. Первоначальные вопросы его опросного листа заводили ее в области, которые были ей незнакомы. Она никогда в жизни не ломала себе головы над метафизикой. Иетта сама не знала точно, в какого именно бога она верит—да и вообще не представляла себе, нужно ли, действительно, называть „богом“ то существо, в которое она верит. Она не задавалась вопросом, является ли существующий мир наилучшим или наихудшим из возможных миров. Пророчества, которые так горячо любил ее отец, весьма сильно склоняли ее к той мысли, что, собственно говоря, наш мир мог бы быть создан и несколько лучше. Но она даже не пыталась никогда определить, является ли вселенная тщательно пригнанным и точным механизмом, есть ли это театр марионеток, которыми кто-то двигает, или это просто колесо рулетки. Неуменье ответить на эти вопросы—а Вальтер задавал их таким тоном, который показывал, что он считает их очень важными—заставило Иетту устыдиться. Вальтер как будто зондировал глубину ее невежества. Верит ли она в будущую жизнь? Иетта всплеснула руками.

— Не знаю.

— Знать никто не может. Это вопрос веры. Вы очень любили своего отца, и он умер, когда вы были еще маленькой девочкой. Что же, значит, с ним все покончено?

Она покачала головой. Он терпеливо ждал ответа.

— Нет. Не покончено. Ведь все-таки же остается память о нем.

— А теперь вы к нему обращаетесь когда-нибудь?

— Иногда. Мне думается, что обращаюсь.

— Бывает ли вам так же хорошо в эти минуты, как если бы он был и в самом деле с вами?

— Пожалуй... иной раз.

— Хорошо. Думаете ли вы, что после вашей смерти вы с ним встретитесь?

Иетта забилась подальше в уголок сиденья в нише окна и кожа на лбу ее собралась в глубокие складки.

— Да,—произнесла она после паузы.—Мне кажется... когда-нибудь, как-нибудь... мне удастся поговорить с ним... рассказать ему все-все и спросить у него, поступала ли я хорошо или плохо... и он мне ответит.

— Как он будет выглядеть?

— Не знаю. Но я пойму, что это он.

Допрос пошел легче, когда вопросы начали затрагивать более земные темы. Но вскоре они опять заговорили о высоких материях.

— Считаете ли вы, что честность есть лучшая политика?

Вопрос заставил ее глубоко задуматься и снова наморщить лоб.

— Быть честным... говорить правду, — произнесла она, наконец.—Пожалуй, это хорошо, но не всегда это лучшая политика. Если бы я не соврала, не дала ложной присяги, то мы не выиграли бы нашей забастовки.

— Как так?

— Не хочу скрывать от вас. Я соврала на суде. Я показала под присягой, что не ударила Мотыки, но я собиралась его убить.

Лонгмэн тихонько свистнул.

— Расскажите, как было дело.

Рассказав ему обо всем, что говорил и делал Мотыка, как на нее вдруг нахлынул порыв слепого бешенства, как, наконец, Браун уговорил ее солгать, Иетта спросила Вальтера, думает ли он, что в данном случае честность является лучшей политикой.

— Сегодня я только задаю вопросы, но на них не отвечаю,—сказал он с важным видом.—Это меня ужасно интересует. Итак, вы думаете, что иногда стоит соврать ради хорошего дела?

— Нет,—возразила она быстро.—Я не думаю, чтобы вообще нужно было когда-либо врать. Но мне кажется, иной раз вы и сами солгали бы точно так же. Если бы я сказала правду, то меня посадили бы в тюрьму, а не в исправительный дом. Мне-то было бы все равно. Врать не очень приятно, а, как говорит Торо, есть вещи и еще похуже самой плохой тюрьмы. Но это

было бы адски скверно для других. Если б только я передала обо всем по правде, то все газеты пустились бы врать и сказали бы, что все девушки убийцы. Забастовка была бы нами проиграна. Мне было бы гораздо приятнее сказать правду. Но ведь в наших мастерских свыше двух тысяч девушек.

Мне кажется, дело вот в чем. Если вы уверены в том, что то или иное хорошо, то готовы биться за это. Вы уже не можете бояться, что вас изобьют, арестуют, убьют, вам нечего бояться также, что вы сделаете что-то против своей совести. Торо написал очерк о Джоне Брауне, о том, как он сражался за свободу черных рабов. Ну, хорошо. Предположим, что кто-то приходит к нему и говорит, что вот, мол, можно этого добиться, но надо для этого самому совершить какой-нибудь ужасный грех. Мне думается, он бы это сделал. Если бы он сказал: „Вы меня можете бить, бросить в тюрьму или повесить из-за этих чернокожих, но я не возьму греха на душу ради них“, то он был бы трусом. Я скорее пошла бы в тюрьму, чем соврать, как я соврала. Но я не побоялась бы сделать и то и другое.

Она сидела в оконной нише, выпрямившись, в напряженной позе, пока старалась высказать все эти мысли. Потом снова забилась в уголок. Она наблюдала за Вальтером, который сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, барабаня рассеянно карандашом по столу. Она не могла бы говорить так ни с кем другим в мире. Иетта затруднялась в выражении своих мыслей; в своем волнении она снова вернулась к прежним неправильностям речи, но она знала, что Лонгмэн не обращает внимания ни на двойные отрицания, ни на несогласованность чисел, родов и имен. Она знала, что он ее понял. И вот в ту минуту, когда у нее нашелся такой удивительный друг, она его теряет. На утро он уедет далеко отсюда на долгие, долгие годы. Центральная Азия... в этом названии слышалось что-то страшно далекое и опасное. С ним может что-нибудь случиться, и он никогда не вернется назад. Ей стало страшно, что она расплачется, если будет еще сидеть молча.

— О чем вы думаете?—спросила она.

— Я думал о том, боитесь ли вы чего-нибудь.

— О, да! Очень многого.

— Например?

— Ну, я боюсь Иетты Раевской, которая собиралась убить Мотыку. И я боюсь себя самое за то, что не порицала ее за это. И я боюсь оказаться ненужной. Я боюсь напрасной траты времени. Я боюсь — боюсь больше всего другого — невежества. — Она снова выпрямилась. — Да. Самое скверное, что с нами делают боссы, — это то, что они держат нас в невежестве. Я не уверена даже, что вы сможете это понять. У вас были книги в течение всей вашей жизни. Вы были в школе и в университете, вы профессор, — в голосе Иетты прозвучало благоговение, — у вас вся комната полна книг. Я сижу здесь, смотрю на них и пытаюсь подумать о том, какое должно иметь громадное значение знание всего, что заключается в такой массе книг, и мне хочется опуститься на колени — я такая невежда.

— Господи боже мой! Иетта, — свирепо сказал он, вскакивая со своего места, — не говорите так. Я не достоин вашей подошвы.

Он подошел к ней, взял ее руку и к удивлению Иетты смиренно поцеловал ее.

— Завтра я уезжаю отсюда — на очень долгий срок — и мне хочется вам сказать перед тем, как уехать, что вы святая, вы героиня. Для вас книги значат так много? И вы решили работать вместо того, чтобы поступить в университет? Книги? — Он схватил со стола одну из книг и злобно швырнул ее через всю комнату. — Книги? Это только бумага, краска и мысли мертвых людей. Истина и мудрость не черпаются из книг. Они не научат вас этому в университете. Да. Я провел среди книг всю свою жизнь. Я живу с ними. — Он затопал ногами и стал потрясать кулаками по направлению к безобидным шкафам. — Если у меня есть какие-либо действительные знания, если я приобрел хоть малейшую крупицу мудрости, то не благодаря книгам. Есть только один учитель — сама жизнь, и прежде чем научиться от нее чему-нибудь, вы должны сначала это выстрадать. Я не знаю многого, потому что все давалось мне очень легко. Сколько вам лет? Девятнадцать? А мне уже за тридцать. Вы говорите о том, что нужно стать передо мной на колени! Господи, боже мой! У меня

перед вами есть преимущество в десяти годах разницы и во многом другом, но я, как и вы, ничего не знаю, НЕ ЗНАЮ, понимаете—прописными буквами. Я хороший? Мне нужно просить у вас прощенья за то, что я поцеловал вам руку. Я не хороший! Фу ты! Мне хочется что-нибудь сломать!

Он свирепо озирался по сторонам в поисках какого-нибудь предмета, который можно было бы грохнуть об пол. Но вдруг его настроение духа сразу изменилось, и он, пододвинув стул к оконной нише, где сидела, вытянувшись в струнку Иетта, начал снова более спокойным тоном.

— Иетта, я — лодырь, я — снисходительный к себе самому глупец. Никогда за всю свою жизнь я не делал ровно ничего такого, чего мне не хотелось бы делать. Я никогда ничем не жертвовал ради какого-нибудь дела, абсолютно ничем: ни своими креслами, ни трубкой, ни хорошим столом. Ничем, кроме автомобилей или яхт, в которых я не нуждался. Бог одарил меня мозгами, которыми мне лень шевелить. И притом, кроме моей бесполезности вообще и себялюбивой траты времени, я еще трус. Почему я уезжаю в Персию? Не потому ли, что по моему мнению кому-либо принесет когда-либо какую-нибудь пользу или когда-либо сделает кому-либо жизнь слаще и лучше, если я буду расшифровывать головоломные надписи народа, который поклонялся вот этой корове с глупой мордой, на каминной доске? Нет. Я не настолько глуп. Не потому ли, что мне неизвестно, что я сделал бы, будь я так умен, как вы, чтобы понять, что мы должны отдать свою жизнь, чтобы спасти душу? Нет! Я знаю это столь же хорошо, как и вы, Иетта. Но я трус. Я уезжаю в дальние страны, потому что боюсь жизни.

Он снова вскочил и начал расхаживать по комнате.

— Ох, ладно!—со стоном вымолвил он.—Для одного дня хватит героических порывов. Но не давайте книгам гипнотизировать себя, Иетта. Шопенгауер как-то сказал, что учения Запада расшибаются о мудрость Востока, как свинцовая пуля о каменную стену. В книгах нет ничего, кроме „учений“. А вы уже приобщились несколько, Иетта, к восточной мудрости. Это часть вашего семитского наследия. Берегите его. Никогда не

позволяйте книгам становиться между собой и тесной связью с жизнью. Одно пульсирующее биение живого сердца ценнее всех напечатанных слов в тысяче книг. Я...

Но он прервал сам себя, уселся с унылым видом и стал смотреть через голову Иетты, которая опять забилась в уголок, на распускающиеся зеленые почки верхушек деревьев в Вашингтон-Сквэре.

Его тирада смутила Иетту гораздо больше, чем он воображал. Только спустя много времени она смогла извлечь его слова из сокровищницы своей памяти и понять, что, собственно, он хотел сказать, говоря о Знании и Мудрости. Она никогда не относилась так легко к книжной учености, как это делал Лонгмэн. Еще менее она реагировала на его восхищение ею, столь пламенно выраженное, и на самообвинения. Ее тронуло его страдание. Он упал с высот богоподобного величия. Это уже не был больше олимпиец с безоблачным челом, который соизволял допустить ее испить из источника своей мудрости. Это был просто страдающий человек. И вот Иетта начала любить его. Размышляя об этом, она позабыла, что он уезжает.

— Иетта,—произнес он внезапно:—Где вы думаете поселиться? Или вы собираетесь остаться у Мабель и мисс Мид?

— О, нет, почему же?—с головокружительной быстротой примчалась она снова в Нью-Иорк, пролетев через холодные пространства, которые отделяли этот город от Царства Грез,— я... я этого не предполагала. Я найду где-нибудь комнату. Скорее всего на Восточной Стороне.

— Это неважный план,—произнес он деловым тоном, ибо, несмотря на все, что им было сказано о биении сердец, он не подозревал о скорости взволнованного пульса Иетты.—Умственная жизнь Восточной Стороны протекает чересчур лихорадочным темпом. Вы усвоите себе тамошнюю очень скверную привычку проводить в спорах все ночи напролет, что влечет за собою только переутомление мозга. Да и, кроме того, вам придется жить слишком близко к месту работы. Вы предполагаете заниматься, и для вас нужно такое место, где бы вам не мешали. У меня мелькнула мысль. Мне кажется, для вас это будет хорошо;

мне же вы, безусловно, о ажете одолжение. Почему бы вам не поселиться здесь? У меня долгосрочный контракт. Мне не хотелось бы отказываться от него, даже если бы я мог. Я предполагал оставить ключ у миссис Рокко и просить ее заходить на квартиру раз в месяц, чтобы проветривать комнаты и выводить моль. Затем я намеревался платить одной из стенографисток в университете, чтобы она присматривала за поступающей на мое имя корреспонденцией. Каждый месяц бывает несколько счетов, а письма нужно пересылать мне. Не больше получаса работы в неделю, но все-таки кому-нибудь да нужно ее делать. Если бы вы озаботились этим, то я был бы избавлен от лишнего расхода, а вы платы за наем комнаты. Здесь очень хорошо заниматься — лучше, чем на Восточной Стороне. А кое-какие книги стоит почитать. Ну, за чем же дело стало?

— Все так ко мне добры,—сказала Иетта, мигая глазами, чтобы отогнать слезы.

— Тут нет ни малейшей доброты, — запротестовал он,— я сберегаю долларов десять в месяц.

Приняв ее молчание за знак согласия, он пустился объяснять, как она должна вскрывать письма и посылать корреспонденту напечатанные открытки с объяснением причин его отсутствия и еженедельно отправлять всю корреспонденцию французскому посольству в Тегеран. А засим он посвятил ее в денежные вопросы, как она должна платить за квартиру, уплачивать его членские взносы различным ученым и благотворительным обществам и т. д.

Все это время Иетта, прижавшись в уголок мягкого сиденья в оконной нише, пыталась уяснить себе, как страшно опустеет ее жизнь, после того как он уедет. Во всяком случае, для нее будет некоторым утешением, если она поселится здесь, в его комнатах, где он незримо будет присутствовать.

Пока он еще объяснял ей подробно о своей корреспонденции и о счете, который нужно будет открыть в банке на ее имя, явилась пара лакеев, нагруженных скатертями, салфетками и блюдами. Лакеи были присланы от Лафайетта, где Вальтер был постоянным клиентом. Он знал chef'a и garçons'ов по именам,

и они приложили все старания к тому, чтобы сделать памятным его прощальный обед. Книги и бумаги были убраны со стола и свалены на пол. И как раз в ту минуту, когда один из лакеев в последний раз оправлял скатерть, а второй зажигал свечи, пришли Мабель и Исидор.

ГЛАВА XVIII.

Вальтер прощается.

Мабель пришла на обед с некоторой неохотой. Она опасалась, что прощание может принять слишком личный характер, чтобы доставить удовольствие. Сердце Вальтера было полно такой горечи, что он обрадовался, когда разговор впал в другую крайность и превратился в прославление победы, которой увенчалась забастовка.

Когда, наконец, лакеи убрали со стола остатки пиршества и Вальтер стал нянчиться с кофейником, Мабель и Исидор стали обсуждать планы Иетты. Им нужно было многое сказать о том, что ей придется делать, чтобы попытаться объединить все отрасли изготовления готового платья. Но Вальтер, разлив всем кофе, резко вмешался в разговор.

— Вы, господа, кажется думаете,—бросил он им вызов,— что главная задача Иетты сведется к организационной работе среди работниц, занятых изготовлением готового платья.

— Разве это не так?—спросила Мабель.

— Нет! И, надеюсь, она не допустит, чтобы вы оба заставили ее так думать. Главнейшая ее цель в течение ближайших нескольких лет — это ученье. Работницы мастерских готового платья будут организовываться и реорганизовываться пятьдесят раз, пока не будет достигнуто окончательной формации. А Иетте удастся воспользоваться всего-на-всего одним удобным случаем, чтобы заняться развитием своего интеллекта. Его ей должно хватить на всю ее жизнь. Это важнее той работы, о которой вы твердите, потому что оно должно послужить основанием для будущих, более широких задач. Ей всегда придется разрываться

между такими обязанностями, которые кажутся противоречивыми. Каждый день она будет просыпаться с таким чувством, что есть что-то, что она в состоянии сделать, что поможет или сможет помочь вот в этой немедленной борьбе. Искушение посвятить все свое время работе для союза есть худшее, перед которым она может очутиться. Если она ему поддастся, то будет сожалеть об этом всю свою жизнь. Через три года, считая с данного момента, работа, которую она проделает по утрам, покажется ей, конечно, очень ничтожной, а ученье, которым она пренебрежет, очень, очень важным.

Говоря о „потогонных мастерских", вы, Мабель, проклинаете боссов за то, что они насильственным путем лишают девушек досуга и всякой возможности приобщения к культуре. Смотрите, как бы вы сами не выжали из Иетты пота, как бы вы сами не допустили, чтобы она занялась выжиманием пота из самой себя. Прямо бессмысленное преступление твердить все время: работай, работай, работай! Целая куча народу будет говорить ей об этом. Мне кажется, у нее достаточно смысла, чтобы самой разобраться в этом, но вы то, друзья ее, обязаны твердить ей—учись. учись, учись!

— Вы правы, Вальтер,—сказала Мабель с непривычной покорностью.

— Что мы должны сделать,—продолжал он,—это набросать программу для ее занятий. Что вы об этом скажете, Исидор?

— Мы только что выпустили новую брошюру, в которой намечена программа для чтения,—сказал тот.—Она называется: „Что нужно прочесть о социализме".

— Вот великолепная идея либерального воспитания,—фыркнула Мабель.—Она вовсе не собирается стать социалистом, который закрывает глаза на все остальное Ее призвание—работа в союзах. „Промышленная Демократия" Веббса принесет ей несравненно больше пользы, чем ваши социалистические трактаты.

— Столь же несносно выжимать пот из ее интеллекта, как и из тела,—простонал Лонгмэн.—Неужели вы, два безмозглых идиота, не в состоянии понять, что прежде чем прочесть какую-нибудь из этих книг, вы прочли сотни других, учились годами?

Я думаю, что она, по крайней мере в течение нескольких лет, не будет специализироваться—во время своих занятий—по вопросам социализма, тред-юнионов и тому подобное. Ей нужно не задаваться никакими предвзятыми целями и не подчиняться никакой указке. Она должна прочесть „Историю человеческого брака“ Уэстермарка, раньше чем хвататься за „Женщину“ Бебеля. Она должна прочитать Лекки и Гиббона, и Джона Фиске, и Мишле, и целую кучу книг по астрономии, геологии, физике и биологии—теперь невежда всякий, кто не имеет обширных знаний в биологии—ей следует ознакомиться несколько с психологией, прежде чем браться за Веббса. Ей следует рано или поздно приняться за классическую литературу. Вы, господа, имеете в виду Иетту Раевскую, организатора рабочих на ближайшие несколько лет. Прекрасно. Я же надеюсь, что она проживет еще десятков шесть лет и во всяком случае не меньше десяти лет. Ей принесет несравненно больше пользы чтение Марка Аврелия, чем Маркса и Энгельса. Ей нужно получить какие-нибудь сведения о традициях расы, о великих людях минувшего, о Гомере и Шекспире, о Раблэ и Свифте. И сверх того ей нужно ознакомиться с идеями современной нам эпохи, с Ибсеном и Толстым, с Шоу и Анатолем Франсом. С социалистами и с задачами тред-юнионов она встретится попутно. Вот указание, которое мы, ее друзья, можем ей дать.

И вот целый час или больше они препирались над большим листом бумаги и, наконец, выработали программу чтения для Иетты. Два утра в неделю предназначались для естествознания, два для истории, два для обществоведения и психологии и одно—для литературы. Иетта сидела в сторонке и прислушивалась ко всему, чрезвычайно подавленная той манерой, с которой эти три гиганта мысли швыряли друг в друга названиями книг, о которых она никогда и не слыхивала. Да, конечно, многому придется поучиться. Мабель в общем соглашалась с указаниями Вальтера, но Исидор упрямо настаивал на том, что нужно непременно включить больше сочинений по вопросам социализма. Особенно он пришел в неистовство, когда зашел разговор об истории.

— Что за смысл изучать массу всякой ерунды, которую придется позабыть? Для чего читать Мишле и Карлейля, знакомясь с французской Революцией? Эти старые идеалисты сделали лучшее, на что были способны. Карлейль и на самом деле думал, что революцию сделал Мирабо, а Мишле—что Дантон. Но ныне никто, даже и противники социалистов, не верят больше в „теорию великих людей". Вся наша история должна быть написана вновь с точки зрения современности. Это еще не сделано, и единственный путь к правильному пониманию вещей состоит в том, что надо проникнуться социалистическими идеями, вбить себе в голову, что наш мир—мир экономических классов, не отдельных индивидов, тогда вы сможете читать любую книгу без всякой опасности—вы будете знать, с какой оценкой к ней подойти.

Вы говорите о „предвзятости"—хорошо, вот на этом-то я и настаиваю. Давайте, обсудим, как следует. Недостаток глубокой социальной предзятости и делает бесплодными столь многих из наших современных реформаторов, обуреваемых прекрасными намерениями. Люди все еще верят, что великие перемены могут быть осуществлены только ярко выраженными индивидуальностями. Бесчисленное множество поборников мира уверено, что господин Карнэги намеревается уничтожить войну. Но еще больше, повидимому, думает, что существующий порядок вещей можно реформировать по кусочкам. Крестовый поход против детской смертности может послужить хорошим примером. Идея его прекрасна. Но тут делается попытка изолировать этот вопрос от всех остальных социальных проблем и добиться его разрешения в отдельности. Так нельзя делать! Вопрос тесно связан с отвратительными помещениями и с земельной собственностью, со скверным молоком и торгашеством, с низкой заработной платой и индустриализмом. Как и война—это вполне естественная, неизбежная часть капитализма. То же самое и с трэд-юнионами. Они силятся отделить свою экономическую борьбу с боссами от политического характера социальных проблем, а так рассуждать нельзя. Юнионисты являют собою жалкое зрелище только потому, что они все еще рабы старой культуры; им не хватает широкого кругозора. То, что они действительно

стараются делать, хорошо, но они бесплодны, ибо их основная идея—ошибочна.

— Благодарю вас,—сказала саркастически Мабель,—я с таким удовольствием узнала, в чем мы ошибаемся.

— Ну, Иетта,—сказал Лонгмэн, делая жест, с каким владелец балагана рекомендует вниманию публики свои раритеты,—представление сейчас начнется. По правую руку вы видите упрямого, не знающего компромиссов социалиста чистейшей воды,—Исидора Брауна. По левую „подозрительного", „буржуазного" реформатора—постепеновца, мисс Мабель Трэн. Они сейчас вступят в кровопролитную схватку.

— Но кто же вы?—вставила свое замечание Иетта.

— Да,—откликнулся эхом и Браун,—кто же вы?

— Это неинтересная деталь. Я только посредник в схватке.

— Он в состоянии подшучивать над серьезностью положения,—сказал Браун.—Но боится или не может определить свое собственное.

— Я скажу вам, Иетта, что он такое, — вызвалась Мабель.—Он...

— Нет, я ей сам скажу,—перебил Вальтер—Если хотите, чтобы я определил себя одним словом, то я синдикалист. У нас нет соответствующего английского слова для этого понятия.

— Он верит во всеобщую стачку,—пояснила Мабель,—хотя в действительности едва ли удается одна стачка из десяти.

— Совершенно верно, и вот именно потому,—согласился Вальтер с особым подчеркиванием.

— Он убежден,—добавил Браун,—что хотя у рабочего люда нет достаточной классовой сознательности, чтобы подавать голоса сообща, мы можем все-таки требовать, чтобы он боролся сообща.

— Совершенно верно и еще раз совершенно верно! Я ненавижу разговоры, Иетта, потому что—как я признавался вам перед приходом сюда сих двух благородных образчиков самопожертвования—у меня не хватает характера применить на деле свои убеждения. Я ненавижу разговоры, но никогда не делал ничего иного. Однако, и у меня есть такое же цельное убеждение, как и у Исидора.

Всеобщая забастовка имеет больше шансов на успех, чем дюжина мелких стачек, потому что она объявляется ради свободы — а это единственное, что интересует весь рабочий класс. Отдельные стачки в различных отраслях промышленности объявляются ради нескольких лишних копеек. И если какая-нибудь из них удается, то только потому, что она проводилась с большим энтузиазмом, чем об этом можно было судить по письменным требованиям. Вы подошли вчера как-раз к самой сути вопроса, сказав, что бастовали за то, чтобы не быть рабами. Держу пари, что вы сознавали это, выступая с речами и в других союзах. Какое из ваших требований интересовало их больше всего? Бьюсь об заклад на любую сумму, что это было „признание союза". У всех их были свои личные требования относительно заработной платы и рабочих часов. Но когда вы говорили им об объединении, то подразумевали свободу. Вы взывали к чему-то более значительному, чем вопросы о плате—к самой их любви к жизни.

В основе стачки должен быть идеал, к которому стремится каждый рабочий. Правоверные юнионисты, „А. Ф. Т.", Лига Женского Рабочего Союза, ведут борьбу за мелкие улучшения условий труда в мастерских, различные в каждой отрасли производства. Иной раз—довольно часто—один ряд требований противоречит другому. Единственно, что заставляет рабочих теснее сплачивать ряды в своем движении—это блистательная идея объединения. А вожди заняты проповедью разъединения.

Прочтите любое историческое исследование о труде, и вы увидите сами. Прежде всего каждый думал только о себе. Затем союзы в мастерских, и каждая мастерская за себя. Потом все рабочие данного города. Сейчас перед нами национальные трэд-юнионы. Завтра будут промышленные союзы. Перемена уже началась. У нас уже имеются Объединенные Строительные Ремесла. Мабель рьяно трудится над объединением работниц, занятых в различных отраслях производства готового платья. Рудокопы пошли еще дальше. У них есть настоящий промышленный союз. Это следующий шаг. Перед нами пример наборщиков, печатников, фальцовщиков, газетчиков, которые все

объединены в один громадный союз работников печатного дела. Машинисты, стрелочники, кочегары, кондуктора, путевые сторожа и рабочие железнодорожных мастерских—все они объединены в одном большом братстве железнодорожников. Двадцать гигантских промышленных союзов вместо сотни немощных маленьких трудовых организаций. Никто не может взглянуть фактам в лицо и отрицать, как необходимость перемены, так и действительный прогресс в этом направлении.

Браун приходит в содрогание при мысли об этом, потому что люди, которые настаивают ныне на такой перемене—Промышленные Рабочие Мира—ему не нравятся. Они не являются добрыми партийными социалистами. Мабель не любит их, потому что они высказывают неприятные истины о проходимцах, состоящих в ее организации. Я лично не люблю их по обеим причинам: потому что они столь же узки, как и Исидор, а затем и потому, что я считаю кое-кого из них такими же проходимцами, как и некоторых из вождей трэд-юнионов. Но самая идея выше отдельных личностей. Заметьте мои слова, Иетта, промышленный юнионизм с каждым годом начинает пользоваться все большими симпатиями у рабочих. Он победит. А выходом для промышленного юнионизма является всеобщая забастовка и восстание.

Исидор охает и ахает при мысли о кровопролитии. Социальную революцию нужно производить, надев лайковые перчатки. Он еще допускает возможность спорадических возмущений. Но великая победа должна быть достигнута в кабинках, где подают голоса. Справедливость должна быть возведена на трон посредством попечительных переговоров и партийных соглашений. Виктор Бергер вместо Дика Крокера. Центральный Комитет вместо Таммани-Холла. Он в самом деле верит в это, но его убеждение основывается на двух предположениях, которые оба по моему мнению весьма сомнительны. Во-первых, для этого необходимо, чтобы разум завоевал всю землю, а затем, чтобы громадное большинство относилось к голосованию сознательно—то-есть, имело социалистический штемпель. Во-вторых, чтобы все воротилы и все довольные, упитанные. любезные господа отказались от власти без всякого сопротивления.

— Мне не думается, чтобы они это сделали. Быть может, у них не хватит смелости защищать самим свои привилегии. Но отвага, поскольку она выражается в битвах, один из самых дешевых товаров на человеческом рынке. Наше правительство платит великолепным солдатам тринадцать с половиной долларов в месяц. Привилегированный класс всегда нанимал наемников для защиты своего добра и, мне кажется, так это будет и впредь. Он уже начал это делать в Пенсильвании, организовав конную полицию штата. Почитайте о том, как французские капиталисты устроили массовое побоище наших товарищей после Парижской Коммуны. Это было всего лишь тридцать лет тому назад. Я не вижу никаких причин рассчитывать на какую-либо совершенно неожиданную перемену в характере правящих классов.

Значит, миром будет править разум — бесстрастные умственные построения, как думает Исидор? Сомневаюсь. В мировой истории великие движения всегда происходили под влиянием страстного энтузиазма. Возьмите Реформацию, Английскую Республику или Французскую Революцию. Среди участников этих событий не было хотя бы одного человека из десяти, который действовал бы разумно, с точки зрения Исидора. Разум бессилен, если он не опирается на громадный энтузиазм. А если это так, то мы всего добьемся гораздо быстрее при помощи всеобщей забастовки, чем путем голосования.

Вопрос о насильственном или мирном перевороте весьма остр. Мы должны отделить то, что нам хотелось бы видеть, от того, что, по всей вероятности, произойдет. Кровопролитие омерзительно. Но оно довольно тесно связано с историей человеческого прогресса. Перед великой Революцией народные массы Франции коснели в самом беспросветном невежестве. Они пережили целое столетие революций и кровопролития, и теперь это самый культурный народ во всем мире. То же самое происходит ныне в России. Мы читаем в газетах об убийствах, казнях и восстаниях. Это значит, что интеллект великого народа начинает оживать. И ум нашего народа нужно тоже встряхнуть, чтобы пробудить его от спячки. Нам следует ознакомиться с новым и более глубоким значением старых слов—справедли-

вость и свобода. Мне хотелось бы верить, что этому можно научиться в школе, читая брошюрки социалистов. Но каждый народ, который когда-либо знакомился с этими понятиями, как следует, обучался им на полях сражений и на баррикадах. Я ненавижу кровопролития и боюсь их. Я убежден, что они гадки. Совершенно, как вы сказали, что по вашему мнению лгать скверно. Но я больше люблю свободу.

Есть еще и другая точка зрения: пока мы не выучим этих уроков, нам придется быть свидетелями того, как наши сильные мужчины и женщины подсекаются туберкулезом, нам придется стоять в стороне и наблюдать за избиением невинных младенцев, перед которым небольшое истребление детей Иродом кажется шалостью школьника. Социалистам не нравится слово „насилие". На самом же деле насилием насыщен воздух, которым мы дышим. Землевладелец выколачивает из бедняка арендную плату насилием—никакое количество болтунов-юристов не сможет скрыть того факта, что всякая несправедливость нашего нынешнего общественного строя поддерживается с помощью полиции, состоящей на жаловании. За спиной воротил стоит вся сила государства. Насилие гонит людей в потогонные мастерския, толкает юношей на преступление, а девушек вовлекает в проституцию. И вся эта дышащая смертью несправедливость будет существовать попрежнему, пока мы не научимся справедливости и свободе. Будем учиться по возможности мирным и легальным путем, но мы должны этому выучиться. Смотреть на кровь не очень приятно, но кровь не так невыразимо ужасна, как мокрота туберкулезного.

— То, что вы говорите, сущий анархизм, — запротестовал Браун.

— Я говорил вам сотни раз, что меня не запугать разными кличками. „Анархизм" такое же слово, указывающее на прогресс, как и „социализм". Мне думается, вы отдаете ему должное, когда дело идет об определении и анализе общества и промышленного развития. Но анархисты оттирают вас на задний план в понимании людских побуждений и общественных импульсов.

Я гляжу, Иетта, оптимистически на этот социальный конфликт. По моему мнению, не важно, в какой форме будет выражаться деятельность людей. Самое важное—не быть нейтральным. Если что и нужно, то лишь страстное стремление к справедливости. Раз ты видишь—видишь на самом деле—столкновение между жадностью и справедливостью и вступаешь в ряды революционеров, то совершенно не важно, поступишь ли ты в пехоту, кавалерию или артиллерию. В обществе я различаю правящий класс, жиреющий на несправедливости, громадные массы, охваченные летаргическим сном, относящиеся ко всему безразлично в силу невежества, и неизменно растущую армию готовых к восстанию. Всякий, кто сомневается в исходе,—глуп. История не знает ни единого года, когда бы не было достигнуто какой-нибудь победы на пути к Справедливости. Но равным образом глуп и тот—я подразумеваю вас, Исидор—кто пытается предсказать, как именно будет вестись война. За нашей спиной нет никакого всеведущего генерала, который руководил бы кампанией. Движение вперед на пути к победе есть результат бесчисленного количества усилий, некоординированных, часто сталкивающихся. Оно совершенно иррационально—точно так же, как и эволюция. Человекоподобная обезьяна, посиживавшая под доисторической пальмой и занимавшаяся поисками блох у своей дражайшей половины, не имела никакого понятия о том, что ее отпрыски, спустя века, превратятся в людей. Даже мы, при своем более высокоразвитом интеллекте, при своей способности к изучению памятников прошлого и к проникновению в будущее, не можем предсказать дальнейших шагов на пути к прогрессу. Направляющая сила — это инстинктивный житейский здравый смысл. Это более таинственная сила, чем какое-нибудь теологическое божество. Она всегда за работой, всегда толкает жизнь на новые эксперименты, ведет ее толчками через различные „видоизменения“ к лучшей форме.

Вся эволюция была историей жизни, борющейся за свободу. Произошла важная революция, когда первое малюсенькое микроскопическое животное вышло из неподвижного состояния, когда оно завоевало себе способность к движению, в поисках

пищи и более широкой жизни. И так одно поколение за другим приобретало новые способности. Способности, а не права, создают свободу. Подумайте, сколько тщетных опытов производила жизнь, пока не был создан человек! Тот же самый процесс происходит и ныне. Вы не можете подвести жизнь под какое-нибудь определение. Справедливость определяется не по какой-нибудь формуле. Победа придет не потому, что народ примет какую-нибудь теорию, но потому, что производятся тысячи и тысячи опытов. И неудачные опыты играют такую же роль в процессе.

Мало-по-малу этот здравый смысл пробуждает умы масс, охваченных летаргией. Это уже безусловный прогресс. Совершенно не важно, пробуждается ли ум индивида к жизни в трэд-юнионе, в социалистической партии, в группе анархистов, или в армии спасения. Важно то, что еще одно существо зовоевало себе способность к самостоятельному мышлению. Даже не имеет значения, истинны ли или нет те слова, которые пробудили его к жизни.

Жизнь не логична. И, как мне кажется, социализм почти задушил в себе свой до глубины души трогательный идеал в словесных усилиях казаться логичным. Трэд-юнионы в достаточной степени нелогичны. По крайней мере, вы можете сказать это о них. Но иной раз — и то случайно — и они бьют в набат.

Такая речь смутила Исидора. Она от начала до конца была в полном противоречии с его образом мышления. Но каким-то непостижимым путем в ней, казалось, заключалось некоторое подобие истины—в ней была известная убедительность. Ошибка, если она существовала, была слишком малозаметна, и ее трудно было уловить. Слушая слова Вальтера, Браун понимал, что от него ждут ответа. Он должен был выступить перед Иеттой на защиту своего знамени. Задача представлялась не легкой. Вся его жизнь строилась на неизменной вере, что надежды его народа возложены на деятельность социалистической партии. Он не знал ни уклонений, ни неискренности. Он чувствовал, что распространение таких взглядов, которые высказал Лонгмэн,

вдвое больше затруднит работу его партии. Его раздражало, что он не в состоянии сразу же уничтожить ересь своего друга. Он привык спорить с оппонентами, которые высказывали убеждение, что всякая перемена ненужна или невозможна. Вальтер допускал все это и шел дальше. Исидор был выбит из привычной колеи.

— С вами трудно спорить,—сказал он,—потому что ваши идеи так необычны. Я не собираюсь говорить, что вы не правы только потому, что вы в меньшинстве, что за вами всего один голос. Но трудно приводить доводы против пылкой речи. Мне хотелось бы, чтобы вы изложили свои выводы на бумаге, тогда я мог бы отнестись к ним с достаточной серьезностью.

— Метерлинк подошел к ним довольно близко в „Notre devoir social“,—возразил Вальтер.

— Ах, вот что!—сказал с пренебрежением Исидор.—Ну, так это же не аргумент, это нечто вроде волшебной сказки!

— Опять презрительные клички! Иногда истина кроется в волшебных сказках—ее там гораздо больше, чем вы можете выразить своей диалектикой.

— Ах, так—сказал Исидор, кидаясь в атаку,—в этом, повидимому, основное различие между нами. Вы какой-то человек из эпохи средневековья, живущий в царстве романсов и волшебных сказок, которым правит ваш инстинктивный житейский смысл. Вы забываете, что мы живем в эпоху разума. Вы говорили, что свобода заключается в способностях. Хорошо, я убежден, что способности налагают обязанности. Вместо того, чтобы глумиться над разумом и диалектикой, я думаю, что это главнейшая способность. Мы, разумные животныя, обязаны пользоваться, совершенствовать и доверять своему интеллекту. А теория социализма есть величайший триумф человеческого ума. Единственно, что с ней может сравниться—это теория эволюции. Но Дарвину пришлось бороться только с суеверием. Неважная штука убедить людей мыслящих, что для создания мира понадобилось больше ста сорока четырех часов,—поэтому его задача была в сущности выигрышной. Марксу же пришлось бороться не только с такой богословской чепухой, но и с оппозицией всего

правящего класса. Социализм всегда объявлялся опасным. Каждый профессор университета, который стал бы открыто обучать ему, потерял бы свое место. Но он никогда не замыкался в себя. Вокруг этого учения сгруппировались такие же светлые умы, как и вокруг дарвинизма. Оно неизменно растет.

Не доверяясь разуму, вы отбрасываетесь к насилию. Но я верю в способность к пониманию. Я не хочу основывать свои надежды на будущее на таких нелогичных вещах, как динамит или летающие пули.

Если вы не питаете уважения к интеллекту и логике, то, конечно, не симпатизируете социализму. Но вы не можете требовать от меня, чтобы я отказался от результатов своего мышления, обоснованных, как это и есть на самом деле, лучшими умами нашей эпохи, чтобы согласиться с вашими выдумками.

Я не требую, чтобы вы отказались от социализма,— рассмеялся Вальтер.—Наоборот, пока он кажется вам непреложной истиной, откажитесь от всего другого. Вы, повидимому, нашли для своих способностей подходящее применение в партийной работе—как Мабель—в трэд-юнионах—как я был бы никуда не годен и бесполезен и там и тут.

Позиция, на которой мне хочется удержаться, заключается в моем убеждении в том, что несмотря на ваши рассуждения и деятельность, несмотря на мои умозрения и разгильдяйство, этот инстинктивный житейский смысл продолжает делать свое дело ради своих собственных целей. Только будущие поколения смогут узнать, кто из нас был прав, если вообще мы правы.

Этот аргумент привел Иетту в содрогание и пленил ее. Потом в течение ряда следующих лет ей приходилось без конца слушать повторение подобных споров. Круг ее новых друзей, в который она вступала, был так же страстно заинтересован подобными вопросами социальной философии и этики, как молодежь, изучающая в Париже искусство, интересуется относительным значением линий и цветов или формами чистой красоты. Со временем разговоры утратили свое очарование; она пришла к тому выводу, что они часто ведут к переутомлению мозга, как

сказал Вальтер. Но это первое ее переживание было для нее колоссальным событием.

Оба мужчины откинулись на спинку кресел, лица их немного прояснились. Повидимому, они высказались. Иетта повернулась к Мабель, сидевшей около нее в нише окна.

— Вы не социалистка?—спросила она.

— Нет, — ответила Мабель. Такие споры надоедали ей.— И не анархистка. Я, слава богу, живу, божьей милостью, в 1903 году. Я не заинтересована ни в логических выводах Исидора, ни в выдумках Вальтера. Им обоим известно, что если рабочему люду хочется немножко масла на хлеб – оставим утопию в стороне,— то рабочие должны организовываться. Простой опыт показывает, что их можно организовать на почве экономических постепенных требований и что мы можем создать стойкие, дельные союзы, руководствуясь этими соображениями, прививающими с каждым днем рабочему классу великий дух единства. И простой опыт показывает также, что трудовые организации, которые требуют земли, не могут удержаться. Раньше бывали дюжины таких организаций, вроде Промышленных Рабочих Мира, а где они теперь? У этих господ не хватает практического смысла, чтобы организовать пикник.

Будь я теоретиком, вместо того, чтобы быть скорее дельцом, я бы ничего не имела против промышленного юнионизма. Он в программе дня, а я для этого и работаю. Но у меня совершенно нет времени для этих фанатичных мечтателей. Я ничего не имею против социалистической идеи о политическом представительстве, которого должен добиваться рабочий люд. Где только мне удается, я стараюсь замолвить за это словечко. Но опять-таки у меня совершенно нет времени для людей, которые не выполняют никакой реальной работы и тратят время на составление брошюрок, собственно ни о чем ровно не трактующих, и на ссоры из-за партийных интриг. Не сомневаюсь, они прямо удивительны со своими разумными рассуждениями и выдумками—это мастера-строители, архитектора будущего и все такое. Я же вполне согласна быть маленьким коралловым полипом, вносящим и свою долю в создание необходимого жизненного

фундамента, о котором они забывают. Во всяком случае, сегодня у нас не „званый вечер“—и так как мечтательность не моя специальность, то я не в состоянии поздно ложиться спать. Идемте.

Когда все четверо выходили на улицу, Мабель окликнула в дверях Исидора, шедшего в паре с Иеттой, и задала ему вопрос о судебном решении по делу работниц сигарных фабрик. Вальтер потащился сзади с Иеттой. Он был почти рад, что Мабель отказала ему в этих последних нескольких минутах, которые он мог провести tête-à-tête с ней. Весь вечер он предвкушал их. Но ему не удалось ими воспользоваться, чтобы поговорить с ней. Поэтому он обратился к Иетте, когда они стали пересекать сквэр.

— Чуть не забыл. Миссис Карнер питает к вам большую симпатию. Я знаю, ей будет очень приятно, если вы к ней как-нибудь зайдете. Не говорите, что я это вам сказал, но кое-что, о чем она говорила недавно со мной, дало мне возможность понять, как сильно вы ей нравитесь. Она очень старается показать, что ей нет дела решительно ни до чего, но в сущности, она серьезный и хороший человек. Работая в Лиге, вы будете очень часто встречаться с некоторыми довольно пустыми особами, но она хорошая работница.

Ну, вот, мы и пришли. Я пришлю ключи с миссис Рокко, когда буду уезжать. Вы можете перебраться ко мне в любое время.

Мабель поднялась наверх и открыла двери своим ключом. Затем она сошла вниз, чтобы проститься с Вальтером.

— Итак, до свидания,—произнесла она спокойным тоном.— Всего хорошего.

— Через очень большие промежутки,—сказал он,—мы будем получать почту. Мне будет очень приятно время от времени слышать о вас.

— Я не большая любительница писать письма,—сказала она,—но не забуду вас.

Иетта впервые увидела на самом деле, что Мабель не любит его,

— Прощайте, мистер Лонгмэн,—сказала она.—Мы все будем ждать вашего возвращения.

— Спасибо! И я надеюсь, вы будете тоже писать—сообщать мне все новости, когда будете отсылать мне мою корреспонденцию. Желаю вам успеха. Прощайте, Мабель!

— Прощайте, Вальтер,—откликнулась она через плечо.

— Исидор,—произнес Вальтер, когда дверь за молодыми девушками закрылась,—пойдем к Лафайетту и выпьем.

Браун посмотрел на часы.

— О, к чорту время! Пойдем! Мне нужно, чтобы со мной кто-нибудь поговорил.

Книга 4.

ГЛАВА XIX.

Иетта за работой.

В течение ближайших нескольких месяцев Иетта узнала новое значение слова „работа“. В потогонной мастерской она день за днем проводила за машиной, ум ее не был занят ничем, три четверти мускулов бездействовали, остальные—производили с бешеной быстротой одурманивающие рутинные движения. Мысли сосредоточивались на работе только тогда, если рвалась нитка. В новой работе не было никаких повторений, не было ничего похожего на это беспросветное однообразие. Каждый поступок, каждое произнесенное слово были результатом сознательной живой деятельности.

Благодаря буйному жизнерадостному темпу этой деятельности, оставалось мало времени, чтобы тосковать об отсутствующем Вальтере.

Странный парадокс нашей жизни: в то время, как ни одно из социальных явлений не затрагивает нас так чувствительно, как организация труда, в то время, как очень мало вопросов имеет для нас бо̀льшее значение, многие из нас совершенно ничего не знают о деталях этой великой промышленной борьбы. На нашей одежде имеется „ярлык союза“ или она сделана руками „скэбов“. И в том и в другом случае она возникла в результате конфликта. Немало людей ломало себе головы над вопросом, следует ли печатать эту страницу, которую вы сейчас читаете, в „закрытом“ или „открытом“ помещении. Вокруг наших папирос, коробочек, в которые они уложены, спичек, которыми мы их зажигаем, кресел, в которых мы их покуриваем,

и ковров, на которые мы небрежно стряхиваем пепел, кипит трагическая борьба. В ней замешаны девять людей из каждого встреченного нами десятка. Человек, принимающий от нас никкелевую монетку на подземной железной дороге, лакей, подающий нам завтрак, гости за обедом, невидимое лицо, поднимающее в театре занавес, шоффер таксо-мотора, отвозящий нас домой,— все борятся за или против „юнионизма".

С человеческой точки зрения нет более глубокой, более трогательной драмы. Среди побуждений, вдохновляющих актеров, мы видим искренние убеждения, жестокие, бессмысленные предрассудки, мрачный героизм голода, любящий удобства цинизм, черную измену и чистосердечный идеализм. Сцена—которой служит наше отечество—переполнена наемными проходимцами из „частных сыскных агентов" и динамитчиками. В труппе имеются такие персонажи, как Джэн Аддамс и господин Пинкертон, проповедники мира и люди, не останавливающиеся перед пролитием крови. Едва ли среди нас найдется кто-нибудь, кому не придется в свое время выступить на сцене и сыграть ту или иную роль.

С точки зрения политики, конфликт имеет более глубокое значение. Какое отношение государственных людей к все возрастающему недовольству тех, кто выполняет работу всего мира,— недовольству, которое неуклонно и быстро выливается в организованные формы? Почти два миллиона наших граждан делают взносы в союз, число это увеличивается на четверть миллиона в год. Этот факт имеет большое значение в политике. Как же тут поступить? Всякий, кто задумается над этим, не сможет отрицать, что рано или поздно нам, как нации, придется ответить на подобный вопрос.

Организация труда, глубокая в своем политическом значении, богатая по своему человеческому характеру, затрагивает нас на каждом шагу. Но весьма немногие из нас имеют какое-либо представление о жизни тех мужчин и женщин, которые посвящают себя этому величественному, грозному движению В чем, например, состоит повседневная работа секретаря Союза Газопроводчиков в нашем городе? Что такое „агитатор"? Каковы его обязанности? Как он проводит свое время? Для чего?

В эту-то малоизвестную жизнь и погрузилась Иетта. Прежде всего она была „деловым агентом“,—или, как мы чаще говорим, „разъездным делегатом“—своего Союза Работниц Жилетных Мастерских. Она должна была выступать во всех деловых сношениях между организацией и боссами.

Когда к ней поступала жалоба, что какой-нибудь предприниматель нарушил договор, который он подписал с Союзом, она должна была произвести расследование. Если обвинение подтверждалось, то она могла призвать работниц к приостановке работ, пока провинившийся босс не заявлял о своем подчинении соглашению.

Трудовой организации точно так же трудно найти удовлетворительного „делового агента“, как и коммерческому предприятию. Один чересчур груб, другой слишком податлив. Один постоянно раздражает предпринимателей и способствует появлению ненужного трения. Иной сводит с боссами дружбу и дает обернуть себя вокруг пальца. Иногда „деловой агент“ идет на подкуп, продает своих доверителей за взятку, совершенно так же, как это делают некоторые из наших политических представителей.

Даже в тех отраслях производства, где союзы существуют уже давно и где между ними и предпринимателями установились довольно прочные отношения, положение „делового агента“ требует такого такта и уменья, которые встречаются редко. Делегату рабочих прямо невозможно достигнуть полного понимания со стороны боссов. Делегат принимает близко к сердцу интерес всей отрасли производства, интересы рабочих, работающих в различных местах при самых разнообразных условиях, между тем как босс думает только о своей мастерской. Один старается выдвинуть на первый план общие правила, другой ищет исключений. Предприниматель может быть в дружеских отношениях с союзом и вдруг как-нибудь врасплох потребовать какой-нибудь уступки, на которую сами же рабочие охотно бы согласились. Но „разъездной делегат“, знающий, что все боссы не так дружески настроены, понимающий, что он не может уступить одному в том, в чем отказывает другим, не имеет

права делать исключений, даже если бы они казались ему разумными.

Положение Иетты было вдвойне затруднительным. Хозяева жилетных мастерских еще переживали боль своего поражения. Они смотрели на союз, как на неприятное новшество, как на посягательство на свою свободу. Появление у них в мастерских Иетты казалось им дерзостью. С другой стороны, новый союз был слаб до жалости. Касса пустовала. Боссам это было известно, они также знали, какое можно оказать давление на служащих, если подействовать на забастовку голодом. Они пытались использовать преимущество своего положения. Общество хозяев жилетных мастерских, распавшееся было после дезорганизации, последовавшей за забастовкой, начало снова функционировать. Часто происходившие собрания предвещали новую атаку. Все девушки почувствовали какую-то тревогу, носившуюся в воздухе. Причины для столкновений были почти в каждой мастерской. Но новая забастовка—если бы она не удалась—наверное, погубила бы союз. Нужно было выиграть время, откладывая новый взрыв. Здравый смысл Иетты, дополненный испытанными советами Мабель, помогал им пройти через многие теснины.

Критический момент наступил приблизительно через месяц в той самой „Коронной" Жилетной Компании, перед которой Иетта пыталась убить Мотыку. Хозяин, Эдельштейн, был именно таким человеком, чтобы прибегать к услугам подобного негодяя. Он начал нападение, рассчитав трех девушек, которые принимали большое участие в проведении забастовки. Оговорка в соглашении, которое он подписал, гласила, что никаких репрессий не может быть допущено по отношению к членам союза. Если бы позволить Эдельштейну нарушить это соглашение, то и другие боссы наверное пошли бы по его стопам, и мало-по-малу были бы потеряны те небольшие преимущества, которых добились такой дорогой ценой.

Иетта попыталась урезонить босса. Он с задорным видом всунул в рот сигару под совершенно невероятным углом, положил ноги на конторку и нахально стал напевать сквозь зубы какой-то мотив, пока она говорила.

— Если вы думаете, что вам удастся устроить беспорядки у меня в мастерской,—сказал он,—то можете попробовать еще раз. Союзу желательно узнать, почему я выставил этих девушек? Прекрасно, сообщите союзу, что мне не понравилась их манера причесываться!

— Сейчас девять часов,—сказала Иетта.—Если вы не примете обратно на службу этих девушек к трем часам—то-есть, через шесть часов—или не сообщите союзу, какие у вас были серьезные основания для их увольнения, то я объявлю в вашей мастерской забастовку.

— Проваливайте и объявляйте забастовку,—сказал он свирепо.—С моих девушек хватит вашего паршивого союза. Они не захотят снова бастовать.

Хотя Иетта постаралась вручить свой ультиматум с внешним спокойствием и приняв решительный вид, однако последовавшие за сим шесть часов были для нее самыми неприятными, которые она когда-либо провела. Бросят ли девушки по ее призыву работу? Если они этого не сделают, то союз, по всей вероятности, погибнет. Эдельштейн, наверное, сделает им какие угодно поблажки, лишь бы они остались. За его спиной стоят другие боссы, которые подстрекают его. Им хочется уничтожить союз. Что же она может предложить девушкам, кроме голода и идеалов? В кассе нет даже и десяти долларов. Большая часть девушек еще не разделалась с долгами со времени первой забастовки; у многих из них квартирохозяева отнимут имущество, если они опять забастуют.

Но сторона Иетты оказалась сильнее, чем она думала. Успех забастовки научил девушек вполне ощутительно, какое значение имела лойяльность. Распадение общества хозяев произвело совершенно противоположный эффект. Каждый босс старался первым покинуть своих товарищей и таким образом выговорить себе у союза лучшие условия. Эдельштейн не доверял—да и глуп бы был, если бы доверял—остальным предпринимателям. Они пользовались им, чтобы загрести жар чужими руками, и он это знал. Если ему удастся разгромить союз, то они охотно используют его победу. Но, собственно говоря, они его конку-

ренты; если же он сунется в переделку один на один, то они с такой же радостью извлекут выгоду и из этого. Он посоветовался со своими старшими работницами. Все они были убеждены, что найдется достаточно народу, чтобы бросить работу и остановить деятельность всей мастерской. Итак, три девушки были приняты обратно на службу.

Эта победа вдохнула в Иетту новую силу и уверенность. Она оценила по заслугам своих противников и больше ничего не боялась. Она вышла на путь работы более твердой поступью, с более пламенной верой в конечный триумф своего дела. Ее решительная стычка с Эдельштейном окончательно перетянула весы в ее пользу. Боссы начали признавать союз, как нечто неизбежное. Иетта не призывала к забастовке в течение многих месяцев, пока девушки не перевели духа и не набрались настолько сил, чтобы потребовать и добиться нового увеличения заработной платы.

Ее работа в качестве делового агента поглощала у нее немного времени. Большая часть его проходила в усилиях организовать других работниц, занятых в мастерских готового платья Успех работниц, шьющих жилеты, произвел громадное впечатление на остальные потогонные мастерския. Идея „союзов“ стала популярной. Рано или поздно им приходилось организовываться— неизбежная логика событий повсюду заставляет труд объединяться. Тем не менее это не было плаваньем при отличной погоде. Но работа Иетты постепенно становилась все важнее и важнее. Хотя она иногда приходила в отчаяние от медленности своего движения вперед, но Мабель неизменно сияла и много говорила об ее замечательном успехе.

Но в своих усилиях объединить различные отрасли производства готового платья Иетта сталкивалась лицом к лицу с самым сложнейшим вопросом организации трудящихся. В единении, вот где сила; и если мы не наляжем все вдруг, то, наверное, сляжем каждый поодиночке. Но если вы перечтете историю нашей страны за период времени от Революции до ратификации конституции и припомните различные усилия, направленные к расторжению Союза, которые достигли высшего

своего выражения во время Гражданской войны, то будете поражены тем, как трудно было дожить до поразительно простой идеи—согласованности действий в политике. То же самое замечается и в трудовых организациях.

Почти во всякой отрасли промышленности есть небольшие группы высоко-квалифицированных рабочих, занимающих выгодное стратегическое положение. Таковы, например, „закройщики“ в производстве готового платья. Их союз самый старый из всех. На практике каждый проживающий в стране, знающий это мастерство, является членом союза. Их нельзя заменить неискусными „скэбами“. Они сумели настоять, чтобы боссы, обращаясь к ним, называли их „мистер“. Для чего им соединять свои силы с этими новыми союзами, у которых нет ни гроша денег? Что они выиграют, предоставляя свою кассу в распоряжение борющихся работниц, занятых выметыванием петель?

Для чего зажиточной провинции Нью-Иорк входить в союз с крошечным Делаваром или далекой Георгией? Каким образом можно на справедливых началах установить нормы представительства в предполагаемом Конгрессе? Закройщики не станут прислушиваться ни к одному предложению, которое не даст им подавляющего большинства голосов в совете. Вот против таких непреложных фактов и должна была выдвигаться теория промышленного юнионизма, которая казалась Иетте такой заманчивой, когда ее развивал перед нею Лонгмэн.

Сперва Иетту приводила в смущение борьба между соперничающими организациями, ищущими поддержки у рабочих. Среди них была Американская Федерация Труда, которой Мабель принесла свою верноподданническую присягу. Ее организаторами были практичные люди, заинтересованные прежде всего, всегда и неизменно в условиях работы в мастерских. Они пользовались своего рода успехом, но их девиз: „Пожалуйста, поменьше несправедливости!“ казался Иетте робким. Затем была партия социалистов. Их теории производили на нее большее впечатление—они шли дальше в своих требованиях и, повидимому, имели более широкий кругозор. Но из всех социалистов, которых она знала, Браун был одним единственным,

кто активно интересовался организацией рабочих. Остальные, повидимому, были всецело поглощены политическими выступлениями. Были также и Промышленные Рабочие Мира. Они обращали весьма мало внимания как на прочно организованные союзы, что было коньком Мабель, так и на партию, в которую вложил такую веру Исидор. Силу свою они видели в духе восстания. Более специфически, чем остальные партии, они стояли за Революцию. Они настойчиво взывали к той части существа Иетты, которая была живо затронута бесконечными страданиями, которые она видела вокруг себя, к той части ее личности, которая заставила ее броситься в слепом бешенстве на Мотыку. Она сознавала, что этот порыв был слепым и опасным. Трудно было себе представить, чтобы он опять повторился. Но она не могла пренебрегать этой чертой своего характера, хотя и боялась ее. Эта черта не умерла в ней, а только дремала. И Иетта знала, что такое же точно чувство живет в сердцах всех людей, которых попирают ногами,—ее товарищей по борьбе за жизнь и свободу.

Трехсторонний спор, слышанный ею впервые за прощальным обедом у Вальтера, повторялся повсюду, и она слышала его везде. Она чувствовала, что он больше не является для нее интересным, чисто академическим, рассуждением, но жизненной проблемой рабочего класса. Перед ней открывалось несколько дорог, и надо было определенно решить, по которой итти.

Массовый митинг в Союзе Бочаров, объявленный для сбора в пользу Западной Федерации Рудокопов, послужил для Иетты яркой иллюстрацией скомканности идей, запутанного конфликта между заманчивыми теориями и суровой действительностью. Все классы общества были потрясены известиями о насилиях и кровопролитии во время картинного взрыва гражданской войны в Колорадо. Для всех было ясно одно: бесполезно проповедывать мир, бесполезно говорить о гармонии интересов между трудом и капиталом, Гражданская Федерация не может сделать ничего. Занавес отдернут в сторону. Это война.

Немногие из рабочих Нью-Иорка относились с одобрением к тем методам насилия, к которым прибегали рудокопы. Но

в пылу битв подобные соображения не принимаются в расчет. Рабочий класс Нью-Иорка пожелал помочь.

Было произнесено уже две или три чинных речи, когда произошло замешательство, вызванное делегатом рудокопов. Вместо того, чтобы рассказывать, как возникла забастовка, он, вопреки ожиданиям, использовал предоставленное ему время для наветов по адресу Американской Федерации Труда и для восхваления промышленного юнионизма. Слушатели собрались, чтобы выразить свое сочувствие рудокопам. А он оскорблял организацию, к которой принадлежало большинство этих жителей Восточной Стороны.

Иетта никогда не слыхивала более сильной речи. Оратор бросал обвинение милиции Штата и не боялся неприязненности со стороны аудитории. Своей внешностью—это был человек невероятной силы—он выделялся резко среди более слабых жителей города. Его могучий голос гремел над всей аудиторией и покрывал шум.

— Американская Федерация Труда,—восклицал он,—прогнившая аристократия. Повсюду она давит менее удачливых рабочих. Больше забастовок перебивается „лидерами труда“, чем проигрывается в честном бою. Пока мы не разобьем ее вдребезги, рабочему классу не на что надеяться. Забастовав у себя на копях, мы уже добились пятидесяти трех часов в неделю. И не только для квалифицированных рабочих, но для каждого, кому приходится работать под землей. У нас нет вождей, которые шляются в Гражданскую Федерацию и распивают шампанское с капиталистами.

Посмотрите на союзы, которыми вы гордитесь. Вам известно столь же хорошо, как и мне, что Большая Шестерка штрейкбрехерствовала по отношению к печатникам. Ни один из работников печатного дела не добился ничего. Типографы всех их оставили с носом.

Никто не может рассчитывать на шарлатанов из трудовых организаций, пока у него не будет достаточно денег для вступительного взноса.

Вы, господа юнионисты, добились и помещений, и лучшей участи, и „выгод“. Я же говорю вам, что Революция придет от

неквалифицированных рабочих, которые не в состоянии платить ваши вступительные взносы. Если вы не посторонитесь, то полетите вверх тормашками вместе с остальными аристократами и воротилами.

И все-таки ваша добыча не так уж хороша. Она не будет у вас вечно. Она находится в зависимости от вашего искусства, а машины с каждым днем убивают его. Посмотрите на выдувальщиков стекла. Это было отличное ремесло, не так ли? Вам не суметь выдуть стекло, если вы не прошли долгого ученья. А уж если этому научились, то дело в шляпе—у вас будет заработок до конца ваших дней. Чудесно, не правда ли? Как раз та „Дешевая Распродажа", о которой мечтает Сэм Гомперс. Как вдруг кто-то изобрел машину. Теперь выдувальщики стекла вопят о законе, регулирующем детский труд—двенадцатилетний щенок может выработать при помощи машины больше, чем двенадцать взрослых рабочих вручную.

Вам, юнионистам, не мешало бы пойти взглянуть на машину—на автомат, который вышибет дух и из всякой другой отрасли производства. Вы увидите тогда, что произойдет с вами и с вашей „А. Ф. Т.".

Отец мой был маляром, работавшим „под дерево", он раскрашивал „под дерево" панели и бюро—отличное было ремесло. У него был хорошенький домишко с садиком при нем; старуха держала прислугу. Мы были прямо аристократами. Он собирался посылать меня в школу, право! Затем была изобретена машина. Отец удрал в Колорадо, а я пошел на шахту, когда мне стукнуло тринадцать лет.

Только представьте себе на минуту машину. Она выполняет работу лучше человека, и вот маляры остаются без дела. Она обходится без ног, поэтому ей не нужны сапоги. Беда для сапожников. У нее нет головы, поэтому она не изнашивает трех шляп в год, как мой старик. Беда для шляпочников. У машины нет брюха, она ничего не ест. Это удар для мясника и пекаря—да и для фермера. Машина не болеет. Не нужно и докторов. У машины,—он сделал паузу, чтобы произвести больший эффект,—у машины нет души—ей не нужен даже и священник!

Машина убивает союзы обученных рабочих. Она ведет к эпохе неквалифицированных рабочих. Ответ на это—Промышленный Юнионизм.

Аудитория была слишком рассержена его нападками и не аплодировала. Произведенный сбор не дал и половины ожидаемой суммы.

— Форменное сумасшествие,—таково было замечание Мабель, когда они возвращались домой.

— Но все, что он говорил, показалось мне правильным,—запротестовала Иетта.

— Правильным?—задала вопрос Мабель.—С какой, собственно, целью он явился? Собрать денег для бастующих рудокопов, которым они нужны. Ведь он даже и приехал сюда не на свой счет. Они его послали—устроить сбор. А он провозглашает целую кучу разных нелепых идей и все портит. Я не уверена, что нам удалось собрать достаточную сумму, чтобы оплатить его расходы по поездке. Это ли вы считаете правильным?

Иетта не могла подыскать ответ.

Но усилие разрешить подобную задачу послужило крупным фактором для ее умственного развития. Оно лишний раз побудило ее заниматься. Она искала знаний не потому, что „культура“ условно считается хорошей вещью, а потому, что она чувствовала живую потребность в более широком образовании для своей повседневной жизни.

Как и предсказывал Вальтер, у нее было постоянное искушение пренебречь занятиями. Она мужественно сопротивлялась. Но когда организованные ею работницы, шьющие шаровары, объявили забастовку, она не могла усидеть за книгами. Все свое время она посвятила забастовке. Это был только трехнедельный перерыв. Но на следующий год работницы, занятые выметыванием петель, бастовали целых два месяца, в самое горячее время года—и потерпели неудачу. Для Иетты это было первым поражением. Последние недели были каким-то кошмаром. Ребятишки умирали с голоду. Несколько пожилых женщин повесилось. Когда, наконец, все было кончено, Иетта поплелась

в Лигу Женского Рабочего Союза и подала заявление об отставке.

— С чего это вам пришло в голову?—спросила Мабель.

— Ох! Ничего у меня не выходит. Я не могу больше показаться на Восточной Стороне. Не могу ни на кого смотреть. Все это случилось по моей вине. Я их подбила на забастовку! Я им наобещала так много!

В тот момент, когда Иетта выходила из бюро, Мабель протелефонировала миссис Карнер на ее дачу в Кос-Коб-на-Проливе.

Иетта послушалась совета Вальтера, касавшегося миссис Карнер, и между ними возникла настоящая дружба. Мабель не могла понять, почему эта избалованная светская дама, заботливо культивирующая в себе пренебрежительное ко всему отношение, почувствовала влечение к молодой еврейке с таким серьезным складом ума; но ей было известно, что они часто завтракают вместе. Поэтому она рассказала миссис Карнер по телефону, как Иетта расстроена.

Иетта проплакала у себя на подоконнике, пока не уснула тревожным, полным разных видений сном, какой бывает только при упадке сил. Она очнулась, наконец, от кошмаров, услышав стук в дверь. Это была миссис Карнер.

— Ах вы, бедная юница! Я забежала в бюро минутку тому назад, чтобы подписать Мабель кое-какие бумаги, и она рассказала мне, что вы подали заявление об отставке. Ну, я так рада! Теперь для вас не существует извинений, что вы у меня до сих пор не были. Я живу одна одинешенька в Кос-Коб. Мотор у подъезда. Надевайте шляпку!

Не успела Иетта сообразить, что такое с ней происходит, как уже сидела в автомобиле. Через пятнадцать минут они выехали за город, и миссис Карнер обняла ее.

— Они просили столь немногого,—прошептала Иетта.— Не так уж много, как требовали мы, работницы жилетных мастерских.

Миссис Карнер не сочла нужным ответить, и Иетта снова погрузилась в какую-то дремоту. Наконец, они повернули и проехали через каменные ворота в именье Карнера. Иетта только бросила мимолетный взгляд на прекрасно политую лужайку и расстилающийся перед ее глазами Пролив. Она взбежала наверх и кинулась на кровать. На утро миссис Карнер не позволила ей встать. Первый раз в жизни Иетта провела весь день в постели.

Когда ей позволили встать, она нашла, что имение было необычайной страной, предоставлявшей широкие области для исследований. Оранжереи, ручной олень, безукоризненные конюшни, молочная ферма, псарни, лодочный сарай—все это бесконечно ее интересовало. Интересовало настолько, чтобы заставить позабыть на время ужасы Нью-Иорка. На третий день она подружилась с садовником и после этого поднималась вместе с солнцем, чтобы помогать садовнику собирать мак.

В пятницу появился мистер Карнер вместе с каким-то господином и его женой, фамилии которых Иетте не приходило в голову запомнить, и все они предприняли морскую прогулку, продолжавшуюся до конца недели. Большую часть времени старшие члены общества провели в игре в бридж. Иетта свела дружбу с морем и с седовласым стариком матросом с Азорских островов, говорившим только по-португальски. Как-то, во время стоянки на якоре, он помогал ей ловить рыбу. Морские прогулки понравились бы Иетте еще больше, если бы ей позволяли обедать на баке вместе с командой. Ей очень нравилась миссис Карнер, когда они проводили время вдвоем, но было неприятно видеть ее со всеми этими господами.

Тем временем румянец снова вернулся на щеки Иетты, и, услышав, что Мабель изорвала ее заявление, она уехала на Вашингтон-Сквэр и опять принялась за работу.

Если не считать таких кризисов, Иетта строго следовала той программе чтения, которую Вальтер составил для нее. Средина дня и вечера принадлежали работе для Лиги, отдавались самой занятой жизни реального мира. Утра принадлежали Вальтеру.

Ее первая мысль была всегда о нем. Пока готовился кофе, она занималась его корреспонденцией. После раннего завтрака, проведенного над разложенным перед ней листом с составленным Лонгмэном проспектом, она усаживалась в одно из его кресел и принималась за одну из его книг. Следуя его указаниям, она делала многочисленные заметки и по прочтении книги писала на четырех-пяти страницах о главных мыслях, которые она почерпнула из данного сочинения. Все эти заметки она заботливо сохраняла. Когда он вернется, то увидит, как точно она следовала его указаниям.

Далеко от Иетты, на другом краю света, Лонгмэн вел в палатке грубую, бодрящую жизнь среди опасных, фанатически настроенных туземцев. Трудно представить себе более резкий контраст между этими двумя положениями. Вальтеру и во сне никогда не снилась та преданная любовь, которую ему предлагали за столько тысяч миль от него. Он и не подозревал, как его случайные письма, в ответ на ее еженедельные, раздували это пламя. Он был всецело занят состязанием с временем и трудностями, чтобы закончить свою работу.

Работа давалась экспедиции не легко. На развалины, раскопками которых они занимались, туземцы смотрели с каким-то суеверным благоговением. Небольшая группа ученых имела при себе для защиты всего лишь десятка два ненадежных солдат; поэтому у истинных мужчин—маркиза Д'Отвилль, главы экспедиции, сухощавого, седовласого ветерана Алжирских войн, Делануэ, щеголеватого парижанина, который в качестве исследователя вырезал свое имя во всевозможнейших пунктах земного шара, Вибера—фотографа и Вальтера были полны руки дела. Они служили бастионом, за которым полдюжины вечно ноющих, смахивающих скорее на старых дев, специалистов занимались измерением черепов, собирали осколки глиняной посуды, делали копии с надписей и изучали фольклор.

Гораздо легче любить того, кто отсутствует, чем сохранять любовь, живя в непосредственной близости с обычными недостатками и слабостями любимого. По мере того, как проходили месяцы, Вальтер Лонгмэн—или, вернее, тот образ, который Иетта

представляла себе под этим именем—приобретал все новые приятные качества, одарялся все более замечательными чертами характера. Иетта едва знала его в действительности. За пять-шесть встреч с ним она заметила в нем некоторые привлекательные черты. Он показался ей олицетворением того образа жизни, который ей хотелось бы вести. Жизнь, полная опрятности и комфорта, но свободная от постыдной роскоши. Жизнь среди книг, но в такой близости и связанная с такой симпатией к борющимся человеческим толпам, что ее нельзя было бы упрекнуть в педантизме.

Ее мечты о нем—благодаря его отсутствию—не встречали никакого противоречия. Если в окружающей ее жизни она видела какой-нибудь поступок, казавшийся ей хорошим, то не сомневалась, что Вальтер мог бы это сделать и сделал бы даже лучше. Она была уверена, что он свободен от той неприятной мелочности, которую она замечала у своих сотоварищей. Авторы, чтением которых она занималась, казались ей страшно умными, но их достижения не могли сравняться с мистической мудростью Вальтера. Очень легко посмеяться над такой блажью—и еще легче заплакать.

Идолопоклоннический фимиам, который она возжигала на алтаре отсутствующего, служил для нее колоссальной побудительной причиной для занятий. Знание становилось не только дорогой к могуществу, но и к одобрению, которое можно было снискать у Вальтера. Величайшим благом, унаследованным от него, было воспоминание об его презрительном отношении к умственным избитым колеям, к высушенным формулам. „Нельзя подводить жизнь под какое-нибудь определение“,—сказал он.—„Берегитесь простых объяснений. Жизнь это сложная штука“.

Такие фразы, врезавшиеся в ее память, как светящиеся надписи, удерживали ее от вступления в партию социалистов. Было неизбежно, что рано или поздно она вступит в нее. По логике событий она была логически социалисткой. Трудно было бы воздвигнуть какое-либо иное здание на том фундаменте, который заложила для нее сама жизнь. Она работала за маши-

ной, была работницей, восставшей прежде, чем угнетающее однообразие убило в ней веру в мечту. Она могла еще питать надежды. У нее был тот глубокий взгляд, который не останавливается на личной мелочности ссорящихся догматиков и видит лишь великие принципы Справедливости и Братства, затемняемые иной раз их чересчур пылкой защитой. Жизнь ее была бы беднее во всяком ином положении.

Но была для нее и действительная выгода, что она не вступила в партию слишком поспешно. Она могла бы еще дольше устоять перед убеждениями Брауна—даже после того, как прочитала много книг за и против, даже после того, как освоилась с традиционными теоретическими „возражениями против социализма“ и, сравнив их с жизненными фактами, которые видела вокруг себя, с согбенными и преждевременно состарившимися тридцатилетними женщинами, с молодыми людьми, пораженными туберкулезом, с тысячами детей, которым не суждено было вырости, нашла их, конечно, чересчур легковесными—она могла бы еще дольше удерживаться от вступления в партию на том совершенно личном и нелогичном основании, что Вальтер никогда не принадлежал к ней, если бы у нее не произошло драматической встречи со старым боссом—Джэком Гольдфоглем.

Его мастерская прогорела еще во время их первой забастовки. Иетта потеряла всякий его след.

В один пронизывающе-холодный зимний вечер она возвращалась домой около девяти часов по Кэнэл-стрит. Ряд ручных тележек, освещенных яркими керосиновыми лампочками, был занят жалкой торговлей. Было слишком холодно для того, чтобы торговать на тротуаре. Ей стало жалко до глубины души этих мужчин и женщин, вынужденных в такую ночь стоять на улице и выкрикивать свои товары. Не одни только жертвы потогонных мастерских находят, что жизнь—тяжелая штука. Вдруг ее взгляд упал на какого-то убогого разносчика, державшего жалкий лоток с разным мелочным товаром. У него не было даже ручной тележки. Унылая черная повязка скрывала одну сторону его лица, но Иетта сразу узнала Джэка. Ее первым движением было пробежать поскорей мимо, отвернувшись от него. Но его при-

водящая в содрогание бедность—он был даже без пальто—удержала ее.

— Алло, мистер Гольдфогль?

Он уставился на нее в изумлении своим незабинтованным глазом. Его обмороженное лицо вспыхнуло злобой.

— Пойдемте выпьем по чашке кофе,—сказала она.—Мне нужно с вами поговорить.

Мысль о кофе удержала ругательства, готовые сорваться у него с языка, и он пошел за нею, стыдясь недостатка храбрости. Они уселись друг против друга за столиком в грязноватой маленькой чайной. Джэк помнил Иетту запуганной девушкой-мастерицей. Последний раз, когда она с ним виделась, он грозил ей арестом. Он торжественно поклялся, что никогда не примет ее к себе в мастерскую обратно. А теперь она угощает его чашкой кофе. Он пил молча. Когда-то он мечтал жениться на ней и считал это величайшей для нее честью.

От кофе Джэк согрелся и мог рассказать о себе. Разорение было полное. Ему пришлось, вместе с сестрой и зятем, снова встать за машину. Сестра сдала первая—с ней произошла обычная на Восточной Стороне вещь—кашель. Некоторое время оба мужчины держались вместе; еще раз у них начали подкапливаться кое-какие деньжонки. Затем лопнул ремень; отлетевшим концом хватило Джэка по лицу. Он приподнял черную повязку и показал Иетте страшный шрам на том месте, где был когда-то глаз. Когда он вышел из больницы, зять его исчез. Одно время Джэк надеялся получить некоторую компенсацию от своего хозяина, но попал в лапы к какому-то „подпольному адвокату“, который покончил дело, не доводя его до суда, полюбовным соглашением за сто долларов и удержал из них семьдесят пять в свою пользу. Это случилось приблизительно месяц тому назад. Джэк влачил жалкое существоваиие, ночуя в низкопробных ночлежных домах, и все, что у него оставалось из запаса товаров, которые он закупил на свои двадцать пять долларов, помещалось на полу-пустом лотке. А если бы Иетта не устроила забастовки, он был бы теперь богачом.

— И я таки был влюблен в вас, Иетта,—закончил он.

Случайно Иетта только что получила свое жалованье за месяц и могла купить Джэку пальто и дать ему несколько долларов за стол и квартиру. А на следующий день она нашла ему место ночного сторожа.

Хотя его благодарность за найденную работу была огромна, все же совесть Иетты не могла успокоиться на этом. В случайной встрече с Джэком была какая-то язвительная насмешка. Она убедила ее, гораздо вернее, чем это сделали бы книги, в социалистической доктрине, что вся жизнь связана в одно целое; что Джэк, как и миссис Коген, являются жертвами одной и той же злостной системы.

„Покуда длится эта жестокая промышленная конкуренция",—писала она Вальгеру:—„непременно будут встречаться такие жалкие личности, как Джэк. Вы теперь встретите в газетах целый ряд указаний на то, что тресты уничтожают конкуренцию. Чем больше я об этом думаю, тем ужаснее мне это все кажется. Конкуренция ограничивается в тех предприятиях, которые занимаются сбытом, распределением продукта, потому что там потеря исчисляется долларами и центами. Но в производстве—где потеря, из-за которой возникает соперничество, заключается только в человеческих существах—борьба столь же ожесточенна, как и прежде. „Джентльмэнистые" управляющие различными отделами треста, получающие крупные оклады, действуют дружно при продаже и покупке сырых материалов, но в живой работе на заводах они должны конкурировать, чтобы установить, кто может больше всего эксплоатировать рабочих—совершенно так же, как Джэк старался переобременять работой нас, девушек. Я не вижу иного возможного исцеления, как только в социализме, и собираюсь вступить в партию".

Много месяцев спустя, когда курьер привез это письмо в лагерь, раскинутый среди древних развалин, изгнанник вскрыл его дрожащими руками и стал быстро перелистывать страницу за страницей, пока ему не встретилось имя Мабель. Только перечтя несколько раз под ряд эту часть письма, он обратил некоторое внимание на тот факт, что Иетта стала социалисткой.

ГЛАВА XX.

Исидор Браун.

Незадолго до поездки Иетты в Кос-Коб, Исидор Браун сделал ей предложение.

Ему было, пожалуй, почти стыдно самого себя, что он это сделал. Его бурное желание обладать ею было чем-то таким, чего он не мог понять, что помимо его воли ускользало от контроля со стороны разума, которому подчинялась вся его жизнь.

Иетта вошла в его бесстрастную, посвященную другим людям жизнь каким-то совершенно ошеломляющим путем. Словно какая-то неожиданно появившаяся щель пропустила яркий солнечный свет в комнату фотографа. Все старания, которые он приложил, чтобы приспособить эту лабораторию для своей специальной—и важной—работы, оказались тщетными.

С методической предусмотрительностью своей расы и узким кругозором фанатика Исидор заранее устроил свое будущее. Он распределил не только свою повседневную, но и жизненную работу. С упрямым стремлением к достижению раз навсегда поставленной себе цели, он вытренировал себя до такой степени, что стал настоящей машиной. Такой иррациональной вещи, как любовь, не было места в его схеме. Разумеется, он был уверен, что вступить в брак хорошо. Как-нибудь—скажем, когда ему будет лет тридцать пять—он поищет около себя подходящего товарища, какую-нибудь женщину таких же взглядов и стремлений, и они сочетаются браком, не внося каких-либо серьезных потрясений в жизнь каждого. Но роман им осуждался. Роман иррационален.

Роман принял брошенный ему вызов и одержал над Брауном верх. Первоначальный интерес к Иетте в период забастовки работниц жилетных мастерских превратился в уважение и восхищение, а в конце концов—во что-то гораздо более серьезное и динамическое. Поймав самого себя на том, что он пренебрег какой-то важной работой, чтобы отправиться на митинг, куда его ничто не тянуло, если не считать, что он мог там перекинуться

с Иеттой несколькими словами, он понял, что с ним происходит. Он еще и еще раз напряг все свои интеллектуальные силы, чтобы вступить в битву, но каждый раз после непродолжительной схватки оказывался лежащим на обеих лопатках, а Роман отплясывал победный танец на его груди.

Сперва он старался успокоить себя той мыслью, что ведь в конце концов Иетта и является такой именно подругой, которую и должен был избрать его интеллект. Она тоже социалистка. Но он был слишком честен по отношению к самому себе, чтобы допустить такой софизм. Пламя вспыхнуло в нем не потому, что на него повлияли ее теории. Он оказался бы точно в таком же беспомощном положении, он был бы порабощен столь же иррационально, будь она просто какой-нибудь хористкой. Ее выбрал не разум, ибо интеллект бесцветен, а Иетта ослепительна.

Согласиться на подчинение такой иррациональной эмоции— это значило для него оставить всех своих богов, повернуться спиной к единственной своей религии. Большинству из нас трудно представить себе глубокую трагичность положения Исидора. Немногие из нас верят во что-нибудь пламенно. У нас есть чудесная способность сохранять веру в вещи, о которых мы знаем, что они ложны, ленивая доверчивость к несостоятельным теориям. Мы продолжаем воскурять фимиам на алтарях, покинутых богами. Мы склонны посмеяться при виде человека, который настолько наивен, что в самом деле мучится, отдавая себя на растерзание в страстных поисках истины,—будь, господь, милосерден к таким из нас.

Прошел месяц или около того, прежде чем Исидор покорился неразумию. Это было поражение, которое сказалось на нем в провалившихся щеках. Некоторые думали, что он болен. Но он знал лучше. Абсолютный разум, бог, на котором он основал свою веру, рассыпался в прах. Слова Лонгмэна о том, что жизни не хватает логики, казались ему раньше чепухой. А теперь разум—всемогущее божество—пал ниц перед не-интеллектуальным блеском молодых женских глаз, взмахнул хвостом и улетел прочь перед линией и румянцем щек.

Он попробовал сделать предложение в письменной форме. Ночь за ночью он истреблял почтовую бумагу, сидя у себя в мрачной, неубранной, меблированной комнате. Иногда он яростно строчил, изливая все свои чувства на бумаге, которой заранее предназначалось быть скомканной и выброшенной. Гораздо чаще он грыз конец своей ручки, как бы испытывая какое-то своеобразное косноязычие.

И вот однажды—к полному своему изумлению—он сделал Иетте предложение, сидя в бюро Лиги Женского Рабочего Союза. Они удалились в комитетскую комнату, чтобы посоветоваться насчет „требований", предъявляемых Союзом Юбочниц. Иетта составила черновик, а Исидор должен был облечь его в более юридическую форму. Они склонились над огромным столом под большим изображением Жанны д'Арк, как вдруг прелестная ручка Иетты вмешалась между сознанием Исидора и печалями юбочниц. Он каждый раз открывал в Иетте какую-нибудь такую новую привлекательность.

— Господи боже!—воскликнул он, выпрямляясь в порыве душевного волнения.

— В чем дело?—спросила Иетта.

Исидор понимал, что сейчас не время и не место, что у них обоих нет надлежащего настроения, но не мог сдержаться, чтобы не сказать ей.

Иетта остановила его, как только ее изумление уступило место пониманию. С откровенной прямотой, составлявшей самую выдающуюся черту ее характера, она отказалась даже обсуждать его заявление. Она его положительно не любит.

На мгновение Исидору показалось ужасно важным закурить папироску, не позволяя руке проявить ее безумное желание задрожать. Когда папироска была закурена, он взглянул Иетте прямо в глаза и понял, что нет нужды добиваться объяснения.

— Хорошо,—сказал он, сделав несколько затяжек,—давайте кончать с этими требованиями.

Инцидент положил конец их сердечной близости. Иетта больше не стала называть его просто по имени. Как и раньше, работа сводила их вместе очень часто. Иетта сперва побаивалась

какой-нибудь новой вспышки—побаивался и Исидор. Он утратил веру в свое самообладание. Но никто из посторонних не мог бы догадаться о принужденности, которая накладывала свой отпечаток на их товарищеский обмен мыслей.

Исидор был влюблен так же сильно в Иетту, как Вальтер в Мабель, но владел собою более искусно. Работа, которой и он и Иетта посвятили свою жизнь, была для него важнее личного страдания. Если текущая работа требовала свидания с Иеттой, то он не избегал ее, но не старался больше умышленно встречаться с ней. Раз она его не любит, то и конец. Ему не нужно насмешливой пустоты дружбы.

Сердце Иетты было переполнено романтическими мечтами о Вальтере. Исидор, существо реальное, повседневное, не имел никаких шансов. Если бы кто-нибудь спросил ее о нем, то она описала бы его в самых пылких выражениях, с энтузиазмом отдавая должное его необыкновенной преданности идее и способностям. Она питала к нему глубокое уважение. Не было никого из ее соплеменников или из тех, кто подходил к ней по возрасту, к кому она относилась бы с таким громадным уважением. Но если дело шло о том, чтобы полюбить его—то, к несчастью, Исидор был слишком реальным.

Сделанное им предложение показалось ей почти нелепым. Не потому, чтобы она чувствовала себя слишком хорошей для него. Наоборот, ее любовь к Вальтеру усилила в ней чувство самой настоящей скромности. Поразила ее конкретность его предложения.

Она редко заглядывала вперед в ожидании возвращения Вальтера, а если это бывало, то без малейшей сколько-нибудь определенной, ясно ощутимой мысли о браке. Представление о поле было у нее смутным—и положительно страшило ее. Даже и Гарри Клейн, ее первый возлюбленный—она всегда думала о нем, как об инциденте, происшедшем с нею в туманном и весьма отдаленном прошлом,—собственно говоря, не пробудил в ней ее женской природы. Она видела в нем какое-то орудие, какой-то ключ, при помощи которого можно было вырваться из темницы. Ужас случившегося снова заставил улечься

в смущении те чувства, которые разбудили в ней его жалкие ласки.

Правда, иной раз, у нее начинала сладко кружиться голова при воспоминании о том, как Вальтер поцеловал ей руку. Местечко пониже среднего пальца на ее левой руке, где он прикоснулся своими губами, было священным. Но гораздо чаще она думала об его словах. Когда ей снилось, что он совсем, совсем близко, то она видела его посредине комнаты в большом кожаном кресле, а самое себя свернувшейся клубочком на мягком сиденьи в оконной нише. Ей еще не было двадцати одного года. Девичество ее было принесено в жертву машине. Правильное, симметричное развитие являлось невозможным. Хотя она была уже взрослой женщиной и физически, и духовно, и по выполняемой работе, но ее воображение все еще переживало первый расцвет юности.

На каминной доске в прежней комнате Вальтера, где она теперь жила, моментальный снимок группы белых мужчин, членов экспедиции, был прислонен к хактитскому божку с коровьей головой. Подобно Саулу древности, Вальтер возвышался над всеми своими сотоварищами, которые едва доходили ему до плеча. Хаки и пробковый шлем не совсем походили на серебряные латы—но Иетте Вальтер казался Блестящим Принцем. А Исидору хотелось, чтобы она стала жить с ним, в квартире на Восточной Стороне!

Если Исидор был выбит из колеи своей влюбленностью в Иетту, то неспособность выкинуть мысль о ней из головы после ее решительного отказа приводила его в смущение в тысячу раз больше. Только в работе он находил облегчение от своих мучений. Беспокойство его друзей все увеличивалось. Но он стремился все к новой и новой деятельности, не обращая никакого внимания на дружеские протесты. Он относился к праздности с ненавистью, он начинал бояться оставаться один в своей комнате. И все-таки даже самое пламенное стремление забыть не приносило ему облегчения.

Совершенно нелогично, изумительно нелогично, как это бывает в жизни, Исидор получил помощь из такого источника, о котором ему никогда и не снилось. Как-то вечером он рано

вернулся домой, чтобы написать статью для „Vorwärts“. К своему огорчению, он нашел, что оставил заметки в конторе. Статья могла и подождать, и вот он оказался без всякого дела, один одинешенек в своей комнате, где для него было труднее всего на свете избавиться от гложущего сердце голода и мрачной путаницы мыслей.

Комната не отличалась пышностью: простая железная койка, большой еловый стол, несколько дешевых стульев и книжные шкафы. Она не блистала даже особой чистотой. В течение пяти лет, которые он в ней прожил, он совершенно не обращал внимания на ее неопрятность. Но за последнее время она стала внушать ему отвращение. Он уже почти разделся. Удушливый летний зной выгнал всех квартирных жильцов на улицу. Обливающееся пóтом человечество, толпившееся на тротуарах, не открывало для Брауна никаких утешительных перспектив.

Исидор обратил внимание на свои книжные шкафы. Но ему нужно было нечто более захватывающее, чем данныя переписи и сведения об иммиграции, чтобы убить время, пока не придет сон. Бóльшая часть книг, составлявших его библиотеку, были справочники, остальные он читал и перечитывал уже много раз. На нижней полке лежала связка книг, которой он еще не развязывал. Эти книги дал ему Вальтер после одного из их споров о значении жизни. Он никогда их не читал, ибо был уверен, что для него не представит никакого интереса всякая всячина, случайный набор разных мыслей, от которых Вальтер, повидимому, приходил в восторг. Теперь он вытащил их на свет божий—как бы то ни было, в них будет интерес новизны. Первая книга, которую он открыл, была „L'Evolution Créatrice“ Анри Бергсона. Вальтер, по своему обыкновению, сделал в ней многочисленные заметки на полях. На чистом листке впереди текста он написал: „Блестящее рассуждение на тему о границах Чистого Разума“. Эта фраза бросилась Исидору в глаза, когда он рассеянно пробегал заметки. А разве не „ограничение“ разума то самое, что тревожит его?

Ни одна из книг, прочитанных им за последние годы, не казалась ему проникнутой столь сильно чувством действительности.

Отчасти это объяснялось, без сомнения, мастерским изложением автора. Но весьма возможно, что она не произвела бы никакого впечатления на Исидора, если бы он прочел ее тогда, когда его просил об этом Вальтер. Встряска и душевная борьба последних нескольких месяцев вернули его мозгу давным-давно утраченную восприимчивость. Жизненные факты расшатывали его интеллектуальную структуру, пока он не подготовился к пониманию.

Этот приятный и образованный француз спокойно заявлял, что век разума просто миф, что рационализм—предрассудок. Из каждой области человеческого знания Бергсон черпал свои доказательства; от данных биологии, находимых при помощи микроскопа, до гигантских астрономических фактов, которые находятся вне пределов нашего зрения; с беспощадной логикой он доказывал, что аппарат, которым мы размышляем, вовсе не божественен. „Бог, которого вам не хватало“, — говорил он Исидору,—„бог ложный. Тот мозг, которым вы его создали, всего лишь плохой животный инструмент, столь же подверженный ошибкам, как и ваши глаза, для которых вы бываете вынуждены приобретать исправляющие зрение стекла“.

Хотя послание Бергсона и иконоборческое, хотя оно и является титанической борьбой с богами чисто формальными, но тем не менее оно ни в коем случае не разрушительное. В нем содержится более великолепный, более удовлетворяющий с человеческой точки зрения оптимизм, чем тот, на который рискнула метафизика—обещание более близкой связи с живой истиной, чем когда-либо она была формулирована холодным разумом. И кроме того, оно предоставило Исидору возможность восстановить свое самоуважение.

Ему пришлось еще раз налить лампу, прежде чем он кончил книгу. А прочтя ее до конца, он уже не мог спать. Им овладело странное телесное беспокойство. Ему захотелось уйти куда-нибудь. Когда разверзлись небеса и сильный свет пал на Савла из Тарса, то он сразу почувствовал необходимость удалиться куда-нибудь, в какую-нибудь далекую пустыню, чтобы перестроить свою жизнь в соответствии с новым светом. Исидору тоже нужна была какая-нибудь Аравия.

Как-то перед тем он получил приглашение навестить одного социалиста писателя-журналиста, по фамилии Паульдинг, на его даче на берегу озера в Эдайрондекс. Хотя Исидор и знал, что приглашение сделано от всей души, что он будет желанным гостем, но он все-таки отклонил его, потому что в своем смятенном состоянии духа приходил в ужас от одной мысли о праздности. Ему было страшно выйти из привычной колеи лихорадочной работы. А теперь ничего он так не хотел. Поэтому, едва над городом стала заниматься заря, как он упаковал свой чемодан, сунув туда заботливо книги, данные ему Вальтером, послал телеграмму, что он передумал и выехал.

Для него это было первым настоящим отдыхом, которым он когда-либо пользовался. Если до сих пор ему и приходилось видеть „природу", то только из окон вагона, да еще в тех заезженных местечках, куда попадаешь во время пикников, устраиваемых трудовыми союзами. Дача была самой простой бревенчатой хижиной. Миссис Паульдинг тоже писала, и целое утро хозяева Брауна трудились за пишущими машинками. Поэтому Исидор больше предоставлялся самому себе. Для него было совершенно новым ощущением заниматься рубкой леса на дрова. Прошла неделя или больше, пока он не утратил недоверия к своим собственным силам при взгляде на сосны. Прошло еще больше времени, пока он не ознакомился достаточно с каноэ, чтобы наслаждаться плаванием вдали от берегов. Паульдинг любил природу до энтузиазма, и борьба и приключения бесчисленного множества лесных и озерных животных, о которых он рассказывал, походили на очаровательные волшебные сказки. Исидор читал об этом в книгах, но ему было ужасно странно наблюдать за всем этим в действительности. И все необыкновенное, что его окружало, способствовало его отдыху, в котором он отчаянно нуждался, несмотря на то, что сам уверял в совершенно противном.

Мало-по-малу, по мере того, как проходили недели, он проложил себе дорогу к новому взгляду на жизнь. Бергсон и прагматизмы выбили его из привычной умственной колеи. Свойственный Брауну догматизм явился в результате его образа

жизни. Он начал размышлять о социальных проблемах раньше того, как вошел в близкое соприкосновение с фактами социальной жизни. Его развитие являлось прямой противоположностью развитию Иетты. Она начала с фактов и по ним стала судить обо всех теориях. Он же принял определенную философию, еще ведя затворническую жизнь в колледже, и был слишком занят проповедыванием этой теории, чтобы иметь досуг для наблюдений над сложной реальностью жизни. Бергсон и любовь к Иетте сбили его с этой позиции. Он был настолько мужчиной, что увидел свою ошибку и исправил ее.

Когда он вернулся осенью в город, то товарищи заметили в нем перемену. Прежнее его главнейшее убеждение в том, что он всегда прав, уступило место более мягкой, более снисходительной и ласковой самоуверенности. Он перестал быть доктринером. Он сделался менее самонадеянным, но более уверенным. Его врожденная симпатия к страждущему человечеству, которая и послужила действительным мотивом к его увлечению социализмом и которую он годами подавлял в себе, считая ее сантиментальностью, снова возродилась к жизни. Новый человек проявился в Исидоре яснее всего в его публичных речах. Он уже не взывал больше только к одному разуму; в его рассуждениях стало проявляться больше горячей крови, в словах больше биения жизни. Он пришел к тому выводу, что его слушатели должны не только мыслить, но и чувствовать. Его социализм несколько лишился резкости своих определений, своей логической простоты, но стал иметь гораздо больше сходства с жизнью.

Однажды, вскоре после своего возвращения, он остановился во время прогулки по Боуэри с одним из друзей и дал никкелевую монетку какому-то бродяге, весьма смахивавшему по виду на алкоголика. Друг начал возмущаться. Такое раздавание милости хуже, чем бесцельно. Оно поддерживает бродяжничество; оно ненаучно, оно безрассудно. Вдруг Исидор понял перемену, которая в нем произошла. Он рассмеялся с вызывающим видом.— У парнюги такой вид,—объяснил он,—словно ему очень хочется выпить.—Друг был совершенно скандализирован. Но если бы об этом инциденте услышал Вальтер, то он наверное возрадо-

вался бы, как ангелы на небеси радуются, когда заблудший агнец присоединяется к стаду.

Перемена, происшедщая в Исидоре, была более конкретна, чем его восприятие нового взгляда на жизнь. Там, в горах, он задавался вопросами не только о своей метафизике, но и о своих привычках. Он размышлял не только над практической тактикой социализма, но и над его философией. Шаткость основных положений укрепила его позицию по отношению к чисто практическим заданиям. Несколько расплывчатая работа в качестве пропагандиста, которой он раньше занимался, перестала его удовлетворять. Ему хотелось сосредоточиться на каком-нибудь вполне конкретном деле. И ему пришло в голову, что движение ни в чем другом не нуждаетсл так сильно, как в ежедневной газете, издаваемой на английском языке. Возвратясь в Нью-Иорк, он весь отдался этой работе с новым и несокрушимым энтузиазмом.

Но если новая точка зрения Исидора и исцелила его от интеллектуального унижения, то она ни в коем случае не смягчила его мучений от безразличного к нему отношения Иетты. День за днем, месяц за месяцем он жил, страдая от своей любви. Но он научился смеяться с большей готовностью, стал не такой машиной и сделался больше человеком.

Прошло несколько месяцев после отказа Иетты, прежде чем он снова вернулся к той же теме. Сделал он это в письменной форме, при чем письмо было так составлено, что ответа на него не требовалось. Он не будет надоедать ей повторением своих настойчивых просьб,—писал Исидор. Он не видит никакой пользы в жалобах. Они оба вполне взрослые, слишком серьезно настроенные люди, чтобы разыгрывать такую комедию. Но ему хотелось бы дать ей понять, что он постоянен. Если когда-нибудь в будущем ее отношение к нему вырастет в любовь, которой он так жаждет, то он надеется, что она скажет ему об этом. Так на этом и было покончено.

Другие вздыхатели появлялись в несметном количестве, и их шумная назойливость заставила Иетту отнестись с большой благодарностью к Исидору за его полную достоинства сдержанность.

ГЛАВА XXI.

„Звезда“.

На второе лето после отъезда Вальтера отчаянная стачка „пальтовщиц“, увенчавшаяся успехом, заставила имя Иетты еще раз появиться на столбцах газет. Миссис Карнер использовала этот случай, чтобы открыть новую область деятельности для Иетты.

Мистеру Карнеру принадлежала „Звезда“—„наижелтейщая“ газета в городе. Она не только была вульгарна до непристойности, но, кроме того, известна своей продажностью в области политики. Так как она стоила всего один цент, то, разумеется, драпировалась в тогу „друга рабочего“, но на самом деле стояла за Таммани-Холл и интересы людей, занимающихся привлечением избирательных голосов, если только противная сторона не собирала необычайно крупного фонда для избирательной кампании.

Как-то утром за вторым завтраком—когда стачка „пальтовщиц“ служила злобой дня—мистер Карнер с завистью заговорил об одной даме, дававшей барышням, покинутым своими возлюбленными, сантиментальные советы в литературном приложении к журналу, принадлежавшему его самому пронырливому сопернику.

— Хотелось бы мне найти какой-нибудь такой контраттракцион,—сказал он.—Наша газета имеет самый жалкий сбыт среди работниц.

— Почему бы вам не обратиться к Иетте Раевской?—посоветовала миссис Карнер.— Ее знают все девушки с Восточной Стороны. Вам придется выступать нынешний месяц в защиту трэд-юнионов?

— В умеренных размерах, как обычно.

— Иетта сильна в этом вопросе. Вы ее помните. Прошлое лето она гостила у нас в Кос-Кобе. Еще вы обратили на нее, как мне кажется, свое благосклонное внимание.

— Ах, эта евреечка? Она очень миловидна. А есть ли у нее еще какие-нибудь достоинства, необходимые для журналиста?

Миссис Карнер пожала плечами.

— Мне казалось, что вы гордитесь своим уменьем обрабатывать сырой материал.

Через два дня Иетта была приглашена в контору мистера Карнера. Она отправилась по вызову, не понимая, что нужно от нее великому газетному деятелю и надеясь, что ей удастся заинтересовать его своими работницами.

— Рад вас видеть,—сказал сердечно мистер Карнер, когда она была введена в его великолепно обставленное святилище.— Эта стачка „пальтовщиц" дает очень много материала. Но мы не использовали его, как следует. Обо всем этом можно написать гораздо больше, чем пишется в газетах.

Непременно нужно составить какую-нибудь статейку для нашего литературного приложения. Не знаю, приходилось ли вам когда-либо читать его, но оно главным образом рассчитано на женщин. Их не привлекают доводы, не особенно они интересуются и фактами. Какой-нибудь интересный рассказ, не чуждый ничему человеческому, что-нибудь такое, что заставляет их проливать слезы—вот что, собственно, им нужно. Рассказы, касающиеся их сестры. Если они скажут: „Страшно похоже на историю Сэди или Флосси", то это как раз то, что нам требуется. Мы всегда выискиваем такие сюжеты.

Во время этой стачки случились должно быть, какие-нибудь происшествия. Не можете ли вы дать нам два или три из них?

Предложение привело Иетту в изумление, и она решительно не знала, как к нему отнестись.

— Никакого вреда не будет, если вы попробуете, — уговаривал он.

Он нажал кнопку, и, когда появился кругленький, жизнерадостный человек, представил его Иетте.

— Мистер Брэс, это мисс Раевская. Она только что обещала прислать нам для вашего литературного приложения кое-какой материал, касающийся забастовки „пальтовщиц".

Несколько минут было проведено в обсуждении вопроса, а когда Иетта ушла, Карнер задержал Брэса на мгновенье,

— Жена моя, — сказал он, — думает, что мы могли бы вытренировать эту Раевскую и научить ее писать. Если бы нам удалось залучить кого-нибудь, чтобы подставить ножку Лилиан Лебервурц с ее „Бальзамом для Успокоения Мятущихся Душ“, то это было бы здорово. Просмотрите ее статью, когда она будет прислана. Во всяком случае купите достаточное количество строк, чтобы оплатить ей ее хлопоты. А если окажется, что она подает некоторые надежды, посмотрите, что вы можете из нее сделать. И держите меня в курсе дел.

Иетта вышла из редакции „Звезды“, витая в облаках. Охваченная внезапным огнем энтузиазма, она уже представляла себя великой писательницей. Но едва она вернулась домой, как ею овладело ужасное сомнение — ведь она может потерпеть неудачу. Сомнение усилилось, когда она положила перед собой лист бумаги.

После долгих колебаний и неоднократных попыток начать рассказ, неизменно казавшихся ей фальшивыми, она решила как можно ближе придерживаться действительности. Она написала рассказ об одной девушке из числа знакомых ей работниц, которая жила в такой бедности, что у нее никогда не было верхнего платья, кроме изношенной старой шали, хотя она и занималась шитьем очень дорого стоящих манто для выездов в оперу.

Иетте казалось вполне естественным быть простой и прямодушной. Обильные заметки, которые она составляла в связи со своими занятиями, приучили ее к некоторой свободе обращения с пером. Кроме того, ей очень помогли ее публичные выступления с речами. Они научили ее обдумывать свои слова заранее и наперед подготавливать наиболее сильное место речи. Женщины, которые будут читать литературное приложение, являются—или были прежде — работницами мастерских, такими же точно, как и те слушательницы, к которым она обращается с речами изо дня в день. А мистер Брэс сказал ей, что надо писать именно так, как говоришь,

Наконец, она отослала по почте три наброска. Не прошло и двадцати четырех часов, как она получила от мистера Брэса

письмо с просьбой зайти для переговоров. Ей стало как-то не по себе, когда она, приняв беспечный вид, входила в редакцию „Звезды". Ее произведения показались ей довольно удачными, когда она их закончила, но теперь они настолько пали в ее оценке, что ей захотелось, чтобы она их никогда не писала. Этот процесс понижения оценки шел быстрее всего в течение тех нескольких минут, которые она провела в ожидании, сидя на скамейке в огромной репортерской комнате, куда выходила стеклянная дверь из собственного кабинета мистера Брэса.

По обеим сторонам комнаты были расставлены длинные столы, разгороженные небольшими решетками на отдельные места. Большая часть из них была занята репортерами, с лихорадочной быстротой строчившими на желтой бумаге для черновых набросков или настукивавшими на пишущих машинках Взад и вперед по комнате сновали мальчики и взрослые, приносившие и уносившие черновики или корректуры, то исчезая, то появляясь с ними из различных стеклянных дверей, выходивших в комнату. Почти каждый из них бросал любопытный взгляд на Иетту и на других посетителей, сидевших в ожидании на скамье. Раньше Иетты пришло еще трое: какая-то дама, по виду артистка, седовласый старик, с бородой, доходившей ему почти до пояса. Он держал на коленях, с большой заботливостью, увесистую рукопись, очевидно, боясь, как бы кто-нибудь не украл ее. Ближе всех к Иетте сидел вспотевший молодой викарий в священническом воротнике.

Наконец, мистер Брэс появился на пороге своего кабинета, провожая какого-то разочарованного поэта, и провозгласил:— Мисс Раевская. По особому вызову,—добавил он, когда пришедшие раньше Иетты беспокойно зашевелились в знак протеста.

Он пододвинул ей стул рядом со своим письменным столом и, вооружившись синим карандашом, начал читать маленькую лекцию относительно установленного гонорара за статьи в приложении к газете. За слово уплачивается десять центов. Его синий карандаш вычеркивал целые фразы из одного из очерков Иетты. Кому другому не пришлось бы, конечно, получить за рассказ и полутора долларов. Иетте начинало казаться, что от

рассказа вообще ничего не осталось, кроме пометок синим карандашом. Но мистер Брэс, занимаясь этим делом, сиял от удовольствия. Дойдя до конца, он объявил с гордостью, что убил по крайней мере на двадцать пять долларов разной дребедени. Иетте захотелось, чтобы он отпустил ее, как можно скорее. Она боялась, как бы ей не разрыдаться, если он будет продолжать глумиться над нею.

— Надеюсь, что вскоре нам удастся поместить еще что-нибудь в этом роде,—сказал он отрывисто, вручая ей чек.

Чек был выписан на семьдесят пять долларов! У нее никогда еще в жизни не было единовременно на руках такой большой суммы. И она ее заработала в четыре дня!

Но все это были пустяки, по сравнению с появлением ее рассказа в печати в тот же день. Вот вещественный знак ее успехов, который стоит послать Вальтеру. Она только что достигла конца намеченной им программы занятий и уже пишет в газетах! Гордости ее пришлось немного угомониться, когда она перечла свой очерк и убедилась, насколько он был улучшен властной рукой мистера Брэса.

Новое чувство своей значительности почти всецело завладело Иеттой, когда спустя несколько дней ей было предложено заключить с редакцией контракт, на условиях, которые показались ей великолепными, и вести отдел, посвященный тяжелой жизни девушек-работниц.

Мабель тоже пришла в восторг. Представлялся прекрасный и неожиданный случай познакомить широкие круги общества с работами по организации женщин. У „Звезды“ было свыше миллиона читателей. Иетта никогда не могла рассчитывать, что ей удастся выступать перед такой огромной аудиторией.

Но когда Исидор увидел разноцветные объявления, запестревшие на Восточной Стороне, возвещавшие, что Иетта Раевская пишет ежедневно и исключительно для „Вечерней Звезды“, он страшно встревожился. Бессовестный журнализм, который насаждался мистером Карнером, казался ему самым тяжким преступлением нашей цивилизации. Он едва мог поверить, что

Иетта связала с ним свою судьбу. Это лишило его обычной сдержанности, и он кинулся на квартиру к Иетте.

Преисполненная новой гордости, возбужденная своей новой карьерой, Иетта показалась ему еще более волнующе прекрасной, чем прежде. Очутившись с ней лицом к лицу, он забыл все свои заботливо продуманные доводы.

— Ах, Иетта,—выпалил он:—Неужели правда, что вы собираетесь работать в этой грязной газете?

— Мне предложили взять на себя ведение отдела для работниц, и я согласилась,—ответила она с вызывающим видом.

— Вы же знаете, что это грязная газета,—продолжал он настаивать.—Грязная во всех отношениях—по сообщаемым известиям, по помещаемым объявлениям. А больше всего по своим прогнившим политическим взглядам. Эта желтая периодическая печать—наихудший враг социализма, с которым ему приходится сходиться лицом к лицу. Она вводит народ в заблуждение. За это ей и платят. Все издатели—проходимцы, их можно купить. А Карнер—хуже всех.

— Я не имею ничего общего ни с помещаемыми статьями, ни с объявлениями, ни с политическими убеждениями г. Карнера; я говорю с девушками-работницами в том же духе, в каком говорила с ними в течение последних двух лет. Неожиданно мне представляется случай заговорить громче, так, чтобы мой голос могли слышать тысячи. На таком же основании я должна была бы отказываться выступать с речами в каких-нибудь залах Восточной Стороны только потому, что в остальные вечера они служат для каких-то гадких танцев.

— Ах, Иетта,—перебил он,—вы не знаете сами, что делаете. Я знаю, что вас толкает на этот поступок не жалованье. Но наверное вы приглашены на крупный оклад. А Карнер—не благотворитель; он не будет давать вам деньги даром. Он что-нибудь покупает. Вы должны будете отслужить ему его денежки. Он покупает ваше имя. Ему нужно повысить тираж. Он пользуется вашим именем—вы видели объявления? Он пользуется вашей популярностью, Иетта, чтобы продавать нашему народу свою грязную газету. Он платит вам за то, чтобы вы убеждали наших

девушек-работниц читать самую паскудную газету во всем Нью-Иорке. Иетта, вы не представляете себе, что это значит. Ведь это же похоже на измену...

— Вы кончили?—прервала она его сердито.

— Нет, еще не кончил. Я должен высказать вам все. Не потому, что это вы и я, Иетта, но как товарищ товарищу, ибо мы оба социалисты. Вам не позволят сказать то, что вы хотите. Этого не может допустить ни единая капиталистическая газета, и меньше всего—эта гнусная. Если классовая борьба что-нибудь да значит, то она значит, что такие газетчики наши враги. Они не станут платить вам за борьбу с ними же. Они свяжут вас по рукам и по ногам каким-нибудь контрактом и заткнут вам рот. Они дают вам взятку, одурачивают вас обещанием предоставить вам огромную аудиторию. Но они не позволят вам—и не могут позволить—говорить о том, во что вы верите.

— Мистер Браун,—сказала она, с трудом стараясь совладать с собой, но вместе с тем желая свести на-нет все его доводы.—Я обсуждала этот вопрос с целым рядом друзей. Все они советовали мне согласиться. Таким образом вы видите, что здесь широкое поле для разницы во взглядах. Вы единственный человек, высказавшийся против. Как бы глубоко я ни уважала ваше мнение в большинстве вопросов, но на этот раз я должна...

— Нет! Не должны!—вскипел он, вскочив с места и утратив самообладание, чего раньше с ним никогда не случалось.—Говорю вам, вы не должны этого делать.

— По какому праву вы...

— По какому праву? У кого может быть большее право? Вы знаете, что я люблю вас. Я предпочел бы в тысячу раз скорее видеть опозоренным самого себя, чем вас, Иетта. Какое дело до всего этого Мабель Трэн и другим дамам? Они просто видят возможность опубликовать в печати свой излюбленный план, с которым они носятся. Что им за дело до вашей репутации, до вашего самоуважения? Они считают, что это принесет пользу их маленькой Лиге Рабочего Союза. Но я вижу, что вы, Иетта, продаетесь кучке проходимцев, не имея возможности сделать то добро, которое хотите сделать—и при этом вечно

будете нести на себе тяжесть этого позора. О, это слишком ужасно!

Он опустился в кресло, закрыв лицо руками. Иетта удержалась от резкого ответа, при виде того, как он страдает.

— Мне жаль, что я не могу в этом согласиться с вами, товарищ,—сказала она.—В большинстве случаев мы сходимся во взглядах. Конечно, я могу поступать ошибочно. Но я должна сделать то, что мне кажется правильным—разве это не верно?

— Иетта,—сказал он, внезапно взглянув ей прямо в глаза,—вы любите Вальтера Лонгмэна?

Она выпрямилась при этом вопросе, но Исидор не дал проявиться ее негодованию.

— О, я знаю, Иетта. Одна любовь к вам сама по себе не дает мне права задавать вам подобный вопрос. Но иной раз мне кажется, что вы любите Вальтера. Он лучший мой друг. Ему наверное было бы неприятно, что вы пошли на службу в эту газету.

Он смотрел на нее в упор. Прошла минута, прежде чем она приняла его вызов.

— Я принимаю близко к сердцу доброе мнение Вальтера,—голос ее был тих, но ровен.—Я вполне уверена, что он был бы рад тому, что я воспользовалась этим случаем. Но если бы даже он и думал, что с моей стороны неблагоразумно давать свое согласие, то все же не стал бы смотреть на меня косо.

Исидор метнул свой последний дротик—и попал себе же самому в голову. В смущении он схватился за шляпу.

— Спокойной ночи, Иетта,—сказал он.

— Спокойной ночи, мистер Браун.

Первый месяц мистер Брэс тщательно просматривал статьи Иетты, пичкая ее всеми советами, которые приходили ему в голову. К концу этого времени запас его журнальных эпиграмм иссяк, а отчеты заведующего экспедицией были настолько благоприятны, что он решил, не пора ли ему обратить свое внимание на что-нибудь другое. Мистер Брэс, как и все вообще опытные деятели газетного мира, был несколько мистически настроен по отношению к таким вопросам. Одному господу известно, что понравится публике. Его же дело разбрасывать семена. Если

они принимались, давали ростки и содействовали большому тиражу, то у него хватало смысла предоставлять их самим себе. А столбец, руководимый Иеттой, „пошел хорошо“.

По прошествии трех месяцев контракт был возобновлен с основательной прибавкой к жалованью. Объявления, оповещавшие об участии Иетты, сделались еще более крикливыми. Размеры получаемой ею корреспондеции с каждым днем возрастали. Письма говорили о всех тяготах жизни, которые выпали на долю девушек-работниц. Некоторые сообщения были легкомысленны, большинство—бессодержательно. Но иной раз среди безграмотных, жалких каракуль встречалась потрясающая история, полная жизненной правды. Такие письма разрывали сердце Иетты на части—вливали в нее новую решимость, новый энтузиазм для продолжения своей работы. По мере того как их число возрастало, Иетта убеждалась в том, что ее аудитория, ее влияние все увеличивается. Судьба ей улыбалась. Она зарабатывала больше денег, чем когда-либо могла рассчитывать. Что еще хорошо, у нее оставалось столько же времени, как и прежде, для работы в Лиге. Ей редко приходилось задерживаться в редакции после полудня. Иетте не приходило в голову, что она могла бы потребовать прибавки к жалованию на том основании, что ее частые публичные выступления давали бесплатный материал для „Звезды“.

Однако, она была разочарована тем, что ей не удается установить более сердечные отношения со своими сотоварищами по работе. Газетные сотрудники, мужчины и женщины, работали с таким же громадным напряжением, как какие-нибудь работницы потогонных мастерских, но они казались более чуждыми ей—ее классу—чем богатые дамы из высшего круга, с которыми она встречалась в Лиге. У них было много хороших качеств, которые она вполне ценила—жизнерадостность, сердечное, мягкое обращение, простые приятельские отношения, с которыми они давали друг другу деньги взаймы. Но они были пропитаны до мозга костей цинизмом, который ее шокировал. Все это проявлялось особенно характерно в Мод Риплэй, специальной романистке, пытавшейся „поднять Иетту до своего уровня“.

Мод Риплэй была худощавой женщиной, лет сорока, с усталым взглядом. Способности у нее были блестящие. Все сотрудники обращались за справками и сведениями к ней вместо того, чтобы рыться в энциклопедическом словаре. Некоторые из написанных ею вещей произвели на Иетту сильное впечатление, другие были положительно бессодержательны. Кроме подписываемых ею своей фамилией статей—в большинстве случаев интервью со знатными иностранцами—Мод бегло говорила на пяти-шести современных языках—она вела еще „Размышления девицы брачного возраста". Этой дешевой остротой она как-будто гордилась.

Повидимому, Иетта ей нравилась, но она всегда, знакомя ее с кем-нибудь, рекомендовала ее, как нового выжимателя слез газеты „Звезда". Очевидно, в новой сотруднице она не видела ничего иного, кроме пользующейся успехом писательницы, пишущей с пафосом, восходящей звезды в прибыльном занятии, заключающемся в вызывании слез.

Такое отношение, которое Иетта встречала, со всех сторон, ее огорчало. Она прочитала несколько произведений „Лилиан Лебервурц". Она узнала, что настоящее имя этой дамы, с которой, как надеялись, ей придется конкурировать, было миссис Трэдуэй. Произведения были серы до безнадежности; они показались ей тошнотворными. Иетта тщетно пыталась представить себе образ женщины, которая может писать серьезно такую слезливую чепуху.

— Пообедаем в воскресенье,—сказала ей как-то мисс Риплэй. Она всегда выражалась таким сжатым слогом иностранного корреспондента, посылающего телеграммы по доллару за слово.— У меня дома. Соберутся те, кого вы должны знать.

Иетта всегда отличалась общительностью, она не любила поворачиваться спиной, если ей предлагали дружбу. Поэтому в ближайшее воскресенье она охотно звонила у дверей квартиры в верхней части города, где жила одиноко Мод. В гостиной сидели дама и трое мужчин.

— Кто это?—спросила шопотом Иетта, поправляя прическу в спальной Мод.

— Мэтьюс—пишет „самые ходкие“—не рассчитывая, что их будут читать его друзья. Конклин—есть деньги—имеет возможность писать „умные“ книги, на которые нет спроса. Надо читать между строчек. Я слишком занята. Поттерс — поэт декадент. Нудный, но производит фурор. Миссис Трэдуэй — Лилиан Лебервурц—годится мне в матери. При виде ее никогда не придет в голову, что она лучше всего оплачиваемая женщина среди нас всех—идем!

Конечно, Иетта больше всего заинтересовалась миссис Трэдуэй. Про нее, пожалуй, нельзя было сказать, что она годится в матери, хотя она иногда упоминала о своем сыне студенте Гарвардского университета и часто повторяла фразу— „когда вы доживете до моего возраста“.

Это была рослая особа, с пышным бюстом и с лицом, почти лишенным всякого выражения. Платье ее выглядело дешевым, несмотря на его явную дороговизну, а драгоценности были массивны. Но не наружность ее и не важная снисходительность смущали Иетту. С первых же нескольких слов миссис Трэдуэй выказала себя до крайности беспринципной. Она не пыталась скрыть, что ее работа не отличается искренностью чувства—она как-будто даже хвасталась этим. Прежде всего она заботилась, чтобы все уяснили себе, что она вовсе не так глупа, как можно было бы думать на основании ее сентиментальных советов.

В Мэтьюсе все дышало благоденствием, начиная с его носков, цвета лаванды, и кончая вычурным галстуком—но, повидимому, блистательность его дальше этого не шла. Конклин по сравнению с ним был прямой противоположностью. У него было сухощавое лицо и, когда его что-нибудь смешило, глубокие изогнутые морщинки образовывали по обеим сторонам его рта складки, напоминавшие скобки. Эти скобки словно заключали в себе его улыбку, и это сходство еще больше подчеркивалось тем, что вся остальная часть лица оставалась попрежнему хмурой. Наружность поэта вполне к нему подходила.

Когда Иетта вошла, все были заняты рассматриванием последнего номера „La vie parisienne“. Миссис Трэдуэй тряслась от хохота—как желатиновый пудинг—над рискованной позой

в которой была изображена одна из нагих женщин Фабриано. Поттер начал какое-то тяжеловесное рассуждение на тему об юморе линий Обри Бэрдслея и об остроумии красок Матиссо. Фабриано он назвал „чересчур понятным“. К счастью, его прервали приглашением к столу.

Во время обеда разговор перескакивал с одной темы на другую. Никто не останавливался на том или ином вопросе, как только исчерпывался запас эпиграмм. Никто не был глубоко заинтересован ни в чем. По большей части разговор шел о таких вещах, незнанием которых Иетта только могла гордиться.

Обед был для нее прямо каким-то разгромом.—Конечно, эта группа людей не типична,—говорила она себе, возвращаясь домой.—Есть люди, должны быть такие люди, которые принимают писания этих господ всерьез.—Но позиция, занятая Мод Риплэй и ее друзьями, страшно поразила Иетту. Хуже всего было то, что к ней самой они все относились с каким-то уважением, потому что она „поступала хорошо“. Но их совершенно не интересовал тот факт, что Иетта относилась к своему делу серьезно. Она ничуть не потеряла бы в их глазах, если бы оказалась совершенно неискренней. У Иетты было такое чувство, словно ее оскорбили.

На следующий день новый инцидент усилил то чувство отчужденности, которое испытывала Иетта, работая в редакции. Она ждала в репортерской комнате случая повидать мистера Брэса. Кован, седовласый заведующий спортивным отделом, рассказывал забавные эпизоды из эпохи давно прошедших дней. когда он сам был еще молокососом. Хотя он и был летами старше других, но душою моложе их всех. Иетта чувствовала к нему большую симпатию, чем к кому бы то ни было другому из сотрудников „Звезды“.

Вдруг в комнату ворвался кудрявый ирландец О'Рурк. Он всегда входил, оглушительно хлопая дверями.

— Сегодня могу вам кое о чем рассказать, ей богу!—сказал он.—Один банковский ревизор из желторотых, не знающий ни бе, ни ме, нагрянул вчера в банк экс-губернатора Биллингса и наткнулся там на хорошенькие делишки. К старикашке никогда

еще за всю его долгую и полезную жизнь не являлся столь неожиданно ни один правительственный ревизор. Его чуть не хватил кондрашка! А он только что выставил свою кандидатуру в сенат. Но этот бестолковый правительственный ревизор, в конце концов, оказался вовсе уж не таким олухом. История гласит, что Биллингсу пришлось здорово раскошелиться, чтобы заткнуть чиновнику рот.

— Как так? Разве ревизор нашел какие-нибудь упущения?— спросила Иетта.

— Да, дитя мое!—сказал О'Рурк с шутливым сожалением.— Он был столь глуп.

— А что же он обнаружил?—продолжала настойчиво расспрашивать Иетта.

— Необеспеченные ссуды. Биллингс давал себе самому взаймы деньги, принадлежащие вкладчикам, так сказать, под свою визитную карточку.

— Что же за это будет Биллингсу?

— Вас нельзя пускать ходить по городу без няньки,—поддразнил ее О'Рурк.—Уже давным-давно решено, что Биллингс должен будет занять ближайшее вакантное место, в качестве сенатора Соединенных Штатов от славного штата Нью-Иорк. Такой пустяшный инцидент не должен помешать этому.

— Это чистейший скандал,—заметил Кован. Он был слишком стар, чтобы не сделать попытки разыграть из себя человека, которому все надоело.—Они хватают через край, выбирая народным избранником такого плута. Каждому, кто не забыл, известны его подвиги. В доброе старое время, когда желтый журнализм только что нарождался, а мы еще не были столь порядочны, как ныне, и имели возможность печатать правду, мы вывели Биллингса на свежую воду—показали, как он пролез в правление железной дороги, когда речь шла о разъезде на этом проклятом Авеню.

— О, это старая история. А вот всего лишь шесть месяцев тому назад...—начал другой репортер. Один за другим сотрудники стали передавать различные подробности о бесчестных подвигах экс-губернатора. Но в номере газеты, появившемся

в этот же день, была помещена хвалебная статья о патриотической деятельности Биллингса. Передовая статья, написанная, как было известно Иетте, О'Рурком, превозносила Биллингса до небес и заявляла, что население штата нужно поздравить с тем, что такой достойный человек согласился принять назначение. Иетта не могла понять психологию этих людей, которые, имея полную возможность провалить кандидата, недостойного занять место на службе обществу, не пользуются этой возможностью. Это было хуже цинизма—это было бесстыдство.

Несколько дней спустя, когда она уходила из редакции, Кован поехал вместе с ней по воздушной железной дороге.

— Если вы не обидитесь, мисс Раевская,—сказал он, когда они вышли из вагона и благополучно достигли Сити-Холл парка,— то мне хотелось бы дать вам маленький совет. Быть может, я суюсь не в свое дело. Но вы знаете, моя младшая дочь старше вас. И мне кажется, что занятие без предварительной подготовки новым делом и встреча с новыми людьми не такая уж легкая вещь для молодой девушки. Я не обижусь, если вы станете меня ругать.

— Давайте присядем на минутку,—сказала Иетта.—Мне очень приятно поговорить с вами. Ведь я в самом деле чувствую себя какой-то потерянной.

— Хорошо.—Он был явно смущен. Повидимому, он терял надежду, что ему удастся тактично и мягко коснуться интересующего его вопроса.—Я нечаянно слышал, как кто-то из наших передавал, что вы были на обеде у Мод Риплэй. Она умная женщина. Но мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из моих дочерей дружил с нею.

— Мне самой это не доставило никакого удовольствия,— сказала Иетта.—Больше я к ней не пойду.

— Прекрасно. Это все, что я хотел сказать. Она, вероятно, не думала вам чем-нибудь повредить—наверное, ей это не приходило в голову. Но люди, близкие к газетному миру, не высокого о ней мнения, хотя они отдают должное ее уму. Простите, что я вмешиваюсь.

Он хотел подняться, но Иетта его удержала. Ее очень глубоко тронул его сердечный интерес к ней.

— У меня есть целая куча вопросов, о которых мне хотелось бы поговорить с вами, если у вас есть время.

Она начала с дела экс-губернатора. Почему ни Кован, ни О'Рурк, ни другие не выступили против него, воспользовавшись тем, что им известно? Ответ на это был очень прост. Они потеряли бы место. Карнер и Биллингс приятели. Но Иетта этим не удовлетворилась. Они проспорили целых полчаса. Никто не видел всех недостатков и ограниченности журнализма лучше Кована, но все-таки он продолжал оставаться вполне лойяльным.

— Если мой сын не станет журналистом, я откажусь от него,—сказал он с жаром.—Так-то! Не выискивайте дурных сторон и не нападайте на журнальную работу потому лишь, что не всякая такая работа честна. Она теперь гораздо лучше, чем когда я начинал. Пресса—надежда демократии и вместе с тем ею измеряется демократия. Конечно, этика Карнера довольно оригинальна. Но не извращеннее той, которой все отличаются. Он был бы честен, если бы это оплачивалось.

— Публика может иметь хорошую и чистую газету, если ей действительно захочется иметь такую газету. В ее распоряжении теперь лучшие и более демократичные газеты, чем это было двадцать лет тому назад, и если ей захочется иметь действительно правдивый орган, то она его получит.

— Конечно, все это скверно, если вам угодно взглянуть на этот вопрос с такой точки зрения. Тут вопрос компромисса. Но нет ни одного класса людей в стране, который делал бы больше для прогресса, чем эта кучка циничных журналистов. Они настоящие патриоты. Каждый новый рекрут продвигает флаг немного дальше вперед. Но вам придется пойти на компромисс.

— До сих пор я еще этого не делала,—сказала Иетта.

— Быть может, пока еще. Но рано или поздно вы это сделаете, если намереваетесь принять участие в игре, называемой журналистикой.

— Вот тут-то и беда мне с вами,—воскликнула Иетта, как-будто она неожиданно увидела свет,—вы называете это игрой. Я не играю с жизнью. Я привыкла относиться серьезно и к

самой себе и к своей работе. Я не хочу итти на компромисс. Если же таково правило игры—ну, что ж, я брошу играть в нее.

Удивительная вещь: ее никто и не просил итти на компромисс. Мистер Брэс, повидимому, весьма мало интересовался тем, что она пишет. Если он и говорил с ней об ее работах, то лишь для того, чтобы дать ей некоторые технические указания относительно употребления „курсива“ или „капители“. Ни один партийный социалист не мог бы обвинить ее статьи в недостатке ортодоксальности. Она проповедывала своим читателям надлежащее евангелие. День за днем Исидор читал ее статьи и поражался.

Миссис Карнер тоже поражалась. Как-то вечером, поздно вернувшись домой, она встретилась в прихожей с мужем; он только что проводил кое-кого из друзей, с которыми играл в покер. Она прошла мимо него, бросив ему: „Спокойной ночи“. Он был немного пьян. На половине лестницы она остановилась.

— Слушайте, Берт. Объясните мне эту таинственную историю с Иеттой Раевской. Ее сегодняшняя статья—чистейший социализм. Что это значит? Не проник ли луч света в подземный мрак вашей редакции? Не влюбился ли в Иетту состав вашей редакции?

Карнер был в выигрыше и потому в хорошем расположении духа.

— Вот именно. Я позабыл поблагодарить вас за то, что вы ее порекомендовали. Она—золотые россыпи.

— Да. Но каким образом „Звезда“ выдерживает тот приличный тон, который Иетта ей придает?

— Не тревожьтесь,—он подмигнул со значительным видом.— Денег хватит на вашу поездку в Европу. Полтора столбца нам не повредят.

— Но почему вы позволяете ей это делать? Что вы на это скажете?

— Просто, как азбука. Удивляюсь, как вы сами этого не видите. Девчурка наседает на потогонные мастерския. А потогонные мастерския не помещают объявлений. Понимаете? Пока она нападает на Восточную Сторону, она может ругать, кого ей

заблагорассудится. А что касается социализма—то ведь работницы не голосуют.

— Глупо было с моей стороны не понять этого,—сказала миссис Карнер, поднимаясь к себе в комнату.— Спокойной ночи... циник!

Она никогда себе не представляла, как сильно задевают супруга ее насмешки.

— Чорт подери этих женщин,—пробормотал он.—Она вышла за меня из-за моих денег, а вместе с тем ей не нравится тот способ, которым я их зарабатываю.

Мистер Карнер любил свою жену больше всего на свете... не считая удовольствия разыгрывать из себя в обществе важную персону. Благодаря своей газете, он сделался силой в стране. Кандидаты на президентский пост искали у него поддержки. Никто не осмелился забаллотировать его, когда он недавно выставил свою кандидатуру в члены клуба, в который, как предполагалось, входят одни джентльмэны. Но жена не уважала и не боялась его. Карнер печально стоял в прихожей—от паров шампанского все предметы слегка колыхались—соображая, хватит ли у него смелости пойти к ней в комнату. Он решил, что боится и, потребовав свою шляпу и пальто, вышел на улицу.

Но для других, задававших тот же самый вопрос, с которым миссис Карнер обратилась к своему мужу, ответа не было. Исидор каждый день дивился тому, что Иетта проповедует социализм и его изумление мало-по-малу превратилась в убеждение, что он ошибся. Он написал ей корректное письмо с извинениями, и Иетта в снисходительном ответе на него прислала ему прощение.

Недоразумение возникло с приближением рождества. Несколько дам из Лиги Женского Потребительного Союза явились к Иетте и, осыпав похвалами ее работу в пользу женщин, работающих на фабриках и заводах, пытались заручиться ее помощью, надеясь, что Иетта заинтересуется положением девушек-приказчиц, столь бесстыдно переобременяемых работой во время предпраздничной торговли. Дамам хотелось, чтобы она выступила

с речью на массовом митинге. Не трудно было заинтересовать Иетту таким делом.

— Дайте мне какие-нибудь факты,—сказала она, после того, как пообещала говорить,—и я помещу в „Звезде“ несколько заметок.

Но ее первая статья об универсальных магазинах не вышла в свет. Она была „зарезана“ в пользу рецепта для сохранения блеска на ногтях. Корректор, умудренный опытом в газетном деле и полный забот о том, как бы ему добиться благосклонности хозяина, побежал с корректурой к заведующему приемом объявлений. Тот бросился сердито к мистеру Брэсу. Брэс отправился к мистеру Карнеру. Мистер Карнер бросил статью в корзину для бумаги и посоветовал пустить заметку о ногтях.

Когда Иетта спросила мистера Брэса о своей статье, то увидела, что он собирается обратить все дело в шутку.

— Ведь есть же все-таки, как вам известно,—засмеялся он,—некоторые границы. Нельзя же брать у человека деньги за объявление, печатаемое на одной странице, и плевать ему в глаза на другой. Для вашего ножа, которым вы снимаете скальпы, есть вполне достаточно работы среди людей, не сдающих нам объявлений.

Иетта начала понимать. Для нее это было первым введением к серьезному искушению. За шесть месяцев газетная работа вошла у нее в плоть и кровь. Помимо возбуждаемой ею приятной дрожи, она была и полезна. Сотни девушек в значительной степени зависели от нее. Трудно было отказаться от такой аудитории. А работа была приятная—и оплачивалась хорошо. Для девушки-работницы из потогонной мастерской было просто чудом забраться так высоко. Должна ли она продолжать „принимать участие в игре“? На мгновение она попыталась возложить ответственность на другие плечи. Что подумают об этом ее знакомые? Она знала, что будут думать Мабель и Исидор. Мабель посоветует ей пойти на компромисс. Исидор—наоборот. А что подумал бы Вальтер? И вдруг ей неожиданно стало ясно, что не в том вовсе дело, что будет думать тот или другой. Ей самой нужно решить это. Что бы ни случилось, ей всегда придется жить с самой собой. Самоуважение имеет большее значение, чем

отношение хотя бы даже самого близкого друга. От нее требуют, чтобы она сделала именно то, о чем она с таким жаром говорила Кувану, что никогда этого не сделает. Иетта надела шляпку и отправилась в контору к мистеру Карнеру.

— Это меня не касается,—сказал он.—Я нанимаю мистера Брэса для редактирования литературного приложения и доверяю его уменью и выбору. Если он решил, что пускать вашу статью неблагоразумно, то вопрос исчерпан.

— Мистер Карнер, если „Звезда“ боится затрагивать универсальные магазины, то я заявляю о своем уходе.

Он повернулся на своем кресле.

— Боится? Это сильно сказано.

— Очень легко доказать несправедливость этих слов,— быстро сказала она.

В течение нескольких минут он грозно смотрел на нее, измеряя ее взглядом. Его ловкость в этом занятии помогла ему поднять свою газету со ступени третьеразрядной газетки до ее нынешнего положения.

— Мисс Раевская, вам нужен прямой ответ? Мы заняты тем, что делаем деньги. Мы не будем нападать на наших самых крупных клиентов.

Иетта встала.

— Не торопитесь. Еще никто не имел возможности дважды заявлять о своем уходе из штата моих служащих. Подумайте об этом несколько дней. Мы довольны вашей работой; надеюсь, вы тоже. Надеюсь, вам приходилось думать о том, что ваша работа стоит труда. Вы можете, насколько я вижу, продолжать делать свое дело до бесконечности. Вы собираетесь бросить эту работу, потому что не в силах сделать невозможное. „Звезда“ тут совершенно не при чем. Дело в том, что журнализм имеет определенные границы. Ни один издатель в городе не мог бы напечатать эту статью.

— Не пройдет двадцати четырех часов, как я пришлю ее вам по почте в напечатанном виде,—сказала Иетта, идя к дверям.

— Ах, так!—зарычал он.—Так вот оно что? Кто-то другой предложил вам лучшие условия. Вы забываете, конечно, что мы

научили вас, как надо писать, что мы рекламировали вас, что мы создали вам имя. Вы забываете обо всем этом, как только кто-то другой предлагает вам...

Но Иетта хлопнула перед его носом дверью.

Вернувшись к себе домой, она вызвала по телефону Исидора и передала ему всю эту историю.

— Я посылаю вам по почте статью, чтобы вы напечатали ее в „Трубном Звуке".

Так она с честью отступила.

— Во всяком случае, я был наполовину неправ,—пытался он утешить ее.—Я никогда не мог допустить, что они предоставят вам свободу действий на такой большой срок. А кроме того... вы научились писать. Надеюсь, вы будете принимать у нас еще большее участие.

Что больше всего огорчило Иетту, это телеграмма, пришедшая из Тегерана и гласившая, что Вальтер выезжает домой. Он услышит о том, как она попала впросак.

Мистер Карнер, получив номер социалистической газеты с напечатанной в нем статьей Иетты, грубо излил свое бешенство на жене. Ссора, возникшая в результате этой сцены, пробудила миссис Карнер к жизни.

ГЛАВА XXII.

Возвращение Вальтера.

Когда археологическая экспедиция прибыла в Константинополь, женатые мужчины были встречены своими женами.

Для пригородного жителя, возвращающегося домой после трудового дня, обед и жена кажутся, по всей вероятности, одинаково важными. Жена, ожидающая возвращения мужа, имеет более глубокое значение для моряка и для исследователя. Целых три года члены экспедиции не видали ни одной белой женщины, если не считать особ, входящих в состав Шотландской миссии, расположенной в четырех днях езды от их лагеря.

Маркиза Д'Отвилль была гораздо моложе мужа. Это была прелестно одетая парижанка из Сен-Жермэнского квартала. Она стояла на пристани со своими двумя мальчиками, семи и четырех лет. Взглянув на нее, Вальтер понял причину нервного нетерпения, заставлявшего главу экспедиции расхаживать без отдыха взад и вперед по палубе с тех пор, как они отплыли из Батума.

Доктор Бертолэ, ворчливый специалист по измерению черепов, внезапно начал улыбаться, увидев madame—толстую даму буржуазного вида в черном шелковом платье, напоминавшую хозяйку café. Бекмейер, немец, знаток древних религий Персии, неистово махал платком белокурой Гретхен. У них умер сын, пока Бекмейер был в отъезде, и, когда сходни были спущены, супруги кинулись друг другу в объятия и зарыдали, как дети.

Холостяки переминались с ноги на ногу, пока не улеглись порывы первых восторгов, и затем были представлены дамам. Маркиз назначил всем рандеву в Париже на следующей неделе. Этим давалось понять, что женатые люди могут провести несколько дней в кругу своей семьи, прежде чем будет официально сообщено о возвращении экспедиции.

Делануэ, Вибер и Вальтер поспешили, как можно быстрее, покончить с таможенным досмотром багажа и только-только успели захватить Orient Express. Всем троим ужасно хотелось попасть скорее в Париж. Оба француза походили на купальщиков, стоящих на доске для прыжков и готовых нырнуть в морские волны. Они предавались самым необузданным мечтам, стараясь придумать какую-нибудь соответствующую оргию, чтобы вознаградить себя за три года лишений. Делануэ хотелось, чтобы оба сотоварища погостили у него. Он предлагал повести их в свой излюбленный ресторан и заказать все, что стоит на карточке. А затем они устроят набег на Монмартр. Если только Париж не изменился к худшему, уверял Делануэ, то он сумеет доказать своим компаньонам, как были тусклы и бесцветны самые безумные сновидения арабских ночей.

Вибер весело принял приглашение. Но Вальтер спокойно отказался. Ему тоже хотелось попасть поскорее в Париж—он надеялся, что там его ждет письмо от Мабель. Когда поезд

остановился у дебаркадера Gare de l'Est, Вальтер покинул своих приятелей, несмотря на их подтрунивания над его пуританством.

В консульстве он нашел три пакета с письмами. Он поспешил в отель и с нетерпением вскрыл конверты. От Мабель было всего одно письмо, скорее просто записочка. Иетта сообщила ей, писала она, что он возвращается домой. Она надеется, что экспедиция удалась. Ей будет очень приятно снова увидеться с ним. Она очень занята, как всегда, но обе они с Элеонорой здоровы.

Каким глупцом его сделала надежда! Он не мог примириться с решительными отказами Мабель... все их теперь он вспомнил снова. Эти три года он провел с закрытыми глазами, чтобы не видеть действительности и жил тщетной надеждой. Мужчине нужно нечто большее, чем рутинная работа, чтобы поддержать в нем бодрость духа. Во время всех тех моментов праздности, которые встречались на протяжении его деловой, нервной жизни—перед тем, как заснуть, в те минуты, когда его будил ночью вой какого-нибудь шакала, в периоды ожиданий—он думал о Мабель. И неизменно он задавал себе вопрос: неужели их долгая интимность ни к чему не приведет? Это казалось невозможным. Наверное, она почувствует его отсутствие жизнь покажется ей пустой без него, и ей захочется, чтобы он вернулся обратно. Его дружеское отношение должно что-нибудь значить для нее. Мабель горда и на перемену в ней трудно рассчитывать. Но время сделает чудо. Она позовет его. Казалось, это начертано в звездах, в величии зорь, занимающихся в пустыне, в обычных красках угасающего заката.

За последние месяцы эта мечта приняла более конкретные формы, чем любая действительность. Когда он приедет в Париж после своего долгого изгнания, то найдет там ее призыв. Быть может, она и сама приедет, чтобы встретить его. И вдруг только эта холодная и официальная записка.

В унылой комнате отеля Вальтер испытал всю глубину одиночества. Из всех его новых сотоварищей только одного его никто не встретил ласково. Он вспомнил об изящной маркизе Д'Отвилль и ее детях. Они сделали остановку в Земмеринге

в австрийских Альпах. Где праздновали свое соединение Бертолэ—он не знал. Бекмейер уехал со своей Гретхен к себе в имение где-то около Шварцвальда. А где-нибудь на склоне La Butte joyeuse Делануэ с Вибером нашли себе компанию и сердечный прием. А он сидит в мрачной комнате отеля, один с умершей надеждой, которую не может забыть, какой-то неудачник, какая-то ошибка—une vie manquée.

Зимняя ночь спустилась над Парижем, но Вальтер был в таком мрачном настроении, что не заметил темноты. Только холод заставил его, наконец, притти в себя. Он лег спать с ощущением человека, которого опоили.

На следующее утро его разбудила целая куча репортеров. Каким-то образом распространилось известие, что экспедиция вернулась. До репортеров дошли какие-то смутные слухи об „осаде", когда в течение двух недель фанатики нападали на лагерь, и о том, как Вальтер, переодевшись в туземную одежду, проскользнул через вражескую линию и привел подмогу. Но Вальтер отказался говорить, укрывшись за этикетом, требующим, чтобы подчиненные держали язык за зубами, пока не заговорит глава экспедиции.

Едва он отделался от репортеров, как в комнату ворвались Делануэ и Вибер с несвязным отчетом о своих похождениях. Оба они были пьяны и положительно измучены. Пока Вальтер брился, Делануэ уснул у него на кровати, а Вибер на кушетке. Их это ничуть не смущало.

Кофе остыл в чашке Вальтера. Что ему предпринять? Немыслимо было провести все утро, слушая противное сопение и храп. Куда бы ему пойти? Во время прежних посещений Парижа ему было весело. Вальтер знал много народу. Но ему не думалось, чтобы на этот раз кто-нибудь его развеселил. Как бы то ни было, сейчас слишком рано делать визиты. Кофе его безнадежно простыл. Вальтер хотел сделать попытку преодолеть свою рассеянность и позвонить, чтобы ему принесли еще кофе, когда chasseur подал ему petit bleu и сообщил, что новый рой репортеров желает его видеть.

— „Алло, алло, мистер Вальтер Лонгмэн,—так гласила pneumatique.—Утренние газеты извещают о вашем прибытии. Приходите завтракать. Приходите, во что бы то ни стало. Я закрою дверь на ключ. Предваряю, что газетчики за вами охотятся. Если вы хоть наполовину так милы, как обычно, то спасете от самой невыносимой скуки несчастную женщину, которая называет себя

Вашим другом

Беатрисой Мэйнард Карнер".

Вальтеру едва приходила в голову мысль о миссис Карнер с тех пор, как он уехал из Америки. Но через пять минут после того, как он распечатал депешу, он ускользнул от репортеров и очутился на тротуаре. У него было намерение позвать такси и немедленно отправиться к миссис Карнер, но он сейчас же сообразил, что еще слишком рано. Приходилось убить полтора часа до завтрака. Он уселся в одном из кафе на бульваре и попытался заинтересоваться газетой. Но еще раз на него напало скверное настроение духа. Он снова застудил свой кофе. Так и сидел он там, нахмурясь и устремив взор в какую-то неопределенную точку на блестящем полу—печально раздумывая над тем, существует ли для него еще какой-нибудь интерес в жизни. Он почувствовал себя таким нелюдимым, что отказался от мысли ехать к миссис Карнер. Ему будет с ней скучно. Но когда наступил час завтрака, ему стало не по себе при мысли, что придется есть в одиночестве. Разумеется, лучше провести время в компании с кем угодно, чем наедине с самим собою.

Миссис Карнер встретила его радостно. Повидимому, она решила быть веселой. В ее манере одеваться сказывалась какая-то едва заметная перемена. Она казалась не такой grande dame, как в Нью-Иорке. Она как-то помолодела. Какая-то черточка беспечной неуверенности сквозила в ее манерах, словно у мальчика в начале каникул или у только что освобожденного узника.

— Как я завидую вам, сколько волнений выпало на вашу долю! Расскажите мне об этом.

Он только что хотел ответить, как доложили о завтраке и они перешли в столовую. Вальтер едва помнил, о чем они говорили—главным образом он сообщал подробности об экспедиции. Но когда завтрак был закончен, и они вернулись снова в салон, миссис Карнер вытянулась на лонг-шэзе, а Вальтер присел на оттоманку около ярко пылающего камина. Оба чувствовали себя как-то не по себе. За отсутствием лучшей темы, он сказал:

— У меня полон карман прекраснейших кавказских папирос. Не хотите ли попробовать?

Она согласилась на его предложение, но ему не приходило больше в голову, о чем бы еще сказать.

— Вам не очень весело сегодня,—заметила она.—Какая-нибудь неприятность?

Он сделал неопределенный жест.

— Дурные вести из дома?

— Из дому?—он попытался произнести это небрежным тоном.—Разве где-нибудь есть такое место?

— Прекрасно!—сказала она.—Вы делаете успехи, Вальтер. Обычно вашим самым большим недостатком была вера в такие предрассудки.

Теперь настала ее очередь скрыть свою серьезность под маской легкомыслия.

— Вы не замечаете ничего особенного в обстановке этой комнаты?

— Это чудесный старый Empire.

— Хорошо. Дело вовсе не в том, Empire ли это, Louis Seize, Henri Quatre или китайщина. Это не готика! Вот что важно. Да,—продолжала она в ответ на его вопросительный взгляд,—я жду со дня на день последних документов. Приму свою девичью фамилию, Беатриса Мэйнард.

Она закинула голову и выпустила несколько колечек ароматного дыма.

— Мне пришлось потратить много времени, чтобы научиться этому искусству,—сказала она, как-будто вопрос шел о весьма

серьезном предмете. Научил меня в давно прошедшие дни один господин, заведывавший в „Звезде“ отделом „Морг“.

Но Вальтер почти не слушал ее притворных слов. Он думал о том, какие выводы можно сделать из пережитой ею катастрофы, но эти думы отступали на задний план перед мыслью о том, что у нее страшно красивая грудь. Он никогда не замечал этого раньше.

— Да, чудесные папиросы,—подтвердила она, все еще продолжая следить взглядом за кольцами дыма, чтобы избежать встречи со взором Вальтера.

Но Вальтер не отвечал. Внезапная жалость к ней нахлынула на него. Как безнадежно гибнут они оба, бесцельно хлюпаясь в непроходимой житейской грязи! Много времени сидели они молча, печально взирая на мертвое прошлое и на будущее, обещавшее быть мертворожденным.

Странно, как много знаем мы иной раз о других такого, о чем никогда не упоминается. Миссис Карнер знала с изумительной точностью о том, какое значение имеет для Вальтера его неудачный роман, хотя Лонгмэн никогда не посвящал ее в свою тайну. А он, точно так же, понимал, что у нее на душе, чувствовал молчаливую трагедию, скрывавшуюся за ее насмешливыми словами.

Миссис Карнер, испугавшись мысли, что благодаря такому мучительному молчанию между ними возникает опасная близость, положила их задумчивости внезапный предел, быстро поднявшись с места.

— Мы представляем собою жалкую парочку, не так ли? Мы заварили ужасную кашу, и нам хочется реветь. Гораздо лучше смеяться. Давайте пожмем друг другу руки и не будем падать духом.

Широкий рукав ее утреннего платья соскользнул с руки, которую она протягивала Вальтеру. Кожа на ней показалась ему невероятно, нелепо белой, когда он поднялся со своего места. Но что больше всего произвело на него впечатления—эта запутанная сеть тонких голубых жилок на внутреннем сгибе локтя.

— Во Франции,—сказал он,—я претендую на французские привилегии.

Так как она не убрала назад руки, когда он поднес ее к своим губам, то он поцеловал голубые жилки на внутреннем сгибе локтя. Он не соображал, что он делает, что он сделал, пока не услышал ее прерывистого дыхания. Взгляд на ее лицо заставил забиться у него кровь в висках.

Прошло всего несколько секунд, проведенных ими в молчании. Но они показались бесконечными.

Вальтер посмотрел в пылающий камин, борясь с тем чувством, которое горело в его груди жарче углей. В конце концов почему же нет? Ужасно жить в одиночестве.

— Глупый мальчик,—сказала она, принужденно смеясь.— Я вовсе не хотела, чтобы вы поняли меня так буквально.

— Мне кажется, это единственное, что нам остается делать... если мы желаем не падать духом.

Он швырнул в камин недокуренную папироску и повернулся к миссис Карнер. Лицо ее внезапно побледнело, она пошатнулась и взмахнула бесцельно рукой, ища поддержки. Вальтер взял эту руку в свои.

В течение следующих нескольких дней газеты только и говорили об экспедиции. Маркиз Д'Отвилль вернулся из Земмеринга, и большая часть его сообщения была посвящена ловкости и храбрости Вальтера. Остальные члены экспедиции с восхитительной любезностью французов особенно подчеркивали роль, сыгранную Вальтером во время осады, и преувеличивали опасности, которым он подвергался, спеша на выручку к осажденным. Париж обожает такие сенсации. Веселому городу ничто так не нравится, как создание себе кумира в лице какого-нибудь иностранца. Вальтер сделал все, что было в его силах, чтобы избежать участи модного льва.

Ему нужно было еще много поработать, чтобы составить свой отчет. Он перебрался из отеля на тихую дачу в Пасси, принялся за работу... и предался веселью. Беатриса добросовестно старалась не мешать ему „в часы занятий", но когда он

вставал из-за письменного стола, то они оба погружались в вихрь такого веселья, которого он никогда не позволял себе до этих пор. Чудачества компании „Из-за Океана“—богатых американцев из квартала, прилегающего к площади Звезды,—интересовали его своей неподдельной новизной. Остроумные замечания Беатрисы по адресу мнимой аристократии—великих герцогов Румынии и князей Папской области, разжиревших на доверчивости своих соотечественников, забавляли его невероятно.

Их интимность была какой-то странной. До своего увлечения Мабель Вальтер, собственно говоря, не был пуританином, но ему никогда еще до этих пор не приходилось переживать ничего подобного. Ни одного слова любви не было произнесено ни им, ни Беатрисой. Благоговейные речи о взаимных чувствах находились под запретом. Они оба лихорадочно старались забыть, старались помочь друг другу забыть, какими пустыми оказались эти слова. Чувство деликатности мешало ему упоминать слово „дом“—оно было такой насмешкой для нее. А ей казалось прямой жестокостью говорить ему о верности.

Только один раз они беседовали друг с другом о прошлом. То, что хотел рассказать ей он, было рассказано очень быстро. История Беатрисы была длиннее, и она не все ему рассказала.

Отец ее был доктором. Он умер, когда она была в университете, и после его смерти она осталась почти без гроша в кармане с больной матерью на руках. К занятию литературой она имела всегда влечение; поэтому, бросив университет, она уехала в Нью-Иорк, чтобы попытать счастья в газетном мире. Она с трудом добилась очень скромного успеха. Не такая работа ее интересовала—самая унылая, самая нудная из всех, какие могут быть—да и оплачивалась она плохо: денег не хватало, чтобы окружить мать привычным комфортом. Не было никаких надежд на быстрое изменение их положения к лучшему. Беатрису все это страшно огорчало. Ей казалось, что в ней заложен талант писательницы-романистки, но, уставая от своей службы, она не могла достаточно зарабатывать, чтобы удовлетворить все нужды матери, и вместе с тем у нее совершенно не хватало энергии, чтобы заняться тем, к чему рвалась ее душа.

Затем появился Берт Карнер. Это был молодой миллионер с Запада. Он купил „Звезду“, в которой работала Беатриса. Хотя он и был богат, но не кичился своим происхождением. Он никогда не говорил о том, каким способом его отец составил себе капитал. Его честолюбивое стремление заключалось в желании „поставить на ноги весь Нью-Иорк и обратить на себя всеобщее внимание“. У него были положительно гениальные способности к журнализму. И не прошло много времени, как все увеличивающийся тираж газеты и его практические методы привлекли на себя внимание. Так как не было соответствующей статьи уголовного уложения, чтобы засадить его в тюрьму, то он стал одним из „передовых граждан“.

С первого же взгляда он безумно и пылко влюбился в Беатрису. Страсть его к ней хотя и была вполне искренней, но не совсем чуждой расчета. Проект его „стать некоторой величиной“ требовал искусного выполнителя. Беатриса была красавицей, она умела одеваться. Она была остроумной; из нее могла получиться отличнейшая хозяйка дома. Кроме того, он мог положиться на ее вкус в выборе галстуков. Карнер до болезненности боялся показаться вульгарным и особенно страшился доверять своему вкусу в вопросе, касающемся ношения галстуков. Все эти соображения заставили его просить ее быть его женой, а не любовницей. Она сначала отказала, и это удивило его. Но Карнер обычно покупал то, что ему нравилось, и поэтому он накинул цену.

Если бы миссис Мэйнард выразила свое неудовольствие, то, весьма вероятно, ее дочь действовала бы более эгоистично. Но мать, к которой Беатриса всегда относилась, как к ангелу с небеси, ни разу не выразила своего неудовольствия. И вот, в конце концов, Беатриса себя продала. Но у нее—и об этом по какой-то непостижимой причине она ничего не сказала Вальтеру—было выработано с Карнером особое соглашение. Он знал, что покупает, ему было известно, что она не любит его.

Спустя три месяца после свадьбы миссис Мэйнард неожиданно скончалась. Это совершенно убило Беатрису. Какая ужасная насмешка! Если бы только мать умерла до свадьбы! Если бы

только боги вдохнули в Беатрису мужество продержаться немного дольше! Она должна была продать всю свою жизнь, чтобы доставить матери эти три месяца комфорта.

Во время первого припадка отчаяния она сожгла полузаконченный роман. Что может поведать миру такая неудачница, как она? Но смерть матери произошла не по вине Берта. Поэтому сперва она старалась выполнять свой договор с ним, делать все, что было в ее силах, чтобы создать ему домашний уют и помочь в его стремлениях вскарабкаться вверх по общественной лестнице. Но рок не перестал еще ее огорашивать. Неожиданно открывшееся мошенничество, совершенное ее мужем, вывело ее из молчаливого безразличия, в которое она была погружена после смерти матери. Выходя за него замуж, она во всяком случае думала, что он порядочный человек. Если бы она не так пала духом, то наверное сейчас же бросила бы мужа. Но она была слишком разбита, чтобы решиться на какой-нибудь шаг. Так она и жила среди житейских условностей, рассеянно ища себе развлечений. Ее интерес к Лиге Женского Рабочего Союза был тем, что ближе всего соприкасалось с действительностью. Она вошла в совет, потому что муж настаивал, чтобы она подружилась с миссис Ван-Клив. Она заинтересовалась работой, так как ее собственные голодные годы пробудили в ней глубокую симпатию к такому делу.

Хотя она и не отдавала себе в этом отчета, но, в конце концов, побудила ее бросить мужа Иетта. Она заразилась от Иетты некоторой долей ее живой веры. Много времени проходит, пока мы убеждаемся, что в сущности мы мертвы, а миссис Карнер уже давно была мертвой. Она не знала, что с нею случилось, но зерно веры, которое заронила в ее душу маленькая работница с Восточной Стороны, принялось хорошо. Медленно оно укреплялось корнями в окружавшей его мертвой среде, пробивалось стебельком, который должен был принести плод, прорастая через иссохшую почву в своем стремлении к свету. Когда мистер Карнер с издевательством рассказал, как Иетта ушла от него, жена его внезапно поняла, что она опять стала живым человеком. Стыда больше не было. На следующий день

она заехала к адвокату и спустя немного времени отправилась в Европу.

В течение нескольких месяцев между Вальтером и Беатрисой не происходило больше никаких серьезных разговоров. Он почти закончил свою работу, Беатриса же начала размышлять о том, что будет дальше. В один из ранних весенних дней им захотелось прокатиться на моторе вдоль реки в Сен-Клу. После ужина Вальтер начал набивать с довольным видом трубку, прислонившись спиной к большому каштану, а Беатриса занялась укладыванием тарелок в дорожную корзинку.

— Если тебе нужно помочь,—сказал он лениво,—то я позову шоффера. Ему за это платят деньги.

Она оставила его замечание без внимания, пока не кончила. Затем поднялась и села около него.

— Вальтер,—сказала она,—через три недели я собираюсь уехать из Парижа в Швейцарию.

— Жара здесь не начнется до конца июня.

— Да, но я не собираюсь искать прохлады. Покой, вот в чем я нуждаюсь. Мне нужно приняться за работу—за роман. Я должна уехать от этой городской суеты, от волнений городской жизни.

— Не составляю ли я одно из этих волнений?—спросил он после минутной задумчивости.

— Да.

— Мне будет очень тоскливо, когда ты уедешь.

— Давай, выкурим по папироске,—сказала она.

Папироса почти догорела до конца, прежде чем один из них заговорил. Нарушила молчание Беатриса.

— Да. Мне будет тоже тоскливо. Но мне это кажется единственным спасением.—Она остановилась, чтобы погасить огонь папироски о подошву туфли.—Я не пользуюсь успехом, Вальтер, в роли легкомысленной женщины. Нет ничего хорошего и в том, чтобы служить для кого-нибудь помехой. Я, пожалуй, думаю, что ты спас мне жизнь. Мне кажется, я нашла в тебе гораздо большую поддержку, чем ты думал. Я перевела дух—спасибо тебе за это.

Он протянул руку, протестуя:

— Есть очень многое, за что следует благодарить, но дело совсем не в этом.

Но, казалось, она его не слушала. Складка собралась у нее на лбу от усилия подыскать слова для того, что ей хотелось выразить.

— Мне нужно самой встать на ноги—без всякой помощи. Я не хотела брать никаких денег от Берта. Один из добрых друзей дал мне взаймы. Этой суммы хватит на год—другой, но я не могу вечно зависеть от кого-нибудь.

— Почему бы не найти во мне немного более действительной поддержки,—порывисто перебил он ее.—Почему бы нам не продолжать вести ту же самую жизнь—по крайней мере до тех пор, пока ты не встанешь на твердую почву?

— Нет,—покачала она головой с решительным видом.—Это совершенно не годится. Слушай, Вальтер, ведь мы взрослые люди и можем говорить обо всем прямо. Какое будущее нас ожидает, если мы будем вести прежний образ жизни? Только два выхода. Мы или возненавидим друг друга... или... или мы... подчинимся привычке. Фу! От привычек трудно отстать. Нет. Если я действительно собираюсь жить, то мне нужно избегать привычек, как я избегала бы проказы. Для меня никогда не наступит порядочная жизнь, пока я не буду сама убеждена в том, что могу ее добиться собственными силами. Мне придется вступить в борьбу с целой кучей разных вопросов. План мой самый хороший. Еще три недели отдыха, еще три недели лент—а потом латы.

— Поступай, как тебе кажется лучше,—произнес он.

В последний день он купил для нее билет, заказал ей место на утро, а потом они снова поехали в Сен-Клу провести там день. После завтрака они разостлали ковер под большими деревьями.

— Мальчик,—начала она. Она была моложе его, но, будучи женщиной, любила считать себя старше Вальтера.—Я неожиданно пришла относительно тебя к некоторому выводу. Тебе непременно нужно жениться.

Он порывисто сел.

— Не пугайся,—сказала она.—Я не кандидатка. С меня этого вполне хватит. Но, серьезно, ты—дело другое. Я не намереваюсь оскорбить тебя, но ты создан для семейной жизни. Наш маленький праздник был бесконечно мил, но тебе не этого надо. В конце концов, ты не настолько стар, чтобы стать неисправимым. Ты был выброшен на скалы. Но от кораблекрушения уцелелело еще многое. Я попала в беду, потому что у меня не хватило характера, чтобы крепко держаться за свою грезу. Берегись, как бы тебе не сделать совершенно противоположной ошибки. Давай, я поставлю диагноз твоей болезни.

Она переменила место, села перед Вальтером и время от времени важно грозила ему нежным пальчиком.—Ты способный. У тебя серьезные дарованья—именно такие, в которых нуждается наш дряхлый мир. И у тебя есть эта „общественная совесть", которая составляет проклятие более молодого поколения. Ты не будешь довольствоваться размениванием себя на мелочь. Что ты собираешься делать? Так или иначе ты должен найти себе место, где бы мог считать себя полезным. Если же нет, то лучше уж сразу покончить с собой самоубийством. Если ты думаешь катиться под горку, то по крайней мере избавь себя от годов позора. Но нет. Ты еще не столь безнадежно разбит, чтобы прибегнуть к склянке с мышьяком. У тебя двоякого рода дарования. Ты делаешь вид, что относишься с презрением к своей археологии — но все придерживаются иного мнения. Другое дарование—это твое увлечение социальной философией. И для той и для другой карьеры... а я, несмотря на весь свой ум, не вполне уверена, которая для тебя лучше,—тебе нужна спокойная, безмятежная жизнь, не такая тревожная, беспорядочная неразбериха, как эти два последние месяца. Тебе нужно, чтобы за тобой присматривали, тебе нужна жена.

Вальтер спокойно выпускал дым, но лицо его исказилось.

— Мне не хочется причинять тебе боль,—безжалостно продолжала она,—но есть на земле и другие женщины, кроме Мабель Трэн.

— Она одна единственная, на которую я когда-либо обращал особенное внимание, пока не явилась ты.

— Ну, обо мне можешь не упоминать! Вся беда именно тут и кроется. Если ты будешь продолжать закрывать глаза на других женщин, то лучше всего разбегись и хватись сразу о стену своей глупенькой головой. А если тебе хочется настоящей жизни, открой глаза.

— Прекрасно,—сказал он с кривой улыбкой.—Мне думается, у тебя уже есть на примете какая-нибудь жертва. На кого мне обратить внимание?

Прошло несколько минут, прежде чем она приняла его вызов.

— Почему бы тебе не обратить внимания на Иетту Раевскую?

— На Иетту Раевскую?—повторил он в изумлении.

— Да. А почему бы нет? Она прекрасная девушка и боготворит землю, по которой ты ходишь.

— Ты шутишь.

— Ничуть. Я знаю, о чем говорю. Быть может, она сама этого не сознает, но она безумно в тебя влюблена.

— Бедненькая девочка!

— Да. Конечно. Ты должен ее пожалеть. Ты не заслуживаешь ее любви. Но раз уж дошло до этого, то был ли на свете когда-либо такой мужчина, который на самом деле заслуживал, чтобы женщина его любила? В этом трагедия нашего пола. У нас нет лучшего предмета любви, чем обыкновенные мужчины.

В их разлуке не было ничего героического. Ужинать они поехали в город. Оба они были достаточно цивилизованы, чтобы сохранять видимость веселья.

Как раз перед тем, как поезд двинулся, она высунулась из окна своего купе и бросила Вальтеру последний вызов.

— Вальтер,—сказала она,—я гораздо счастливее тебя. Я знаю, что собираюсь делать в ближайшем будущем. Лучше не трать времени на размышления. Ты знаешь, каков мой совет. Возвращайся в Нью-Иорк и женись.

Но на лице его еще нельзя было прочесть никакого согласия, как уж поезд тронулся.

Следующие недели были для Вальтера адом. Он был предоставлен самому себе, и горькие воспоминания вновь нахлынули

на него. Четырнадцатое июля принесло ему орден Почетного Легиона. Ему часто приходило в голову, что это единственное отличие, которому он был бы страшно рад. Вручение ордена показалось ему фарсом. К чему почести, когда нет никого, к чьим ногам он мог бы их сложить? Затем пришло предложение занять профессорскую кафедру в Оксфорде. Это было увенчанием всей жизни, высшей ученой степенью, о которой он мог мечтать. В конце концов, раз находятся люди, ценящие его познания о хактитах и нет никого иного, кто вообще ценил бы его, то отчего же не согласиться?

Но он не мог осудить себя на окончательную разлуку с Мабель. Он решил попробовать еще раз. Он попросил дать ему месяц для того, чтобы обдумать предложение Оксфордского университета и выехал домой. О своем приезде он послал две телеграммы: Мабель и Иетте.

ГЛАВА XXIII.

Дворец грез.

Когда из Тегерана пришла телеграмма, в которой сообщалось о возвращении Вальтера домой, Иетте пришлось пересмотреть свое отношение к нему. Пока он был какой-то отвлеченной величиной, Иетта имела полнейшую возможность любить его, как ей заблагорассудится. К живому человеку, конечно, ей нужно было относиться иначе.

Разумеется, она радовалась, что он возвращается, но к мысли о нем примешивалось какое-то неясное чувство грусти. Трудно отказаться от привычек, которые сделались милыми сердцу. А Иетта привыкла к отсутствию Вальтера. Его комнаты стали для нее дорогими, как-то более ощутимо. В этой квартире она начала жить настоящей жизнью. Почти все дорогие для нее воспоминания, кроме воспоминаний об отце, были связаны с этими комнатами. Сколько книг она перечитала, сидя в большом кожаном кресле Вальтера! Она училась писать за его письменным столом. Даже два портрета масляной краской, его деда

в тугом галстуке и бабушки в кринолине, сделались до некоторой степени ее личным достоянием. Ей приходится лишиться всего этого, ей нужно привыкать к жизни в новой обстановке.

Но это сожаление было лишь полусознательным. Иетта испытывала более живые ощущения, связанные с ожиданием. Больше всего она трепетно ждала его одобрения. Когда великий Иегова завершил свой шестидневный труд и взирал на свое деяние, Земля должна была переживать трепетный момент, с замиранием духа ожидая его приговора. Иетта чувствовала, что она—дело рук Вальтера. Скажет ли он: „Оно удалось хорошо?“

Любовь сделала ее смиренной до глупости. Всякий объективный наблюдатель усумнился бы в том, достоин ли Вальтер развязать завязки ее обуви. Добрые феи щедро одарили его при крестинах. Они наделили его здоровьем, богатством и умом. Он сам соглашался с тем, что большая часть его талантов лежит втуне, завернутая в пелены. Иетта не была одарена так щедро. В пятнадцатилетнем возрасте, едва ли получив хоть какое-нибудь образование, она была волею рока обречена на работу в потогонной мастерской. Но ей был дан один бесценный талант: неутолимая жажда все более широкой жизни. Она не упускала ни единой, хотя бы самой малейшей, возможности для своего дальнейшего развития. Вальтер являл собой жалкий образец бесцельно расточаемых возможностей по сравнению с этой двадцатидвухлетней молодой женщиной.

Между ними существовало еще одно более неуловимое несходство.

То, во что Иетта страстно верила, было для Вальтера убеждениями, которые он сознавал умом. Это можно было бы объяснить разницей в возрасте в двенадцать с чем-то лет, но на самом деле различие шло глубже. У Вальтера никогда не было умения принять близкое участие в живой деятельности. Он скорее наблюдал жизнь, но не принимал в ней участия. Дальше кулис он никогда не бывал на сцене. А гораздо чаще сидел в ложе. Между ее племенной верой и его усталым разочарованием—пропасть, которую трудно объяснить одною разницею лет. Но

Иетта, влюбленная в Вальтера и почти его совсем не знающая— самое большое, если она беседовала с ним десяток раз—не могла этого видеть.

А вдруг он не только одобрит ее, но выскажет нечто большее? Иетта пыталась, насколько это было в ее силах, избежать определенного ответа на подобный вопрос. Но начинала сказываться настойчивая необходимость в ответе. Иетта знала, что Вальтер любит Мабель. Ее собственная уверенность в этом получила подкрепление в сплетнях Элеоноры Мид. Сперва казалось неизбежным, что Вальтер должен был влюбиться в изумительную мисс Трэн. Но за последний год Иетта и Мабель почти поссорились. У них происходили постоянные несогласия относительно политики Лиги Женского Рабочего Союза. Мабель не желала, чтобы Лига превратилась в явно социалистическую организацию, а Иетте этого-то и хотелось. Мабель считала, что она имеет на Иетту какое-то право, так как она ее открыла, и сердилась, если ее protégée проявляла собственную волю. Довольно трудно для мужчин оставаться друзьями в случае серьезного и длительного расхождения во взглядах. Это еще труднее для женщин, с их меньшей опытностью в деловой сфере, с традициями более личного свойства. Такое положение достигло своего апогея после отказа Иетты от сотрудничества в „Звезде". Мабель страшно вознегодовала и назвала поступок Иетты смахивающим на глупое донкихотство. Это дало Иетте возможность увидеть вполне ясно глубокую разницу их точек зрения. Они попрежнему называли друг друга по имени и старались показать, что чувства взаимной привязанности в них не замерли. Но теперь Иетте было трудно понять, как это ее изумительный Вальтер мог когда-либо любить такую, пожалуй, ограниченную женщину. Она знала, где Мабель покупает свои фальшивые волосы. Наверно, Вальтер исцелится от своего ослепления. Смутные надежды неизбежно примешивались к ее думам о будущем. Тем не менее Иетта почти почувствовала облегчение, когда Вальтер надолго задержался в Париже.

Едва огни Гавра скрылись за горизонтом, как Вальтер начал сожалеть о своем решении съездить в Нью-Иорк. Надежда еще

раз превратила его в безумца. Можно ли рассчитывать, что Мабель передумала за эти шесть месяцев? Очевидно, она его не любила, в ту минуту, когда писала это несчастное холодное приветственное письмецо. Его эскапада с Беатрисой едва ли могла исправить положение вещей. Какое извращенное чувство гонит его домой, где он испытает новое унижение?

Два дня под ряд они шли при свежем ветре, и Вальтер, хороший моряк, получил почти в свое исключительное пользование весь променад-дек. Он останавливался на носу, обвив рукой стойку для поручней, в лицо ему брызгала пена и, казалось, ветром снимало с него паутину, в которой он задыхался. Он мог спокойно, объективно заглянуть в глубину своей души. Один вопрос восставал за другим, и Вальтер искал на них ответов не как ослепленный глупец, но как мужчина, умудренный страданием.

На что он мог надеяться от Мабель? Ни на что. Абсолютно ни на что. Даже если бы она смягчилась, то и это представляло бы довольно жалкую перспективу. Если бы ныне, после того, как прошло шесть лет, после того, как минула ее юность, она внезапно решилась принять то, чем так долго пренебрегала, то она сделала бы это с отчаяния. В нем самом больше чем достаточно поводов для разочарования. А при мысли о Мабель в ночных туфлях все в нем возмущалось. Теперь, когда роман умер, единственно романтичным, что оставалось ему сделать, было убить себя на пороге дверей своей дамы. Но время романтизма для него миновало.

Впервые за шесть лет он заглянул в будущее, в котором Мабель не принимала никакого участия. Беатриса сказала, что он должен найти для себя какую-нибудь полезную работу. Ею могло быть предложение Оксфорда. Конечно, всякий вклад в музей человеческого знания чего-нибудь да стоит. Но ему было очень трудно применить такую теорию к своей специальности. Принесет ли кому-нибудь какую-либо пользу, если он будет составлять во-едино разбитые обломки полу-цивилизации, так давно почившей? Он не мог представить себе ни одной отрасли знания, к которой больше бы всего подходила шутка Карлейля

о науках „сухих, как пыль“. Пожалуй, это лучше самоубийства, но разве для него не остается ничего другого, в чем он мог бы принести пользу человечеству? По словам Беатрисы в нем остро развито чувство „общественной совести“. Ему хотелось служить своим современникам, людям одного с ним поколения.

Единственный род деятельности, над которым он мог задуматься, упоминался в письмах Иетты, где она сообщала Вальтеру новость о социалистической газете на английском языке, которую издавал Исидор Браун и в которой она иногда помещала свои статьи. Свободные деньги, которыми Вальтер располагал, а их накопилась за последние три года целая куча, могли бы очень пригодиться. Если бы даже этих средств не вполне хватило на издание ежедневной газеты, то его дохода было бы достаточно для еженедельника. Они втроем составили бы сильную издательскую комбинацию. Эта идея привлекала его все больше и больше. Они могли бы создать солидный орган. Исидор с его верой в свою политическую партию, Иетта, тесно связанная с трэд-юнионами, и он сам, имеющий возможность придать журналу более широкий, более философский характер. Их трое способных, интеллигентных людей, не боящихся ничего. Можно ли лучше использовать остаток своей жизни, если не потратить ее на сплочение их всех в организованную силу? Постепенно они привлекут к себе и другие умственные силы. Движение нуждается именно в таком интеллектуальном центре. Эта мысль имела уже то значение, что она подняла в Вальтере волну истинного энтузиазма.

Такой ход мыслей заставил его задуматься об Иетте и о совете Беатрисы. Он посмеялся над подобной идеей. Мысленно он мог согласиться с тем, что хорошо бы жениться. Но та Иетта, которую он помнил, представлялась ему перепуганной девчуркой с Восточной Стороны, не имевшей достаточно здравого смысла, чтобы вырваться из когтей „кота“. Разумеется, она выросла— это доказывается ее письмами. И она была прехорошенькой девицей. Если, как думает Беатриса, Иетта была в него влюблена то весьма вероятно, это чувство уже выдохлось за такой промежуток времени. Но у него не было ни малейшего настроения

для романов. Стремление к жизни, полной деятельности, заставляло его обратить все свое внимание на задуманный план работы. В те немногие моменты, когда его мысли останавливались на Иетте, он заставлял их снова возвращаться к думам о том, что они трое могут сделать при помощи своей газеты.

Как только пароход подошел к пристани, Вальтер перегнулся через перила и стал жадно всматриваться в поднятые вверх лица толпы, собравшейся для встречи прибывших. Когда, наконец, он убедился, что на пристани нет никого из знакомых, то внезапно понял, что надежда еще раз его обманула. Искал он Мабель. Вальтер спустился снова в зал для курения и попытался вернуть уважение к самому себе с помощью стакана виски. Пока кэб вез его по знакомым улицам, он свирепо говорил себе, что этого больше никогда не случится; Мабель перестала существовать.

Иетта ждала Вальтера в его комнатах. Она провела там свою последнюю ночь и в восемь утра перевезла свой чемодан—сундук был отправлен еще раньше—на свою новую квартиру на площадь Уэверли. Она не имела возможности снять помещение для себя лично и вступила пополам с другой девушкой социалисткой, Сэди Михельсон, в совместное обладание маленькой квартиркой. Пока утренние часы проходили в ожидании, она привела в порядок в пятидесятый раз деловые бумаги Вальтера. Куча расписок была подобрана по годам и каждая расписка помечена номером, соответствовавшим чеку, которым счет был оплачен. Чековые книжки собраны, каждый документ подколот к корешку. Банковая книга аккуратно сбалансирована.

Около одиннадцати послышался шум кэба, подъезжавшего к двери. Со своего места у окна Иетта увидела, что Вальтер выходит из экипажа. Быстрым взглядом оглядев комнату, чтобы убедиться, что все находится совершенно в таком же порядке, как было им оставлено, она открыла дверь и вышла на площадку.

— С благополучным возвращением домой!—крикнула она ему вниз.

Ей не пришло в голову, что ее образ действий драматичен. Но одинокий человек с разбитым сердцем, с трудом поднимав-

шийся по узкой лестнице, цепляясь за перила, был глубоко тронут ее словами и тем образом, который встретил его обращенный кверху взор. Поток света врывался через дверь его комнаты и озарял Иетту, стоявшую на площадке над ним.

— Алло,—воскликнул он громко. Но про себя произнес: „боже мой!“.

В юности Иетта обещала стать красавицей, и это обещание было в точности выполнено. Ее фигура приняла более определенные формы. Насколько он помнил, в Иетте, когда она была работницей из потогонной мастерской, чувствовалась какая-то скороспелость. Иетта, приветствовавшая его теперь, была женщиной, развитой вполне гармонично. Ее лицо, ее руки, ее шея были в соответствии со всем остальным телом. В ней больше не оставалось и тени былой хрупкости. Никому теперь не пришлось бы бояться, как бы она не угасла внезапно, как свеча, оставив лишь одно неизгладимое воспоминание о своих глазах. Еще более поразительным, и в то же время более неощутимым, был происшедший в ней переход от неловкости, которую она сама сознавала, к уверенной грации особы, нашедшей свое место в жизни. Та Иетта, которую он помнил, действовала под влиянием импульсов—это было существо, созданное из крайностей—сейчас она уходила с головой в порыв детского энтузиазма, а в следующий момент смущалась и была какой-то нескладной. Эта же женщина была спокойна, сдержана и хотя она и владела собой в совершенстве, но у нее не было и тени сомнения в себе.

Она была хорошенькой, насколько он ее помнил. Хорошее питание и здоровый образ жизни отняли у нее экзотическую, орхидейную прелесть ее девических лет. Тем не менее красота ее сильно выиграла. Диапазон ее лица, да позволено будет прибегнуть к музыкальному термину, невероятно увеличился. Оно обладало теперь целой гаммой выражений, которой раньше ему нехватало. Глаза у нее были попрежнему прекрасны и смотрели пытливо. Рот ее был всегда красив и пропорционален. Теперь всякий мог бы заметить, какой это совершенный инструмент. С его помощью можно было высказывать тысячи разных мыслей. Ее щеки вспыхивали или бледнели от мириады различ-

ных эмоций и еще больше похорошели. И вместе с тем волна пышных каштановых волос, всегда венчавших ее красоту, еще не начала терять свой блеск.

Когда Вальтер поднялся по лестнице и обменялся с Иеттой рукопожатием, в ее лице промелькнули оттенки всех выражений от самых неясных несбыточных надежд до живого желания.

— Что, переход был хорош?

— Чудесен. Свежий ветер всю дорогу.

Они обменялись еще несколькими банальностями.

— Господи, боже, Иетта, — вдруг разразился он. — Как вы выросли и изменились!

Иетта питала надежды, что он отнесется с одобрением к ее работе. А он восхищался ею самой. Вальтер любовался ею с откровенным восторгом. Ее бросило в краску, и щеки стало жечь огнем. Она отвернулась, чтобы скрыть это.

— Вот записочка, которую Мабель дала мне для вас, — сказала она.

Вальтер взял ее машинально. Ему следовало бы швырнуть ее в корзину для ненужной бумаги. Но надежда, безумная, идиотская надежда схватила его за горло. Еще один раз. Он разорвал конверт. Это положительно будет последней уступкой Мечте. — Элеонора Мид отделывает один загородный дом близ Стэмфорда, Мабель уезжает провести с ней конец недели. Она рада узнать, что Вальтер приехал и предвкушает удовольствие послушать рассказ об его приключениях. Судя по газетам, у него их было без числа. — Так! Для нее гораздо важнее провести несколько дней с Элеонорой, с которой она виделась все время, чем остаться в городе, чтобы приветствовать того, кого она не видела целые годы. Он сунул письмо в карман и обратился к Иетте, которая стояла в ожидании около него.

— Ну, а как поживает Саф? — спросил он небрежно.

— Я не часто с ней вижусь.

— Прекрасно, — засмеялся он. — Не могу сказать, чтобы я когда-либо пылал к ней страстной любовью.

— Вот здесь все ваши деловые бумаги, — сказала Иетта, направляясь к его письменному столу, — расписки и все такое.

— О! Ну их к чорту!—воскликнул он.—Мне хочется поговорить. Как обстоят дела с газетой Исидора?

— Совершенно нет денег,—сказала она с гримасой.—Вчера на первой странице была помещена заметка, гласящая о том, что если не удастся собрать за эту неделю пять тысяч, то придется прекратить выход газеты в свет. Мне думается, можно поддержать издание и одной тысячей. Редакция ее получит. Но через две-три недели эта история опять повторится. Мне думается, дело обречено на гибель.

— Я размышлял над этим,—сказал Вальтер,—и мне пришел в голову один план. Исидор слишком крепко цепляется за ежедневную газету. Она стоит таких безумных денег. Сейчас еще нет достаточно большой социалистической аудитории, чтобы поддерживать такое издание. Еженедельник—хороший, бойкий, раскаленный докрасна еженедельник—это штука.

Он продолжал развивать свою мысль. Мало-по-малу чувство принужденности, которое сперва ощущала Иетта, прошло. Она свернулась клубочком на мягком сидении на подоконнике и прислушивалась к словам Вальтера, как это было в первый день, когда она пришла к нему—как это она всегда с тех пор делала, мечтая. Она знала, что будет очень трудно убедить Исидора отказаться от издания ежедневной газеты, но чувствовала, что рано или поздно ему придется это сделать. А в этом проекте обещалось сотрудничество и постоянное общение с Вальтером. Едва ли можно было ожидать, чтобы она отнеслась к такому плану с серьезной критикой.

Пока он говорил, она имела возможность внимательно разглядеть его. В сущности, он вовсе не был богом. Ее больше всего поразили его волосы—в них местами пробивалась седина. Но это была всего лишь деталь. Покойная жизнь последних нескольких месяцев в Париже не совсем еще уничтожила загар, который он приобрел под знойным солнцем Персии. Он выглядел очень грубо сколоченным и сильным—если бы руки были у него крупнее, то он мог бы послужить моделью для Родэна. А вокруг его чела сиял ореол славы. Газеты уделили ему немного места, и два или три бледных рассказа в „Воскресном

Приложении“ были посвящены „осаде“. В газетах подробно перечислялись различные почести, которыми он был удостоен. Иетте было известно, что узенькая красная ленточка в его петличке—орден Почетного Легиона. А он спокойно предлагает отказаться от того, что она считала величайшей славой, ради незавидной карьеры социалиста-пропагандиста. Ее любовь стала распускаться еще пышнее.

— Вот так штука,—прервал он, наконец, сам себя.—Уже давно наступил час завтрака. Пойдемте к Лафайетту. Есть еще там кто-нибудь из старых лакеев?

Хотя Вальтер и настаивал, что кухня испортилась, но для Иетты завтрак был блестящим. К их столику подошел владелец и спросил, не позволят ли ему представить французского консула, который тоже там завтракал и желал принести свои поздравления по поводу красной ленточки. Консул произнес официальную и напыщенную речь от имени французской колонии в Нью-Иорке. Насколько эта речь произвела впечатление на Иетту, настолько она показалась Вальтеру скучной. Когда с этой помехой было покончено, Вальтер заставил Иетту рассказывать о себе. Завтрак закончился раньше, чем она успела дойти до половины своего рассказа.

— Пойдемте,—сказал он.—Невыносимо жарко сидеть в городе. Давайте сядем на пароходик и прокатимся на Стэтен-Айленд.

— Мне нужно непременно зайти в Лигу.

— О! К чорту Лигу. Не каждый день возвращаются домой из Персии. Я хочу праздновать.

Повидимому, все четырехмиллионное население Нью-Иорка было охвачено тем же стремлением, но им удалось втиснуться в вагон воздушной железной дороги и после бурной схватки у пристани Баттери пробить себе дорогу к пароходику, занять на нем места и, наконец, найти на берегу чудесный уединенный уголок. В течение полуденных часов Вальтер слушал рассказ о том, как Иетта провела три с половиной года его отсутствия. Как и в первый раз, она попрежнему чувствовала, что ей легко говорить с ним. Уверенная в том, что он вполне ее понимает,

она неожиданно для себя рассказала ему обо всем. Она сообщила ему о предложении, которое сделал ей Исидор. Это его несколько смутило.

— А это не помешает всем нам троим работать совместно? — спросил он.

— Почему же? Конечно, нет,—сказала она, широко раскрыв глаза от удивления.—Мне кажется, теперь у него уже все прошло. Это было два года тому назад. Во всяком случае, мы с ним работали совместно все это время. Он никогда не допустит, чтобы от чего-нибудь подобного страдала работа.

И Вальтер, судя об Исидоре по себе самому, решил, что его увлечение не могло быть очень серьезным. Иетта, сама того не зная, почти в каждом своем слове выказывала любовь к Вальтеру. Какая-то наивная прямота проявлялась во всех ее отношениях с людьми. Ей всегда было трудно играть какую-нибудь роль. Она говорила с Вальтером, как женщина обычно говорит с любимым мужчиной. Даже и без указаний Беатрисы он понял бы это.

Для Вальтера было каким-то новым ощущением чувствовать, что его любят так просто и так глубоко. Такая любовь редко встречается в нашем мире, и никто из мужчин не может принять ее без глубокого чувства благоговейной боязни. Что ему делать? Должен ли он осмеять ее привязанность, как это рок сулил его собственной любви? Он очень мало дорожил своей жизнью. Его жизнь сгорела. То, что любовь этой прекрасной, чистой, преданной молодой женщины могла доставить ему удовольствие, казалось сравнительно малозначащим. Он не считал себя отъявленным эгоистом, он только глупец. Ему было жалко Иетту, и он думал, что сможет сделать ее счастливой.

Беатриса, знавшая его лучше, чем другие женщины, была убеждена в этом. Конечно, Вальтер прекрасно понимал, что в его предложении будет мало романтического элемента. Для романов он мало пригоден. Но если бы кто-нибудь обвинил его в том, что он собирается склонить Иетту на брак под предлогом любви к ней, то он с негодованием отверг бы подобное обвинение. Что значит любовь? Несомненно, между его чувствами и ее лежали

сотни миль расстояния. И тем не менее он влюбился в Иетту. Он приходил в безумное восхищение от нее, просто как от человека, оставив в стороне свои личные чувства к ней. Прежде всего он был очарован ее умом. Он не мог без волнения слушать рассказ о борьбе, которую она выдержала в течение этих трех лет. Его больше всего приводила в восторг такая способность к упорному достижению своих целей. И от Вальтера потребовалось большая сила воли, чтобы заставить себя думать о Иетте, просто как о человеке. Насколько было бы легче растянуться во весь рост на песке и освежить свои чувства прелестью ее юности!

Пожалуй, кто-нибудь мог напомнить ему, что, собственно говоря, в сфере чувств он потерпел полное крушение, что и юность Иетты имеет право предъявлять свои требования, что его усталая разочарованность не выдерживает сравнения рядом с ее бодрой, пылкой верой. На это он бы ответил, что Иетта не дитя, и что она достаточно велика, чтобы сделать выбор.

Он слушал и смотрел на нее, а солнце садилось за холмами Джерси.

— Пора и возвращаться,—сказала Иетта.

— Я здесь вполне счастлив, а если мы проголодаемся, то кругом рестораны.

— Пожалуй, к вам зайдет вечером Исидор. Я говорила ему, что вы должны были сегодня приехать.

— Ах, оставим Исидора в покое. Не обращайте ни на что внимания, кроме вот этого пленительного бриза, запаха моря, кроме себя, меня и месяца. Взгляните на него, Иетта. Прошлый вечер он был до того чудесен, что я не могу его забыть, но сегодня он будет еще прекраснее. Им можно будет любоваться лучше всего как раз с того места, где мы. А Исидором нельзя любоваться, как бы я его ни любил, как бы я им ни восхищался.

— Жизнь с водоворотом обязанностей, которые она налагает,—продолжал он через минуту,—очень скоро заберет нас, Иетта, в свои лапы. Мы будем так заняты газетной работой, что нам, мой друг, не придется выискивать такие местечки. Поси-

димте здесь тихо-тихо и будем наслаждаться счастьем, пока оно длится.

Они оба умолкли и тихо сидели, смотря, как сумерки спускаются на залив. Отдаленные красные, зеленые и белые огоньки проходивших судов плавно вздымались и опускались на небольшой зыби. Большой пассажирский пароход медленно шел по каналу к Проливу, и ряды иллюминаторов горели огнями. Кони-Айленд просыпался и—отдел за отделом—заливался ослепительным светом электричества. Луч прожектора с форта Гамильтон, как лезвее меча, полосовал гигантскими шрамами ночное небо. Резкие звуки оркестра, доносившиеся из ресторана, расположенного за спиной Вальтера и Иетты, тщетно пытались обратить на себя их внимание.

Иетта нашла, что легко быть счастливой; она чувствовала, что Вальтер ею доволен.

— Иетта,—произнес он, придвигаясь по песку ближе к тому месту, где она сидела, опершись спиной о сгнивший бимс разбитого корабля,—Иетта, я никак не ожидал, что вы окажетесь такой красивой. Я думал над тем, знаете ли вы сами, какая вы красавица?

Освещенный месяцем обломок, о который она опиралась, бросал тень на ее лицо, и Вальтер не заметил отчаянного румянца, вспыхнувшего на ее щеках и залившего краской шею и грудь. Что-то сжало ей сердце и просило его успокоиться, биться тихонько и не стучать так громко.

— Но не с этого следовало мне начать, Иетта. Мне трудно выразить то, что я хочу, потому что... видите ли... я уже пережил поэтический возраст. Я не смог бы теперь запеть или заиграть на лютне—даже если бы захотел попробовать. Но, быть может, с таким же успехом можно прибегнуть и к прозе, потому что все это очень серьезно.

С тех пор, как я покончил со своей работой в Персии, я ломал себе голову над тем, что мне делать дальше. Я очень легко мог бы продолжать заниматься тем же делом. Но мне хочется быть полезным чем-нибудь более конкретным. Вы знаете, на что я намекаю. Мне хочется потратить свою жизнь

на что-нибудь более значительное, чем сухая наука. И единственное, что мне приходит в голову и что кажется мне стоящим труда, это мысль уйти в журналистику и помочь Исидору в издании газеты. Для этого нам нужны вы. А с этой мыслью связана дума о вас. И я многое передумал. Старался себе представить, какая вы теперь. Я был уверен, что нам удастся дружно взяться за работу. Но я никак не ожидал, что вы окажетесь такой изумительной. Всего каких-нибудь четыре года тому назад вы были просто девочкой. Вы поразительно выросли и развились, Иетта, выросли умственно и приобрели еще большую красоту—душевную и телесную красоту.

Я одинокий и, пожалуй, совсем разбитый на ноги старый холостяк, Иетта. А никому из мужчин на самом деле не хочется оставаться холостяком. Иногда, расхаживая взад и вперед по палубе, я думал о вас... в связи с этим. Но я не мог представить вас себе иначе, как молоденькой девушкой, достойной любви и очень милой, но очень юной. А я стареюсь. Волосы мои седеют, а много бывает внутренней, душевной седины, Иетта, прежде чем поседеют волосы. Вы не кажетесь мне теперь такой мучительно юной, а мечта такой смешной. Мы собираемся работать вместе, Иетта, быть участниками в деле и товарищами. Я слишком мало могу предложить вам, но для меня имело бы огромное значение, если бы вы стали также и моей женой.

— Я думала, вы любите Мабель,—сказала она.

Холодный тон этих слов заставил ее испугаться. Неужели она может говорить таким пошлым голосом, когда перед нею разверзаются небеса? Слова прозвучали в таком полнейшем несоответствии с тем, что она переживала, что она готова была отдать миры, чтобы вернуть их, чтобы они не были сказаны. Прошло мгновение, прежде чем он приподнялся и ответил Иетте.

— Я любил ее...

— Я говорил вам, Иетта,—продолжал он через минуту,— что я немного выбит из колеи, что я седею.

— Иетта,— начал он снова, позабыв, что собирался предоставить ей свободный выбор,—вы верите, что даже преступники исправляются. Неужели нет никакой надежды для меня?

Ее руки обвились вокруг его шеи, он сам задрожал от ее рыданий, он почувствовал, что его щека мокра от ее слез. Они сидели в молчании, и только слышалось ее прерывистое дыхание. Внезапно он устыдился самого себя. Что может он ей дать взамен такой трепетной любви? Но мало-по-малу чувство близости, объятие ее рук и ее нежное, юное тело прогнали прочь мысль, что он ее обманывает. Взяв обеими руками ее за лицо, он повернул его к лучам месяца и поцеловал Иетту. Когда он откинул ее голову, чтобы свет упал ей на лицо, глубокая торжественность, которой оно дышало, испугала его.

— Разве ты не можешь улыбнуться мне немного? — спросил он.

В ее глазах заблестели слезы, но и засияла улыбка, какой он никогда не видал. Из ее груди вырвался серебристый смех и звонко прозвучал в ночной тиши.

— Ах, Вальтер, Вальтер, я плачу, потому что я такая дурочка. Но если бы я не заплакала, то умерла бы.

Они совсем позабыли про месяц, которым так хотели полюбоваться. Как и десятки других влюбленных, сидевших на берегу в эту ночь, они забыли об ужине. Они опоздали на часовой пароход и сидели до двух часов около пристани в тени каких-то сваленных ящиков. Они решили, что будет очень забавно возвращаться домой по пустынным улицам. Когда им уж больше не приходило в голову никаких новых поводов, чтобы проходить мимо и снова возвращаться к ее дверям, Иетта поцеловала Вальтера, пожелав ему „самой настоящей доброй ночи“.

— Утром я разбужу тебя по телефону,—сказала она,—прибегу к тебе и приготовлю кофе.

Раздевшись, она просидела целых полчаса у своего окна, глядя на месяц, светивший над крышами домов. Ей не хотелось, чтобы она когда-нибудь позабыла, какой был месяц в эту ночь. Но испугавшись, что она может проспать и лишиться возможности позавтракать вместе с Вальтером, Иетта, наконец, легла в постель.

Больше часа Вальтер расхаживал взад и вперед по Вашингтон-Скверу, среди спящих фигур, лежавших вповалку на садо-

вых скамейках или растянувшихся неудобно на твердой, голой земле. Ему было не по себе. Ему хотелось пойти в отель, пойти куда-нибудь в такое место, которое было бы меньше насыщено воспоминаниями о Мабель, чем его собственная нора. Лгал ли он, когда, говоря о своей любви к Мабель, поставил глагол в прошедшем времени? Любит ли он ее и теперь? Честно ли было говорить Иетте о браке, когда он сам еще ничего определенно не выяснил?

— Болезненная совестливость, — с отвращением сказал он себе и пошел спать. Но снилась ему Мабель.

Далеко от него, в Стэмфорде, она тоже долго не могла уснуть. В этот вечер она несколько часов под ряд играла с Элеонорой. Но музыка сперва шла плохо: Мабель, как и Беатриса, как и Исидор, как и всякий другой знала, что Иетта любит Вальтера. Она думала о них обоих, старалась представить себе их встречу и из-за этого не могла сыграться с Элеонорой. Они чуть не повздорили, ибо Элеонора догадывалась, в чем дело. Наконец, усилием воли Мабель заставила себя углубиться в музыку, между обеими подругами возникла более полная, чем обычно, гармония, и вечер закончился очень удачно. Но лишь только Элеонора заснула, думы о Вальтере и Иетте снова вернулись и начали мучить Мабель. „Элеонора,—говорила себе Мабель,—глупит, ревнуя ее к Вальтеру. Она его не любит. Она никогда не уехала бы из города, если бы не хотела очистить место для Иетты. Она надеется, что Вальтер и Иетта поженятся, так как они оба ей очень нравятся. Но как она завидует Иетте! Не было такого сокровища, которое она могла бы себе представить, которым бы она не пожертвовала, чтобы почувствовать себя такой же влюбленной, как Иетта!“

Немного позже восьми часов утра Вальтер был выведен из сонного состояния громким телефонным звонком.

— С добрым утром, мой любимый,—долетел до его сонного слуха свежий голосок Иетты.—Я не могла позвонить тебе раньше, пока не ушла моя сожительница. Я могла бы одеться и добежать до твоей квартиры в три минуты, но даю тебе десять. Поставь воду. Ты не мог много спать, потому что бесчисленное множество раз я чувствовала, как ты меня целуешь.

— Ну хорошо, хорошо, не трать времени на разговоры об этом,—перебил он ее.—Поторопись.

— Чудесно, — и он услышал, как щелкнула повешенная трубка. Терзания совести, мучившие его в прошедшую ночь, исчезли при звуке голоса Иетты. Он прыгнул в ванну и потом стал поспешно одеваться с острой дрожью ожидания. Усевшись на подоконнике, он стал поджидать появления Иетты. Боже! Как причудлив мир! Он уже размышлял над возможной целесообразностью самоубийства, а теперь жизнь раскрыла перед ним такие картины, которые приводят его в сладкий трепет.

Он помахал Иетте рукой, заметив, что она идет, и ущипнул себя, чтобы убедиться, не сон ли это, когда увидел, что она ускорила шаг.

Он сделал вид, что хочет пожурить ее за то, что она так тихо шла. Десяток раз он мешал ей приготовлять кофе, в самые критические минуты целуя ее. Иетта говорила, что кофе будет наверное испорчен, а Вальтер клялся, что ему это все равно. Иетта делала вид, что она торопится кончить завтрак, чтобы отправиться в город на работу. Но намерение это было выражено весьма слабо. А какие чудесные планы они строили! Обняв Иетту, Вальтер отправился с ней на исследование двух задних комнат, которыми каретный мастер пользовался обычно, как кладовой для кистей и жестянок с красками. Ему придется их освободить. Одну они превратят в столовую. Другую Иетта назвала гостиной. Но Вальтер окрестил ее „детской“.

ГЛАВА XXIV.

Крушение.

Когда наступил час второго завтрака, Иетта сказала, что она предпочитает скорее сама готовить, чем итти в ресторан; поэтому они сделали набег на гастрономический магазин.

После завтрака первая тень омрачила их грезы. Иетта задала Вальтеру вопрос, слышал ли он, что миссис Карнер разводится.

— Да, я об этом знаю.

Голос его прозвучал как-то странно, и это заставило ее поднять голову и взглянуть на Вальтера; что-то в его лице взволновало ее.

— В чем дело?

Он выпустил ее из своих объятий и поднялся с места.

— Иетта,—произнес он, расхаживая по комнате,—пожалуй, глупо с моей стороны задавать тебе вопросы. Но что, именно, ты хочешь знать? Очень мало мужчин в нашем мире ведет образ жизни в полном согласии со своими идеалами. Конечно, я не из их числа. Я говорил тебе, что начал седеть. Так, вот, видишь... она для меня одна из таких седин—седин души. Я предпочел бы не рассказывать тебе об этом. Мои слова только огорчат тебя. Но я не умею лгать. Тебе что-то показалось при одном упоминании ее имени. Но если хочешь узнать, я расскажу тебе.

Минуту Иетта сидела молча.

— Мне думается, будет лучше, если ты расскажешь,—сказала она,—я не боюсь.

Но она боялась. Она примирилась с мыслью, что до нее он любил Мабель. Мысль же о других женщинах не приходила ей в голову. Это ее очень смутило. То, что он не решается рассказать ей, пугало ее больше всего. Если с любовью для нее и было связано что-то реальное, ощутимое, то это было прямодушие. Она рассказала Вальтеру обо всем решительно, не ожидая его расспросов. А у него на душе что-то такое, что он скрывает. Вопрос о том, что он скрывает, имел для Иетты гораздо меньше значения, чем разница во взглядах, которая тут обнаружилась. Она со страхом увидела, как плохо ей известна его жизнь.

Он придвинул свой стул к подоконнику, на котором полулежала Иетта, и рассказал ей о Беатрисе; рассказал обо всем так, чтобы у Иетты не зародилось враждебно-неприязненного чувства к Беатрисе. Он рассказал всю историю, насколько можно правдиво, не указав на истинные мотивы, которыми она объяснялась — на свою тоску по Мабель. Ему не хотелось упоминать об этом. Если бы Иетта задала ему прямой вопрос,

когда это случилось и сколько времени прошло с тех пор, как он любил Мабель, он не пытался бы ее обмануть. Но она бы только огорчилась, если бы он рассказал ей об этом.

— История эта едва ли покажется тебе красивой,—закончил он.—Я не горжусь ею. Но вместе с тем не могу и сказать, что стыжусь ее. Мы живем среди нездоровой обстановки. Наступают лучшие дни, когда отношения между мужчиной и женщиной станут более здоровыми и сладостными... и более прекрасными. И, тем не менее, я не отношусь из-за этого к Беатрисе менее серьезно. Она замечательная женщина. Жизнь ее не очень баловала. Но она настойчиво пробивала себе дорогу к тому положению, которое заняла теперь. В нашей дружбе, во всяком случае, было и нечто прекрасное. Мы не притворялись. Я не рассказал тебе обо всем, как следует, может быть, не сумел объяснить тебе всего. Но, надеюсь, Беатриса будет вспоминать об этой истории, не стыдясь ее. Я не стыжусь.

Хотя Иетта слушала его слова с напряженным вниманием, но думала все это время не столько о миссис Карнер, сколько о том, что миссис Карнер знаменует собою — о неведомой жизни любимого человека, о том, чего он не рассказал ей.

— Прощен ли я?—спросил Вальтер, опускаясь на колени перед Иеттой и взяв ее за руку.

— О! Прощен! Не то слово! Кто я, чтобы прощать тебя или осуждать? Вот этого-то я и не понимаю. А чего не понимаю, того боюсь.

— Ты не должна страшиться прошлого, дорогая.

— Я ничего о нем не знаю. Когда вопрос идет о любви, я не могу думать о каком-то прошлом, настоящем или будущем. В ней что-то вечное: всегда и ныне и вовеки веков. Я не верю, чтобы мы могли уйти от прошлого. Не могу объяснить этого ясно, но иное бывает истинным, иное нет. Не думаю, чтобы я когда-нибудь отделалась от того истинного, что пришло ко мне. Оно никогда не умрет.

— Ну, хорошо. Не тревожься же о Беатрисе—это лишь интермедия—в ней не было ничего истинного.

— А Мабель?

— Сновидение.

— Но иные сны реальны,—настаивала она.

— Во всем мире, Иетта, нет ни единого сновидения, которое было бы так реально, как твои губки.

Ей так хотелось поцелуев, она так боялась в это мгновенье, что искала его объятий, не требуя от него объяснений. Но через несколько минут у нее внезапно мелькнула мысль, что он так же целовал Беатрису, как теперь целует ее. Он почувствовал, что она вздрогнула.

— В чем дело?—спросил Вальтер.

— Ох, у меня кружится голова. Пусти меня на минутку.

Она поднялась и подошла к окну. Иетта была несправедлива к Вальтеру. Он никогда так не целовал Беатрисы, как только что целовал ее. Но, повидимому, женщины никогда не понимают, что для мужчин положительно немыслимо ласкать различных женщин совершенно одинаково. Быть может, наш прародитель Адам и прародительница Ева—единственная чета, которая когда-либо существовала на земле, не вступавшая в разговор на эту тему. Если бы Иетта высказала то, что было у нее на душе, Вальтер также обратился бы к стародавнему аргументу—и напрасно. Но Иетта ничего не говорила. Она боролась с собой, делая усилие, чтобы вернуть свое самообладание. Она всегда была уверена в том, что ревность унизительна. Но он целовал миссис Карнер точно так, как...

— Все еще думаешь о Беатрисе?—спросил Вальтер спокойно.

— Стараюсь не думать, Вальтер. О, любимый мой, тебе придется иметь много терпения со мной. Все это так ново. . так ново, что у меня кружится голова. Я привыкла верить в тебя, Вальтер. Я привыкла относиться с верой к каждому слову, сказанному тобой,—она повторяла это, как заученный урок,—и я продолжаю верить, Вальтер. Когда ты целовал меня, то мне не следовало бы думать, что ты целовал, быть может, еще какую-нибудь другую женщину... и больше я не буду думать об этом.

Она протянула к нему руки и, ослепленная слезами, шатаясь, пошла через комнату к Вальтеру.

Вальтер должен был бы воспользоваться этим мгновением и рассказать ей всю правду. Есть один весьма сильный довод в пользу того, что всегда не мешает говорить правду. Так отчаянно трудно знать, в какие именно минуты нашей быстро несущейся жизни ложь может стать роковой.

Большинство из нас думает, что, в конце концов, истина обнаружится. Но большая часть из нас пытается подчинить своему контролю это обнаружение истины. В силу того, что мы туманно именуем „словесной мудростью", при помощи умолчания, при помощи ложного истолкования—иной раз при помощи откровенной лжи—мы стараемся охранить своих друзей и врагов от созерцания истины во всей ее смущающей наготе. А среди нас едва ли найдется хоть один человек, который не был бы готов отдать свою правую руку, чтобы только в какую-нибудь критическую минуту его жизни у него хватило здравого смысла поведать всю истину.

Между Вальтером и его желанием восставали весьма реальные препятствия. Глубокая пропасть разделяла их переживания и взгляды на жизнь. И самым лучшим для него было бы взглянуть на вещи прямо.

Беатриса была всего лишь инцидентом. Мабель имела гораздо большее значение. Но Вальтер все-таки мог привести некоторые доводы в свою пользу. Когда он был моложе лет на шесть—почти на семь, то с романтическим пылом влюбился в Мабель. Он продолжал любить ее с той верностью, которая дает полную надежду на будущие обязательства. Любовь превратилась в привычку, а от шестилетней привычки трудно отстать. Он пришел к тому убеждению, что это безумное ослепление ведет его к гибели. Собрав в себе все мужество, на которое он был способен, он сделал попытку избавиться от своей привычки. По временам—очень может быть, так будет еще долго тянуться—нервные клетки его мозга возвращаются к старым переживаниям. Но и тогда это только призрак умерших желаний. Впрочем, и призрак с течением времени исчезает.

Он мог бы ей сказать, что то самое чувство жизни, которое трепетало в их груди и которое заставляло казаться столь значительными подобные вопросы, налагало на них в выражениях, вполне определенных, повелительную обязанность в будущем. Он не мог предложить Иетте юность какого-нибудь Ромео. Вне всякого сомнения в волосах его есть седина. Но его непоколебимое, многообещающее мужество дороже стоит, чем какие-нибудь оранжерейные цветы романтизма. Он мог бы предложить ей самое лучшее из всех товариществ—общность идеалов, мог бы предложить разделить с ним и жизнь и труд.

Иетта могла бы отказаться от такого предложения, отказаться пойти на компромисс с любовью, о которой она мечтала. Так романтично требовать, чтобы латы принца были столь же незапятнаны, как в тот день, когда он впервые выехал на поиски Грааля. А Иетта была романтиком. Но Вальтер, знавший лучше жизнь, по всей вероятности, мог бы убедить Иетту в том очевидном факте, что очень многие из нас удовольствовались бы гораздо более скромными требованиями, предъявляемыми к жизни, чем предложенные им условия. Идеальная любовь, к прискорбию, редко встречается, но, однако, бывает очень много счастливых браков.

Вальтер не понял, что это один из тех моментов, которые требуют полнейшей откровенности. К чему причинять ей в эту минуту боль, рассказав еще одну историю о призраках? Разве он не достаточно истерзал ее за один этот день, рассказав о Беатрисе?

Сам того не сознавая, он незаметно изменил свой взгляд на Иетту. За день перед тем там, на берегу, он был поражен явной ее любовью к нему. Но девочка, которую он пожалел, превратилась в женщину, которую он страстно желал. Итак, он поцелуями осушил ее слезы и научил ее снова улыбаться.

От покупок, сделанных к завтраку, осталось достаточно, чтобы удовлетворить их аппетиты за ужином. Они уселись, обнявшись, на подоконнике и стали смотреть, как сумерки окутывают сквер. Все, что их привлекало в жизни, развернулось перед их взором, будущее казалось им каким-то райским садом.

В грядущие дни у них будет много часов такого сладостного общения, часов, когда они закроют двери на ключ от всего мира и будут беседовать друг с другом или читать вместе. Будут у них и трудовые дни. Оба они не лодыри, а работа предстоит тяжелая. Но ждет ли их работа или веселье, солнце будет неизменно озарять их своим светом, потому что его не закроют облака разногласия или уныния. Как они могут впасть в уныние, если будут итти рука об руку? Вальтеру пошел уже четвертый десяток, но все это казалось ему осуществимым.

Наконец, они зажгли свет, и Иетта стала читать свои любимые стихи. Они еще занимались прилежно поисками у поэтов разных подходящих слов для выражения своих чувств, когда раздался стук в дверь, и в комнату вошел Исидор. Вальтер встретил его с восторгом.

— Иетта,—сказал он, — не сообщить ли нам ему великую новость?

Но сообщать не было никакой надобности. Обмениваясь рукопожатием, Исидор все время смотрел через плечо Вальтера на Иетту. Его лицо побледнело и стало суровым. Он заметно переменился и стал как-то черствее.

— Я буду рад,—медленно произнес он, глядя прямо в глаза Вальтеру, — если вам удастся сделать ее счастливее, чем это сделал бы я. Я тоже люблю ее.

Слова его показались Вальтеру каким-то вызовом. На секунду-другую взоры их встретились. Вальтер первый отвел глаза. Он не в силах был выдержать прямоты молодого человека.

— Вальтер, — сказал Исидор, — вы лучший мой друг. Будьте добры к ней.

Он помедлил мгновение в нерешительности, затем круто повернулся и вышел. Вальтер стоял неподвижно среди комнаты, ошеломленный глубиной чувств Исидора, внезапно поняв, насколько больше бесценных даров юности в руках у Исидора, чем у него самого. Стыд, который нахлынул на него при первых ласках Иетты, вернулся к нему снова. Иетта в своем ослеплении не могла заметить, как ничтожно было то, что он мог предло-

жить ей — даже любовь. Она была слишком ослеплена, чтобы сделать свободный выбор.

— Иетта,—сказал он, подходя к ней и садясь на другой конец подоконника, подальше от нее,—почему ты не говорила мне об этом?

— Что ты, Вальтер, я говорила тебе! Я сказала, что он делал мне предложение два года тому назад.

— Но я не представлял себе, что он любит тебя так сильно.

— Вальтер,—сказала она, испуганная тоном его слов,—я никогда не поощряла его. Я никогда...

— Не в этом дело, Иетта,—перебил он ее.—О! Я не то хочу сказать. Но почему ты не вышла за него?

Теперь настал ее черед смутиться и притти в изумление. Она поднялась и подошла к нему, но он закрыл лицо руками.

— Почему? Как я могла это сделать, если любила тебя?

— Любила меня? Иетта, ты едва меня знала.

В Стране Грез разразилось землетрясение. Что именно произошло в душе Вальтера, она не знала, но все перед ней завертелось.

— Вальтер! Вальтер! Что ты хочешь сказать?

Он взглянул на нее с перекошенным лицом.

— Разве ты не понимаешь?—спросил он серьезно.—Я больше чем на двенадцать лет старше тебя, ровно на десять лет старше Исидора. Годы не всегда имеют большое значение, но эти последние годы показались мне очень долгими.

— Юность значит очень много в нашем печальном мире. Она означает светлую веру, она означает храбрость, она означает трепет и сокровенную силу. Исидор в действительности не испытал еще поражения, Иетта, а я представляю из себя одну сплошную, плохо залеченную рану. Лучшая часть моего „я“ уже умерла, кое-что истрачено, еще более потеряно зря. Я подхожу к тебе, как нищий, протягивая руку за драгоценностями—верой, надеждой, бодростью духа. Мои руки пусты. Но Исидор может все это дать тебе, когда ты будешь нуждаться, а ты рано или поздно наверное будешь нуждаться в этом, Иетта. Если бы я был здесь все эти годы, ты увидела бы разницу между нами.

Много лет тому назад, когда ты была очень молода, я показался тебе каким-то необыкновенным существом. Я уехал—подожди, подумай на минуту, как мало ты меня знала—и ты вокруг меня создала роман. Романтизм — очень опасная штука. Он словно песня Лорелеи, Иетта. А ведь в конце концов наше дело в том, чтобы продолжать вести свое судно вниз по реке жизни, а не останавливаться и не играть с русалками на прибрежных скалах. Мы должны жить в мире реальном, дорогая Иетта, а не среди грез, и фактам нужно взглянуть в лицо. Молодость дороже всего. Твои поцелуи заставили меня позабыть думы о тебе, а Исидор мне их напомнил.

— Но что же ты собираешься делать, Вальтер?—спросила она.—Разве ты не хочешь жениться на мне?

— Я хочу, чтобы ты была счастлива, малютка.

Он снова закрыл лицо руками, но она опустилась перед ним на колени и отвела его руки.

— Неужели ты думаешь, что в мире есть еще что-нибудь, кроме любви твоей, что может сделать меня счастливой?

Внезапно—какая-то странная усталость им овладела—он ясно увидел пропасть, разделявшую их. По своему собственному опыту он знал, как много трепетного может заключаться в слове „любовь". А он больше не мог предъявлять на нее свои права.

— Что ты подразумеваешь под словом „любовь"?—спросил он уныло.

Иетта бессильно опустилась к его ногам. Если он не знает, что такое любовь, то, значит, Дворец Грез распадается в прах.

— Разве ты не знаешь?—прошептала она.

Часы грустно тикали, пока Иетта ждала, что ответит Вальтер.

— Знаю. Боюсь, что знаю, какое значение имеет она для тебя, Иетта. А я в свою очередь ничего не могу дать тебе. Мне кажется, что любовь для тебя—романтика. Вот ее и несут с собою Исидор и юность. И я когда-то переживал период романтики—много лет тому назад—романтики для меня хватало, хватало с избытком. Я всю ее истратил—там, где в ней не нуждались. Теперь от нее не осталось и тени.

Я пришел к тебе, Иетта, в поисках того, что утратил. Я не в силах сказать тебе, какой прекрасной, какой ослепительной показалась ты моим усталым глазам, какой желанной, какой бесценной—точно Песнь Песней. И, как себялюбец, я думал только о своем желании, о своем голодном одиночестве. Я не вспомнил, пока не появился Исидор, что ты тоже имеешь право—гораздо большее право, чем дает мне мое желание—имеешь право на юность.

Было бы нечестно, Иетта, принять любовь твою, если бы я не убедился вполне в том, что ты меня знаешь, знаешь, что делаешь, и что выбор, на котором ты останавливаешься, свободен от всякого романтизма, стоит перед тобой во всей своей холодной наготе. Дело не в том, Иетта, чтобы выбирать между мной и Исидором. Вопрос этот гораздо глубже вопроса об отдельных личностях. Я должен убедиться, что ты сделала свой выбор, не закрывая глаз. Если тебе нужен романтизм—великая страсть—ну, что же—я ее предложить тебе не могу. Я...

Голос его прервался, и он умолк. Быть может, он глупец. Но впервые в жизни он отказывался от того, что желал, от того, что он мог получить, если бы стал просить. Впервые в жизни он решительно очищал себя от скверны себялюбия. Это было минутным торжеством над своей натурой, но только минутным. На него нахлынул порыв страстного желания обладать этой девушкой, сидевшей у его ног. Она оперлась головой о край подоконника и пристально глядела на черные тени под столом, прижав к губам стиснутую в кулак руку.

Быть может, точность определения не позволяет воспользоваться словом „любовь", чтобы описать чувство Вальтера, но это чувство было все же не менее сильно, чем любовь. Последние двадцать четыре часа были для него изумительно сладостны. Прелесть ее чистой, свежей юности, чары ее ласк, ее сдержанная, но нескрываемая страсть, робкая застенчивость и добровольный отказ от девичества, все это пленяло его до глубины души. И кроме того и выше всего этого—хотя жизнь дает нам мало такого, что было бы лучше подобных переживаний—была еще надежда, что с Иеттой он мог бы погрузиться в водоворот кипу-

чей деятельности, мог бы подниматься все выше на пути труда стремясь к достижению поставленных себе целей.

Я кончил свою речь в твою защиту, Иетта. Позволь мне сказать несколько слов в свою. Что заставляет меня говорить так с тобой? Не романтизм. Пожалуй, это и не то, что ты называешь любовью. Но я назвал бы это любовью. Это безумнейшее желание совершенно забыть о себе самом и,—как сказал Исидор,—быть добрым к тебе. Встань, дорогая, и сядь здесь рядом со мною. Давай обсудим еще раз все наши планы о работе. В конце концов, работа важнее романтики.

Она поднялась, немного колеблясь, но не села рядом с ним.

— Мне думается, любовь необходима,—сказала она.

— Не будем гоняться за словами, Иетта. Слово „любовь" так много значит. Скажи мне, какое чувство я питаю к тебе? Какое чувство заставляет меня так трепетать от твоих поцелуев? Что заставляет меня желать, чтобы ты, Иетта, была со мной постоянно и неизменно? Что заставляет меня понимать, что я могу стать полезным, если ты мне поможешь? Что заставляет меня рисковать потерей того, чего я хочу больше всего на свете, из боязни, что я, быть может, не окажусь честным и справедливым по отношению к тебе? Мне все равно, как ты назовешь такое чувство. Но разве этого не достаточно? Давай попробуем думать о реальном, а не о словах.

— Нет. Не слова для меня важны,—сказала она.—Но реальное необходимо. Я люблю тебя, Вальтер, и не боюсь слов. Ты знаешь, что это для меня значит—все, что это когда-либо значило для всякой женщины—и даже больше. Оно значит, что думаешь только о другом и прежде всего о другом—и не только это одно. Оно значит, что отдаешь всю себя без всяких „если"—и даже еще больше. Я не могу сказать тебе, что такое любовь—только потому, что действительность гораздо важнее, чем какие хочешь слова. Но в одном я уверена. В любви не может быть места никаким сожалениям. Жалеешь ли ты о том, что не Мабель тебя любит? Мне больше нет никакого дела до прошлого. Сегодня оно имело для меня значение на минуту, потому что я была поражена им.

Но я слишком сильно люблю тебя, чтобы обращать внимание на прошлое. Но, ах! Будущее, Вальтер? Мы не смеем о нем вести торг! Это все, что нам осталось. А наша совместная жизнь—наша будущность—не может быть прекрасной, если у тебя есть сожаления. Если ты должен будешь всегда скрывать от меня что-то, если у тебя будут желания, которые я не смогу разделять с тобой. Если тебе иной раз захочется, чтобы вместо меня была какая-нибудь другая женщина. Это очень просто, Вальтер. Вот выход. Если бы в эту комнату вошла Мабель, встала рядом со мной и сказала:—„Я люблю тебя", как я это говорю,—которую из нас ты бы выбрал?

— Она никогда не войдет сюда, Иетта.

— О, Вальтер! Ответь мне! Я знаю, ты не станешь лгать. А я буду верить тебе вечно.

И вот Вальтер не смог солгать. Он снова закрыл лицо руками. Он не поднял головы, услышав шелест ее юбок. Он не видел, как она взяла шляпку и стояла со слезами на глазах, ожидая, надеясь, что он произнесет хоть слово.

Он не поднял головы, пока не услышал, как дверь затворилась за Иеттой. В течение нескольких минут он бесцельно расхаживал по комнате, потом набил трубку и, выключив свет, вернулся снова к окну. Нельзя сказать, чтобы он страдал. Он чувствовал себя инертным и мертвым.

Но одно он видел ясно—и это его радовало. Для Иетты наступает пора романтизма, пока она еще молода. Ей только двадцать два года. Жизнь ее снова захватит. Может, это будет Исидор, а может, кто-нибудь другой. Но чувство жизни развито в ней слишком сильно, чтобы оно могло угаснуть. Есть много истинной радости в жизни, если достаточно рано отделаешься от романтики.

Было время, когда и он переживал те же чувства, когда ему казалось достойным внимания только все самое хорошее. Он ясно увидел, что ее не удовлетворило бы то, что он мог ей дать.

Иетта не останавливалась, чтобы надеть шляпку. Слезы слепили ей глаза, она, спотыкаясь, сбежала по лестнице и перебежала через улицу в сквер, направляясь домой. Потом она

вспомнила, что еще рано, что ее сожительница еще не легла спать. Она не в силах была итти домой. В сквере было много народу: кто лежал, растянувшись на траве, кто сидел целой компанией на скамейках, кто разгуливал. Многие заметили молодую девушку, которая плелась по дорожке без шляпки, куда глаза глядят. И вдруг она наткнулась на Исидора. Он тоже бесцельно разгуливал, опустив голову на грудь и засунув глубоко руки в карманы.

— Иетта, господи, боже мой,—воскликнул он в изумлении,— что случилось?

Она подняла к нему свое мокрое от слез личико, протягивая руки по направлению к знакомому голосу.

— Мы не будем мужем и женой,—сказала она.

— Не позволите ли мне проводить вас домой?

— Сэди еще не легла. Я не хочу итти домой.

— Хорошо. Тогда пойдемте сюда и присядем.

Почти не отдавая себе отчета в том, что она делает Иетта пошла за Исидором к свободной скамейке. Исидор не верил в ангелов-хранителей, но что-то сказало ему, что говорить не надо.

— Видите ли, дело в том,—сказала Иетта, чувствуя, что необходимы дальнейшие пояснения,—что он все еще продолжает любить Мабель.

И у Исидора хватило такта ничего на это не ответить. Иетта повернулась лицом к спинке скамейки и, положив голову на руки, начала рыдать. Полночи напролет Исидор просидел рядом с Иеттой, сторожа ее там.

Книга 5.

ГЛАВА XXV.

Лекарство Исидора.

Сэди Михельсон, занимаясь на следующее утро приготовлением кофе, размышляла над тем, что она еще не видала своей новой компаньонки по комнате с тех пор, как они обе переехали на квартиру. Что это значит? Почему она так поздно вернулась? Она была убеждена, что тут наверное замешан этот мистер Лонгмэн, чьи комнаты раньше занимались Иеттой, а теперь в виду его возвращения были снова им востребованы.

Ее соображения были прерваны звонком телефона. Иетта в своем тревожном сне тоже слышала звонок, и ей приснилось, что это Вальтер зовет ее. Сэди поспешно схватила трубку. Она надеялась найти ключ к тайне. К своему удивлению и разочарованию, она узнала голос Исидора.

— Алло, Сэди! Что, Иетта уже встала?

— Нет. Она очень поздно вернулась вчера...

— Я знаю,—перебил ее Исидор.—Мы с ней вместе гуляли.

Новое разочарование. Значит, мистера Лонгмэна не за что бранить.

— Не будите ее,—продолжал Исидор.—Но мне нужно, чтобы вы написали ей записочку—подсуньте ее под дверь, но так, чтобы Иетта ее непременно заметила. Если она ничего не будет иметь против, то мы были бы ей страшно признательны, если бы она помогла нам сегодня здесь. Мы безумно торопимся. Локке болен. В Бруклине вспыхнула забастовка, о которой нам надо составить заметку. А здесь никого нет, чтобы этим заняться.

Нам сильно помогло бы, если бы за это взялась Иетта. Уяснили себе, как следует? Прекрасно, весьма обязан.

Шум, который произвела Сэди, уходя из дому, разбудил Иетту. Ее первым ощущением было, что она освободилась от какого-то ужасного кошмара. Конечно, вчерашний шторм был бурей в стакане воды. В ее представлении Вальтер был всемогущим, страшно мудрым и обладал неисчерпаемыми средствами. Он, наверное, найдет какой-нибудь выход, и снова все наладится.

Несколько минут она тихо лежала, пристально глядя на незнакомый потолок. Но ей трудно было привести свои мысли в порядок. Под влиянием недавних переживаний на нее нахлынул целый поток неясных ощущений. Она стала каким-то новым человеком после первого объятия там, на берегу Стэтен Айленд. Что-то умерло в ней под поцелуем Вальтера—и что-то новое и волнующе чудесное родилось вместо этого. На минуту позабыв о печальной действительности, она погрузилась в волны этого сладостного ощущения, от которого у нее кружилась голова. Горячая кровь прилила к ее щекам, но это был румянец упоения. „Смерть“ и „рождение“ не казались ей подходящими выражениями, чтобы описать происшедшее с ней превращение. Скорее это походило на распускание цветка, на то, как мотылек расправляет свои крылышки, выходя из куколки. Как чудесно было чувствовать, что его объятия раскрываются для нее! Как чудесно было чувствовать, что она сама тянется в его объятия.

Вдруг она вспомнила о разлуке. Все это выдумка. Он не любит ее. И то, что минуту назад казалось ей таким удивительно прекрасным, теперь причиняло жгучую боль стыда. Крылья у мотылька обломились. У нее не было слез. В тупом отчаянии, с сухими глазами она чувствовала, что ее ждет жизнь отверженного, презренного существа.

На нее нахлынули волны неизбежной горечи. Какое право имел он научить ее летать и потом сломать ей крылья? Но такое настроение не могло продолжаться долго. Она любила Вальтера. Вся ее гордость, все ее идеальные мысли о жизни и работе—вся ее стойкость—ее покинули. Все утратило для нее теперь

всякий смысл—только бы не потерять его. Не было такого унижения, на которое бы она не пошла, чтобы вернуть его, чтобы снова быть с ним вместе. Какое значение имеет этот разговор о любви? Ей хочется быть с ним, еще раз почувствовать себя в его объятиях. Все ее существо кричало, что она его, вся его. Разве она не полюбила его с первой же встречи? Она пойдет к нему, не ставя никаких условий.

Охваченная этим страстным порывом, она спрыгнула с постели и увидела под дверью записку. Мечта снова вернулась. Вальтер зовет ее. Она проводила эти минуты горести и несчастья в кровати, а все это время ее ждала его записка.

— „Дорогая Иетта. Исидор звонил около половины девятого и просил меня передать"...

Записка превратилась в комок в руках Иетты. И, стоя одна у себя в комнате, где никто не мог ее видеть, Иетта подумала только об одном: не нужно устраивать сцену.

Она расправила записку и, овладев собой, стала читать ее. Каждый мускул был напряжен, зубы скрипели от невероятного усилия справиться с бурей безумных побуждений, поднявшейся в ее душе, и не допустить, чтобы ее залили с головой вздымающиеся волны событий. Машинально она приняла ванну, причесалась и оделась. Ум ее окаменел—она стиснула его тоже, как зубы.

Но как-то подсознательно—за этим внешним спокойствием кипела яростная борьба, имевшая большое значение. За эти несколько минут, одна-одинешенька в своей чуждой ей новой квартире, не видя близ себя никого, кто мог бы помочь ей или ободрить ее, она вступила храбро в битву и выиграла ее. Она не вышла из нее невредимой—современная психология учит нас, что никто не выходит из таких столкновений без всяких ран, которые медленно заживают, если заживают вообще.

В шуме душевной битвы перед ней восстал новый вгляд на жизнь. Эта перемена не была такой резкой, как та, которую вызвали в Иетте ласки Вальтера, но она была более глубокой—так как вопросы мира духовного всегда имеют большее значение, чем предметы мира физического...

Жизнь, как она ей представлялась, была бесконечной, отчаянной борьбой, постоянным столкновением личностей, жестокой войной социальных классов. Каким-то внешним образом, скорее, как-то машинально, она была втянута в эту борьбу. Она наперед знала, что ей суждено всю свою жизнь быть „забастовщицей". Но она всегда думала, что является лишь участницей конфликта. Теперь же казалось—и это было новой для нее точкой зрения—что борьба происходит в ней самой. Стратегической позицией, ключом ко всему полю битвы, пунктом, куда должны быть направлены и где нужно отразить жесточайшие удары, была ее душа. Если разгром произойдет там, битва проиграна—поскольку в ней заинтересована она сама.

Только много лет спустя она вполне поняла, что для нее значили эти полчаса. Много месяцев должно было миновать, прежде чем она смогла устроить свою жизнь в соответствии со своим новым взглядом. Но, наливая себе кофе, которое Сэди оставила ей на плите, она поняла, что ею выиграна первая битва в новой кампании. Во всяком случае, хоть на минутку, она „капитан своей души".

В гнетущей печали победы, в горьком созерцании своего триумфа, она вновь обрела гордость. Она не пойдет на унижения, чтобы получить упоительное наслаждение от его поцелуев, когда ей нужна любовь. Вальтер может притти к ней или не приходить. Пусть он сам решает. И в том и в другом случае жизненная борьба должна продолжаться попрежнему. Она не имеет права дезертировать с поля битвы.

Было уже половина десятого, а от Вальтера ни слова. Она не в силах была сидеть дома, сложа руки, в ожидании, когда у него изменится настроение духа. Чтобы выйти из мучительного состояния неизвестности, она еще раз перечла записку Исидора—на этот раз внимательно. Перед ней обрисовалась конкретная, повседневная работа. Иетта надела шляпку.

Выйдя на площадь Уэверли, она вдруг сообразила, что ноги несут ее по направлению к Вашингтон-Сквэру—к Вальтеру. Враг сделал отчаянную вылазку—застал ее с поднятым забралом,

с мечом в ножнах, со щитом, закинутым бесполезно за спину. Но почему же? Он не будет бессердечным и не прогонит ее от себя. Она знает, как он добр. Если бы они стали жить вместе, он со временем полюбил бы ее. Как же она может рассчитывать, что он переменится, если они будут жить врозь? Живи они вместе, все бы пошло на лад...

Ей казалось, что борьба, которая происходила в ней несколько минут назад, была последней—и вот приходится начинать все сначала.

К ней подходил какой-то седовласый старик, но она его не заметила, пока он не остановился и не заговорил.

— Вам нездоровится, мисс?

— Нет,—вздрогнула она, когда уяснила себе значение его слов. Насколько это было хуже, чем он думал.—О нет! Я здорова.

Но старик продолжал стоять, следя за ней взором, пока она не повернула за угол Мак-Дугал-стрит. Он готов был обратиться за помощью к доктору. Скоро Иетта спохватилась, что она дошла до Бликкер-стрит. Она повернула на нее, дошла до станции подземной железной дороги и поехала в редакцию „Трубного Звука" в Газетном Ряду.

Эта редакция не имела никакого сходства с редакцией „Звезды". Чердак какого-то товарного склада был переделен надвое легкой перегородкой. В задней комнате помещалась подержанная батарея, линотипы старого образца, две-три наборных кассы—для объявлений и для обычной работы, доска для верстки, столы для пробных оттисков и набор для отливки стереотипов. Прямо с лестницы попадали в шумную, переполненную народом комнату. Иетте пришлось осторожно пробираться среди машин, чтобы добраться до издательской комнаты, находившейся за перегородкой.

Низенькая решетка разделяла переднюю комнату на „издательскую" и „рабочую" половины. Направо стояли длинный стол для репортеров, столы поменьше для заведующих „Хроникой" и „Биржей", а за ними бюро с опускающейся крышкой для Исидора.

Левин, очень курчавый юноша с черными волосами, в помятом воротничке и смокшей рубашке, вскочил со своего места приветствуя Иетту.

— Алло,—воскликнул он, стараясь перекричать грохот машин и стук пишущих машинок.—Вот вам записка от Исидора. Он отправился на поиски денег. Надеюсь на вас, как на бога, что вы нам поможете. Локке болен. Я сегодня веду и его отдел, и свой, и Исидора. Гарри взял на себя „Партийную Жизнь“ и „Женский Отдел“, кроме своих „Телеграфа“ и „Биржи“, поэтому Сам может заняться „Парламентскими Новостями“. Какого чорта мы можем сделать, ведя газету в таком стенографическом...

— Ну, не ворчи,—крикнул Гарри Мур из-за своего стола, отрываясь от груды „Бюллетеней Труда“, которые он наскоро просматривал.—Дела у нас идут не хуже, чем всегда. Что там ни говори, а мы выкарабкаемся. В этом отношении нам неизменно везет. Бог благосклонен к пьяницам, дуракам и социалистам.

Один из счетоводов, сидевший на „рабочей“ половине по ту сторону решетки, услышав, что в „издательской“ загорелся спор, начал громко считать во весь голос:

— Раз! Два! Три!

При слове „три“ все в комнате, кроме Иетты и Левина, запели в унисон:

— О-о-о! Отложите всякое попечение и работайте на пользу социализма!

— Как вы мне надоели,—огрызнулся на них Левин и уселся за стол, безнадежно махнув рукой.

Исидор сообщал Иетте в своей записке, что незначительная, но отчаянная стачка вспыхнула на некоторых фабриках, изготовляющих картонные коробки где-то в глухом углу Бруклина. Рабочие—недавно приехавшие иммигранты, не умеющие говорить по-английски. Широкая пресса не упоминает о забастовке и под покровом тайны боссы, соединясь с выдающимися политическими деятелями крайней правой, делают с рабочими, что хотят. Ему кажется, что этот случай можно использовать в широких

размерах. Опубликование такого факта наверное принесет пользу стачечникам. В редакции нет ни одного человека, который мог бы взять на себя это дело.

Ни единого слова об их вчерашней встрече.

— Товарищ,—обратилась Иетта к Левину,—в котором часу вы начинаете печататься?

— В час. Статьи должны быть сданы к половине первого. Ведь это же идиотство! Наше последнее издание появляется на улицах раньше, чем органы общей прессы покончат с выпуском своего обычного издания. При таких условиях мы не в силах издавать приличную газету...

— Раз! Два! Три!

— О-о-о! Отложите всякое попечение и работайте на пользу социализма!

— Дурачье!

— Чудесно,—сказала Иетта, впервые улыбнувшись за этот день,—я позвоню вам около полудня. Позовите к аппарату стенографистку. На сегодня у вас будет начало. Завтра пойдет продолжение, вот и все. Ну, пока до свидания.

Почти в то самое время, когда Иетта отправлялась по своему назначению, Исидор входил в бюро Лиги Женского Рабочего Союза.

— Алло,—приветствовала его Мабель. Затем, как бы подумав, и с меньшей сердечностью, добавила:—незнакомец!

Она была не в очень радужном настроении духа. Недавно она почувствовала, что ей становится уже труднее бороться с жизнью. Люди, на которых она рассчитывала, начинали разбегаться. Начало положил Исидор, отказавшийся от работы в Лиге, чтобы заняться „Трубным Звуком". Когда нашелся новый юрисконсульт, ушла миссис Карнер. Заменить ее было немыслимо. Без нее стало вдвое труднее руководить Советом. Побросали работу и другие. Паническое бегство как-будто началось с Исидора. А теперь Мабель была уже не в силах относиться с легким сердцем к таким непредвиденным случаям. Она еще могла скрывать несколько седых прядей, пробивавшихся в ее волосах, но нельзя было утаить усталого взгляда глаз.

Внезапная раздражительность ее пугала. Ее преследовала мысль, что она становится „брюзгой“.

Исидор придвинул стул и приступил сразу к делу. Ему хочется, чтобы Мабель убедила Иетту приняться за постоянную работу в „Трубном Звуке“. У Иетты писательский талант, и его нельзя оставлять под спудом. Он ежедневно будет предоставлять им столбец или около того для их работы по организации женщин.—Польза будет очевидна для всех,—сказал он.—Для вас гласность. Если мое предложение вас устраивает, ознакомьте с ним Иетту.

— Оно меня не устраивает,—сказала решительно Мабель.—Вы забываете, что я не заинтересована в вашей хилой газетке. Какой нам толк в гласности, если дело идет об одной-двух тысячах узколобых социалистов, покупающих ваш „Трубный Звук“?

— Наш тираж свыше десяти тысяч.

— Пф! Никто ее не читает, кроме членов партии. Большая часть экземпляров вашей газеты не расходится и выбрасывается в помойную яму. Вы уверены, что рабочие непременно должны читать социалистическую газету. Но они ее не читают. Они предпочитают настоящую газету, со свежими известиями, с картинками и с отделом юмора. Иетта поступила глупо, бросив работу в „Звезде“. Вот это настоящая гласность.

Вам хочется залучить Иетту в „Трубный Звук“. Конечно, вам нужен кто-нибудь, умеющий писать! Вы хотите отвлечь ее от настоящей организационной работы—как вы сами отошли от нее. Я насквозь вижу, к чему вы клоните. Вместо того, чтобы помочь нам работать, вы хотите похитить у нас Иетту. Ну-с, так вот! Чем меньше она будет иметь общего с „Трубным Звуком“ и вашим маленьким замкнутым кружком догматиков, тем будет мне приятнее.

— Подумайте вот о чем,—сказал Исидор, меняя тактику,—мне хотелось бы, чтобы Иетта отдавала все свое время „Трубному Звуку“. Как вы говорите, нам и на самом деле нужны хорошие писатели. Но не об этом я думал, когда шел к вам.

Я беспокоюсь за Иетту. Ее непременно нужно занять—дать ей больше дела, чем у нее есть. Конечно, мне не хоте-

лось бы, чтобы она знала, что я вмешиваюсь в это дело. Но ее что-то угнетает, у нее на душе...

Мабель, не боясь показаться неприятной, перебила его.

— Я знала, что вас привел сюда не интерес к Лиге. Я обязана этим визитом вашей заботливости о Иетте.

— Оба ваших предположения несправедливы, Мабель, хотя теперь вы ближе к истине, чем при вашей первой догадке. Главнейшая работа Иетты связана с Лигой. Вполне естественно, что я пришел к вам. Я, право, тревожусь за нее. Что-то ее волнует.

— В чем дело?

— Не знаю.—Исидор удивился той легкости, с которой он солгал.—Не нужно знать в точности, что именно случилось, чтобы увидеть, что не все обстоит благополучно. Вы бы тоже это заметили, если бы не видались с Иеттой ежедневно. Но я не видел ее очень давно,—продолжал он лгать.—Она пришла сегодня утром ко мне в редакцию, и вид ее меня испугал. У нее взгляд—„что пользы в том“? Она грустна, мрачна. Она переживает какой-то кризис. Все мы его переживали. Знаете, такие минуты, когда мы задаем себе вопрос, что̀ бог имел против нас, создавая нас на свет, и все такое. Единственно, что тут может помочь—это работа.

Иетта работает сейчас для вас ничуть не больше, чем в то время, когда она занималась ученьем или сотрудничала в „Звезде“. Пожалуй, все дело тут в свободном утреннем времени. Право, меня испугал ее вид. А так как у меня было дело в городе, то я решил забежать к вам и обсудить это с вами. Я безусловно уверен, что работа, о которой я говорил,—а ею будет у нее занято утро—очень поможет вам, в равной мере, как и нам.

Мабель закусила кончик карандаша и стала смотреть на улицу. Она была уверена, что Исидор не рассказал ей всего, что знал. Вероятно, Иетта увидела, что Вальтер к ней равнодушен, и ее это грызет. Она убедится в этом вечером, когда Вальтер зайдет к ней. Быть может, лишняя работа будет полезна для Иетты. Но не та работа, о которой говорит Исидор. Она

положительно питала враждебность к нему и к этой нелепой газете, которая стала коньком Исидора и оторвала его от „настоящей полезной работы“.

— Может быть, вы и правы относительно Иетты,—сказала она, стараясь смягчить свой тон.—Я не заметила никаких следов душевной трагедии. Но если ей нужно прибавить работы, то я могу дать ей больше дела, чем она сможет, как следует, выполнить—не заставляя ее тратить время на газету, которая составляет вашу слабость.

— У меня своя слабость, у вас—своя,—произнес Исидор, вставая,—я не очень забочусь о том, какая важнее. Мысль, приведшая меня сюда, заключалась в том, чтобы устроить, как бы Иетта была занята делом. И, мне думается, вы сами увидите, что я здесь прав. Пока всего хорошего.

Он был в самом деле рад, что события приняли такой оборот. Беспристрастная часть его существа, часть социалистическая, радовалась, что в лице Иетты приобретается поддержка для „Трубного Звука“. Но он знал, что лично для него будет гораздо тяжелее, если она всегда будет рядом с ним. Самая острая боль, которую может нанести стрела из колчана Купидона, бывает тогда, когда видишь, как любимый тобою терзается сердечными муками из-за другого.

Из Лиги Исидор отправился на поиски Вильгельма Стрингера, „организатора“ одной из „секций“ местного отдела социалистической партии, к которому принадлежала Иетта. Почти сорок лет Стрингер зарабатывал свой хлеб насущный ремеслом шлифовщика по меди. Но настоящим делом для него был социализм. Он давно уже вдовел, дети его умерли еще в младенчестве, и его обманувшийся в своих ожиданиях отцовский инстинкт нашел для себя выход в тихой, глубокой любви к „молодым товарищам“. Он был ласковым „Верховным отцом“ для организации всего города.

Исидор застал его за завтраком на тротуаре в тени фабричного здания. Они были старыми приятелями со Стрингером и могли беседовать без уверток.

— Билль,—сказал Исидор,—я по личному делу. Узнал я об этом совершенно случайно. Вопрос касается товарища Иетты Раевской. Вы можете угадать причину сами, не стоит мне и говорить. Ее нужно непременно занять, дать ей столько дела, чтобы она позабыла свое горе. Она у вас в секции. Вероятно, должна найтись какая-нибудь работа, которой никто не делает. Навалите ее на Иетту. Работа для нее наилучшее лекарство.

Стрингер очень медленно прожевал кусок бутерброда с сыром.

— Ладно. Нам надо бы послать делегата в комитет по образованию. Теперь у них собрания три раза в неделю. Это, так сказать, для начала. Und also мы скоро начнем ходить из дома в дом mit Broschüren—для предвыборной кампании. Работы хватит вполне. Бедненькая девочка. Мне думается, нам придется замучить ее на работе до смерти. Работа таки—хорошее лекарство.

И Исидор, урвав полутра от своей обычной работы, помчался в город в редакцию.

ГЛАВА XXVI.

„Трубный Звук".

Иетта нашла, что забастовка коробочников гораздо серьезнее, чем она думала. Условия труда были ужасающие. Полдюжины мастерских являлись только центром широко развитой системы выжимания пота. Больше половины заказов исполнялось на дому в таких кварталах, где можно было избежать закона о детском труде и где можно было заставлять женщин проводить за работой невероятное количество часов вне пределов компетенции фабричных инспекторов.

Стачечники были не только изолированы—затеряны в глухих кварталах Бруклина, без всякой связи с трудовыми организациями, не зная ни законов, ни своих прав, они были, кроме того, ослаблены различием в языке. Все это были „желторотые" иммигранты, не научившиеся еще говорить по-английски. Они принадлежали к разным и враждебным народностям: какая-то смесь словаков, поляков, итальянцев и евреев, не имеющих ничего

общего между собой. Боссы быстро уяснили себе, каким серьезным препятствием в смысле организации является смешение племен.

Иетта пришла к ним совершенно вроде того, как Мабель три с половиной года тому назад явилась к забастовавшим работницам жилетных мастерских, принеся с собой подробное, практическое знание того, как надо проводить забастовку. Протелефонировав в „Трубный Звук“ начало заметки, она принялась за работу, внося порядок и надежду в отчаянный хаос борьбы. Она отправилась к полицейскому чиновнику, и ее угрозы предать дело огласке заставили его изменить свой образ мыслей по отношению к праву бастующих устраивать собрания. Еще до ужина статья „Трубного Звука“ возымела действие. В дело вмешалось с полдюжины трудовых организаций и ораторы-социалисты. Получив помощь извне, коробочники могли приступить к организации пикетов, устройству митингов и к выработке плана начать сбор денег. Один из социалистов—юрист—взял на себя ведение дел десятка арестованных стачечников.

К десяти часам положение неизмеримо изменилось к лучшему. Иетта помчалась сесть за машинку, чтобы написать большое „продолжение“ своей статьи для следующего номера газеты. Она принялась за нее с каким-то особенным трепетом. Впервые она поняла, какой силой может стать в борьбе рабочая газета.

Пока она работала над своей статьей, в одной из зал Храма Труда на Сорок-Восьмой Восточной улице происходило полугодичное собрание акционеров Кооперативной Компании Газетных Издательств.

Вальтер называл „Трубный Звук“ „газетой Исидора“. На самом деле это было кооперативное предприятие. В те дни, когда рабочие едва не провели Генри Джорджа на пост мэра Нью-Иорка, они приступили к сбору денег, чтобы создать газету, которая представляла бы интересы их класса. Было решено, что нужно собрать пятьдесят тысяч долларов, и был образован комитет. В первом порыве энтузиазма собрали пять тысяч. Время от времени делались новые усилия, и сумма возросла до восьми тысяч.

Когда Исидор вернулся после отдыха у Паульдингов, он решил направить все свои усилия на этот проект. Он занялся тщательным изучением путей и средств, вдохнул в комитет новую жизнь и ему, в конце концов, удалось организовать эту кооперативную издательскую компанию. На первом собрании они решили, что сумма в пятьдесят тысяч безнадежна и что можно бы начать с двадцати пяти. Но, напрягая в течение шести месяцев все силы, устраивая балы, пикники и выставки, они собрали только двенадцать тысяч. На эти деньги было начато издание „Трубного Звука". Каждый, кто был хоть сколько-нибудь знаком с современной журналистикой, говорил Исидору, что он глупец.

Сначала газета издавалась на капитал. Но через несколько месяцев доход от продажи, от торговых объявлений и объявлений о спросе и предложении труда уменьшили еженедельный дефицит приблизительно до пятисот долларов. Дефицит был отчасти покрыт из средств кассы Взаимного Поручительства. Около двух тысяч человек, в большинстве случаев члены социалистической партии, поручились, что они будут еженедельно делать взносы, колебавшиеся между десятью центами и несколькими долларами. Оставшийся дефицит был покрыт прямым и простым выклянчиванием и урезкой жалонанья. Никогда еще ни одна газета не издавалась на более непрочной основе и с большим рвением. Недостаточная экономность, с какой велось это убогое дело, привела бы в содрогание любого дельца, послужила бы причиной апоплексического удара для какого-угодно „эксперта по оперативной части". Стоимость каждого процесса обходилась вдвое или втрое дороже того, что им стоило бы, будь у них больше денег.

Но денежные затруднения составляли только незначительную часть того, с чем приходилось бороться Исидору и небольшой группе его восторженных помощников. „Трубный Звук" был собственностью организованных на демократических принципах акционеров, выбравших Исполнительный комитет из пяти членов для заведывания газетой. Из всех явлений общественной жизни демократия оказалась наименее подготовленной к тому,

чтобы здраво вести газетное дело. Держатели акций компании в общем чувствовали глубокую неудовлетворенность органами широкой прессы и страстно желали создать такую газету, которая явилась бы истинной представительницей их класса. Но хотя они и приносили большие жертвы, хотя они и вкладывали поразительно крупную часть своего заработка в „Трубный Звук", их представление о том, какова должна быть газета, было весьма смутным. Они не имели никакого понятия о технических задачах журнализма.

Исполнительный комитет постановил, что заседания должны происходить раз в неделю, но Исидору казалось, что экстренные заседания происходят каждые десять минут. У него больше времени уходило на воспитание этой массы руководителей, на обучение их тому, что можно и чего нельзя сделать на их ограниченные средства, чем на действительную работу в газете.

Когда общее собрание акционеров открылось, Рейнгардт, председатель Исполнительного Комитета, прочел доклад. Тираж достиг двенадцати тысяч. Еженедельный дефицит понизился до 400 долларов. Касса Взаимного Поручительства дала 300 долларов. Получено пожертвований в сумме 66 долларов 50 центов. Персонал редакции дал расписку на 23 доллара 50 центов, которые на самом деле им не получены. Впервые в истории „Трубного Звука" неделя прошла без увеличения задолженности.

Затем собрание впало в свойственный ему тон бесполезной критики. Один невероятно ревностный социалист яростно выступил против приема некоторых объявлений, которые, по словам его, способствуют капиталистическим предприятиям. Непосредственно за ним выступил другой товарищ, который обвинял заведующего приемом объявлений в полнейшем бездействии, ибо он не принял мер для привлечения большего количества объявлений. Третий оратор сказал, что глупо тратить место на спортивные новости. У рабочего класса есть более серьезные вопросы, над которыми следует подумать. Трое или четверо других одновременно потребовали себе слова. Все они сообщили одно и то же: у них в мастерской рабочие покупают газету чтобы посмотреть, как отличаются чемпионы в состязаниях на

звание лучшего игрока в мяч. „Трубного Звука“ они не берут, так как в нем плохо поставлен отдел атлетики. Так это все и продолжалось, как обычно—каждое предложение сейчас же побивалось контр-предложением—и так бы это и шло до самого закрытия заседания, если бы один из членов Исполнительного Комитета не вышел из себя, будучи не в силах выносить эту болтливую критику, и не сложил своих полномочий.

Вильгельм Стрингер вскочил с места.

— Мы имеем в нашей секции товарища, который есть хорошая дама-журналистка. Она работала mit один большой желтый журнал. Мне приятно видеть в комитете хорошего социалиста, но also нам нужен и какой-нибудь хороший газетчик. Und я предлагаю выбрать товарища Иетту Раевскую.

Так как никто не стремился быть избранным, ибо предстояла тяжелая и неблагодарная работа, то Иетта была выбрана единогласно.

— Мы ее, пожалуй, замучим до смерти на работе. Да?— сказал Стрингер Исидору, когда собрание закончилось.

— Вы думаете, она согласится?—с сомнением спросил Исидор.

— Она безусловно согласится. Она хороший девушка. Я ее еще не спрашивал, но сейчас я буду написать ей одно письмо и расскажу ей.

Он дал записку Исидору для передачи Иетте.

Около полуночи Иетта закончила свою статью, но находя, что нужно обратить внимание еще на некоторые детали, разузнав о них в стачечном комитете, решила отправиться сейчас же в Бруклин и переночевать в семье одного забастовщика. Было уже три часа утра, когда она улеглась, слишком утомленная, чтобы вспомнить с достаточной ясностью, что ее мотыльковые крылышки сломаны. Не один раз в течение дня ей приходилось сдерживать слезы—приходилось бороться со страстным желанием бросить свою работу и бежать на Манхэттэн к Вальтеру. Но всегда в эту минуту слабости к ней обращался за помощью кто-нибудь, кто был еще слабее.

Ей пришлось снова выдерживать борьбу со всеми этими чувствами, когда она проснулась. Она не могла бы победить,

если бы во время сна у нее не создалось убеждения, что каким-то образом все, в конце концов, сложится хорошо. Когда она явилась в „стачечный комитет“, то там для нее оказалось столько работы, что ей некогда было горевать. С утренней почтой поступило свыше пятидесяти долларов—результат ее вчерашней заметки. Но еще лучше было то, что бросающиеся в глаза заголовки статей, помещенных в „Трубном Звуке“, привлекли на себя внимание общей прессы. Стачка получила широкую огласку. Нет такого другого разряда злодеев, который бы так страстно любил обделывать свои делишки в темноте, как разряд „бесчестных“ предпринимателей. Боссы бывают не очень огорчены, когда у них рабочие бунтуют, но им не нравится читать об этом или знать, что об этом могут прочесть их знакомые, получив утреннюю газету.

Только в одиннадцатом часу Иетте удалось уйти. Сидя в вагоне воздушной железной дороги, она впервые могла улучить минутку, чтобы взглянуть на вчерашний номер „Трубного Звука“. Чувство восторга, с которым она думала раньше о рабочей газете, сменилось каким-то отвращением. Что это был за жалкий листок! Как отличался он и по тону и по качеству от того журнала, о котором так пылко говорил Вальтер! Он был не только непривлекателен по внешности. В нем не было ни единой мелочи, которая на опытный взгляд Иетты казалась бы хорошо выполненной. Заголовок ее статьи, напечатанный во весь лист в начале первой страницы, был груб. Сами собой у нее всплывали в голове десятки более удачных. Ошибки, которые были допущены вследствие того, что ее заметка, переданная по телефону, была растянута на два столбца, были забавны и досадны. Что же еще было в газете? Остальная часть первой страницы была заполнена телеграммами, которые представляли новинку за несколько часов перед тем, как попали в печать! Вторая страница—она была озаглавлена „Новости Труда“—особенно рассердила Иетту. Главным образом здесь помещались разные выдержки, позаимствованные из профессиональных журналов. Оригинальные статьи были написаны кем-то, не понимавшим и не симпатизировавшим трэд-юнионист-

скому движению и, очевидно, предполагавшим, что каждый рабочий, который не состоит членом партии, умственный урод. Единственно ярко выраженной индивидуальностью отличалась помещенная на последней странице статья Исидора „от редакции". Она была несколько тяжеловесна и растянута, но по крайней мере сильна и умна. Карикатура нарисована слабо и нужно было обладать аналитическим умом, чтобы понять, в чем ее соль. Иетта с трудом могла поверить, что двенадцать тысяч человек охотно покупают такую неинтересную газету, когда имеют возможность получить за те же деньги красочную, крикливую „Звезду" в шестнадцать страниц.

Она почувствовала себя усталой и обескураженной, придя в редакцию.

— Я не умею составлять заголовки,—сказала она, бросая на стол к Левину свою статью,—но мне приходилось браковать гораздо менее глупые, чем те, которые вы выпустили во вчерашнем номере.

Не дожидаясь его ответа, она прошла к бюро Исидора.

— Вот вам записка от Стрингера,—сказал он вместо приветствия.

Иетта небрежно вскрыла конверт.

— Прекрасно! Вот так у нас делается дело,—сказала она, бросая записку в корзину для бумаги.—Меня выбирают, даже не спросив моего согласия.

— Вы не будете служить?

— Нет.

Исидор откинулся на спинку вращающегося кресла и нервно затянулся папироской.

— Что же, по вашему мнению, не стоит заниматься этим делом?

— Им стоит заниматься—но только не так.

Исидору казалось, что хоть одно слово поддержки, сказанное ею, вдохнет в него новую жизнь. А она, как и все другие, только критикует. Ему безумно захотелось заплакать и вместе с тем им овладело такое же сумасшедшее желание послать все к чорту. Но он сдержался и не сделал ни того, ни другого.

— Ну, хорошо, что же вы предполагаете? Поднять газету до уровня того, что вы считаете полезным и нужным?

— Она никогда не сделается настоящей газетой, пока первая страница будет блистать тем видом, который был у нее третьего дня—это, во-первых.

— Если бы вы знали, какие нам приходится преодолевать трудности,—сказал он, изо всех сил стараясь скрыть, как больно его уязвляет ее насмешка,—то мне думается, вы стали бы так же гордиться нашим отделом „последних известий", как горжусь им я. Прежде всего мы, конечно, должны подписываться на бюллетени у самого дешевого агентства. Пока мы не будем в состоянии завести еще несколько фургонов для развозки газеты—у нас их сейчас только два—нам придется выпускать номер к часу. Это значит, что телеграфный материал должен быть сдан к половине первого. Агентские депеши начинают поступать лишь с одиннадцати. В нашем распоряжении остается только полтора часа из двадцати четырех. И при этом положительно все, что мы получаем, трактуется с прогнившей, грязной, не внушающей доверия капиталистической точки зрения. Половину материала приходится переписывать. Гарри Муру, который, кроме того, дает отчеты о вечерних митингах, просматривает трудовые газеты, следит за версткой, ведет „Вопросы и Ответы" и подбирает шутки и статейки для „Смеси", приходится перечитывать каждую депешу и большую часть их переписывать заново. Да, я, пожалуй, горжусь нашим отделом последних телеграфных известий.

— Разве финансовая сторона дела так безнадежна?—спросила Иетта.

— Видите, я не скажу, чтобы она была безнадежна. Вы член Исполнительного Комитета—по крайней мере пока не сложили с себя полномочий—поэтому будет гораздо лучше, если вы посмотрите книги.

Целые полчаса они просидели, склонив головы над балансовыми ведомостями. Положение было ужасающее. Долг совершенно не соответствовал имуществу. Правда, большая часть денег была дана газете сочувствующими, которые едва ли стали бы предъявлять векселя ко взысканию. Но вместе с тем нельзя было

питать никаких надежд на немедленное облегчение бремени. Всякое новое поступление должно пойти на улучшения. Будущее газеты зависело не только от ее способности выдержать этот мертвый груз, но и от дальнейшего существования кассы Взаимного Поручительства и от того, удастся ли Исидору выклянчивать по сотне долларов в неделю.

— Дело безнадежное,—сказала Иетта.—На эти средства вы могли бы издавать хороший еженедельник, но вам нужно в десять раз больше денег, чтобы поддерживать издание хорошей ежедневной газеты.

— Хорошо, если вы в этом уверены, Иетта, то я, надеюсь, вы сложите с себя полномочия на сегодняшнем собрании.—Он перевел свой взор от ее лица на комнату, в которой кипела работа, и его расстроенный взгляд сменился взглядом, в котором выражалось твердое убеждение. Нотка упрямой решительности прозвучала в его голосе.—Потому что дело не безнадежно! Нам грозит единственная реальная опасность, что Исполнительный Комитет убьет нас, обдавая потоками холодной воды. Если нам удастся образовать такой комитет, который в нас верит, то все пойдет хорошо. Такая газета, как наша, не зависит только от финансов. Вот этого-то и не видите ни вы, ни прочие господа обескураживатели. Вы смотрите на нее с буржуазной точки зрения—с точки зрения долларов и центов. Дело обстоит безнадежно, не так ли? А мы вот делаем эту безнадежную вещь уже больше года! Безнадежное дело выдерживать такую задолженность? Господи, боже мой! Да мы начали прямо с долгов – у нас буквально ничего не было. С каждым выпускаемым номером газета подает все большие надежды. Количество принимаемых объявлений возрастает. Средства кассы поручительства увеличиваются. Как - никак, а у нас теперь двенадцать тысяч постоянных читателей. А симпатии подписчиков – статья актива, которая не проводится по книгам! Шесть месяцев тому назад у нас ровно ничего не было,—даже опытности! Ведь у нас не было даже сплоченного кадра сотрудников! А теперь вы говорите, что дело безнадежно—хотите бросить нас—как раз в тот момент, когда дело сравнительно налаживается! Мы...

Ворчливый голос Левина покрыл грохот машин: он нашел какую-то ошибку. В дальнем углу одна из стенографисток начала считать: Раз! Два! Три!—Все сотрудники, даже наборщики и типографский ученик, за перегородкой издали воинственный клич.

— О-о-о! Отложите всякое попечение и работайте на пользу социализма!

Сумрачное выражение на лице Исидора смягчилось, и он самоуверенно улыбнулся.

— Вот именно! Вам кажется, что мы нуждаемся в деньгах для издания газеты? Мы работаем над ней с энтузиазмом. И ничто нас не остановит.

— Я об этом подумаю,—сказала Иетта.—Если я не увижу, что есть хоть какой-нибудь шанс на успех, то не останусь в Комитете, чтобы не приводить вас в уныние. А сейчас мне надо зайти в Лигу и помириться с Мабель. Я была так занята вчера в Бруклине, что совсем забыла о том, что она просила меня выступить с речью.

По дороге в верхнюю часть города Иетта с изумлением почувствовала какую-то странную неприязнь к своей прежней работе и своим сотоварищам. Почему крушение, которое потерпела она со своим романом, изменило ее взгляд на жизнь, она не могла понять. Ей как-то показалось, что она отошла от всего этого. Мотыльку даже и со сломанными крылышками не хочется забираться опять в свою куколку. Вся ее прежняя жизнь стала внушать ей отвращение. Поднимаясь по лестнице в бюро Лиги, она почувствовала ненависть даже к ступеням, по которым шла. Иетта ясно поняла, что она страшно близка к тому, чтобы возненавидеть Мабель. Острее, чем когда бы то ни было, она почувствовала пропасть между собою и этой блестяще воспитанной женщиной из высших классов. Как бы она ни старалась, ей никогда не удастся отделаться от своего прошлого, связанного с потогонной мастерской. Ревность сделала ее несправедливой. Она приписывала предпочтение, которое оказывал Вальтер Мабель—что было чистой случайностью,—этой разнице в воспитании.

Мабель, сидевшая в кабинете за бюро, была почти в столь же приветливом настроении. Вальтер не зашел к ней накануне вечером. Это произвело на нее гораздо большее впечатление, чем она могла предполагать. Его отношение показалось ей типичным, судя по тому, как все ее покидают. За последнее время она начала переживать чувство какого-то голодного одиночества. Казалось, с надвигающейся старостью постепенно отпадали все те дружеские отношения, которыми она и на самом деле дорожила. Старость бок-о-бок с Элеонорой сулила мрачные перспективы. За последний год у нее было немного поклонников— и ни одного, который что-нибудь бы собой представлял. Когда она сидела у себя дома в ожидании Вальтера, с каждой минутой понимая все яснее и яснее, что он не придет, то чувство одиночества, которое все время грызло ее, превратилось в острую боль. Она любила его не больше, чем прежде. Но хотя она и не выражала своих мыслей именно так, однако, знала, что если бы он пришел, все еще стремясь к ней, то она вышла бы за него замуж только из-за одного страха перед плачевной перспективой остаться в одиночестве.

В это утро она нашла в бюро Лиги письмо, написанное Вальтером накануне. Он сожалел, что ему не удалось с ней повидаться. Ему пришлось провести в городе всего несколько дней, а сегодня он уезжает в Бостон—ему нужно посмотреть одну коллекцию в Гарвардском музее—а оттуда отплывает в Англию. Он сообщал Мабель о предложении занять в Оксфорде кафедру, на что им дано согласие, и оставался „искренно вам преданным“. Он даже не давал своего бостонского адреса.

Это было его официальное „прости“. Это было явное доказательство, которое часто бывает так печально, даже если самый факт уже известен—что еще одна глава закончена.

Она едва успела прочесть письмо, как ее запросили по телефону, почему Иетта не явилась на митинг. Это был пустяк, но он показался Мабель важным. Иетта, благонадежная Иетта, на которую всегда можно было положиться, ей изменила. Неужели еще новое дезертирство?

Стенографистки сделали в это утро больше ошибок, чем была их обычная порция за неделю.

Наконец, Иетта явилась. Ее угрюмое лицо поразило Мабель. В порыве внезапно нахлынувшей симпатии она позабыла о собственных горестях.

— Что с вами?—спросила она с беспокойством.—Вам нездоровится? Вы поэтому не выступали вчера с речью?

— Нет, — коротко ответила Иетта. Она разозлилась при мысли, что ее отчаяние так ясно выражается на лице.—Я здорова. Я позабыла.

— Вы позабыли?

— Да. Я совершенно об этом позабыла, а когда вспомнила, то было уже слишком поздно, чтобы телефонировать. Я была в Бруклине. Да если бы даже я и не позабыла, то все равно не смогла бы притти. Забастовка коробочников несравненно важнее этого митинга.

— Забастовка коробочников? Я и не знала, что они забастовали.

— Если бы вы читали „Трубный Звук", то наталкивались бы на такие вещи.

Иетта бросила свой номер газеты на бюро Мабель. Каждое резкое слово наносило удар традиционной дружбе, существовавшей между обеими женщинами. Мабель не собиралась выходить из терпения. Вид Иетты глубоко ее тронул. Но ей показалось — с первых слов Иетты, — что та над ней насмехается. „Трубный Звук" был последней каплей. Под ярким заголовком в начале статьи стояло имя Иетты.

— Итак, вы считаете, что гораздо важнее писать статьи для „Трубного Звука", чем исполнять свои обязанности по отношению к Лиге? Мне хотелось бы знать, для кого вы работаете— для меня или для Исидора Брауна?

Иетта тоже не собиралась выходить из терпения. Но она была слишком утомлена и потрясена пережитой бурей, чтобы отдавать себе отчет в своих словах. На нее налетел порыв дерзкой беспечности. Мабель Трэн не следовало принимать на себя важный вид, тем более, что она была лучше воспитана.

— Ни для того, ни для другого,—сказала Иетта с вызывающим видом.—Я получаю жалованье от Лиги Женского Рабочего Союза. Если ей моя работа не нравится, то остается только сказать мне об этом.

Одна из стенографисток хихикнула.

Иетта подошла к своему ящику для писем и стала просматривать почту.

— Должна ли я понять, что вы заявляете мне о сложении с себя полномочий?—спросила Мабель.

— О нет! Я только констатировала факт. Если Совет Лиги пожелает, чтобы я сложила с себя полномочия, то он может получить мое заявление в любое время, стоит ему только сказать.

Внезапно Иетте захотелось плакать.

— Ну, к чему мы ссоримся?—сказала она сокрушенно, подходя к бюро Мабель.—Я совершенно разбита. Легла спать очень поздно. Зла, как чорт. Пойду домой—часика два поспать, и мне станет хорошо. Мне жаль, что я...

Взор ее упал на конверт, в котором было письмо Вальтера. Его горячо любимый почерк, казалось, посматривал на нее как-то насмешливо. Что он может писать Мабель? Слова извинения замерли на ее устах.

Мабель была слишком глубоко оскорблена, чтобы легко пойти на примирение. Она чувствовала себя униженной хихиканьем своего секретаря. Она смотрела в сторону и поэтому не заметила внезапной судороги боли, исказившей лицо Иетты. С минуту она дожидалась извинения, которого не последовало. Тогда она снова принялась за работу, не поднимая головы.

— Я, конечно, поставлю этот вопрос на обсуждение на ближайшем заседании Совета,—сказала она холодно.

Не произнося ни слова, Иетта повернулась и, выходя из комнаты, хлопнула дверью.

ГЛАВА XXVII.

Новая работа.

Конечно, выбежав из бюро Лиги Женского Рабочего Союза на улицу, Иетта ни в чем не отдавала себе отчета. Мысли ее пришли в порядок, только когда она села в вагон надземной железной дороги и отправилась домой. Тут с нею произошла одна из тех изумительных психологических реакций, которые не поддаются никакому лабораторному исследованию. Она сразу успокоилась. Все это столкновение на почве непонимания и взаимного раздражения положительно непостижимо. Совершенно немыслимо, чтобы ее любовь к Вальтеру, ее долгая дружба с Мабель, потерпели крушение в такой короткий промежуток времени. Стоит только отнестись ко всему с надлежащей оценкой, как недоразумение выяснится. Этим письмом, которое лежало на бюро у Мабель, Вальтер окончательно с ней порывает, он объявляет в нем о своей новой любви. Это ясно, как день. Таким письмом и объясняется, почему Мабель была в дурном расположении духа. Наверное окажется, что Вальтер ждет ее у дверей. Они вместе поужинают и никогда, никогда не будут больше расставаться. Она начала улыбаться при мысли обо всей этой немой и беспричинной печали последних двух дней. Она сбежала по лестнице на остановке у Девятой Улицы, пробилась через хаос экипажей на Шестой Авеню и во всю прыть пустилась на площадь Уэверли.

Вальтер не сидел на ее пороге.

В прихожей было темно—ужасно темно. Но свет еще раз засиял перед Иеттой, когда она нашла в почтовом ящике письмо от Вальтера. Она взбежала по лестнице, прошла к себе в комнату, заперла за собой на ключ дверь спальни и вскрыла письмо. Оно было написано на листке бумаги из кафэ Лафайетта.

„Дорогая Иетта.

Целое утро от вас ни слова—поэтому я понял, что вы решили остаться верной своей мечте. Быть может, вы правы. Ради

вас самой я надеюсь, что вы правы—хотя для меня это звучит, как смертный приговор.

Мне хотелось бы попросить у вас прощения за всю боль, которую я вам причинил, но трудно приносить извинения в том, что делал отчаянные попытки сказать правду. Чувствую (а по вашему молчанию сужу, что и вы разделяете те же чувства), что должно быть для нас обоих было лучше, если приход Исидора принудил нас к объяснению, принудил нас к пониманию—и во-время. Я уверен, что вы, Иетта, ясно увидите—может быть, не теперь, но когда-нибудь после—как я больше всего старался отнестись к вам справедливо и честно. Мне нужна была ваша любовь. Вы не должны никогда думать, что я только притворялся, Иетта дорогая. Ничего я так не хочу и теперь, как вашей любви. И, хотя вы и не согласитесь со мной—и, может быть, будете правы—я думал, что мы могли бы вместе добиться счастливой, полезной жизни. Я продолжаю еще думать, что нам бы это удалось, если бы вы не отнеслись к этому так, как вы отнеслись.

Но, в сущности, дело не в том, что я думаю. Вы женщина. Вы достаточно жили на свете, чтобы сделать свой выбор, чтобы формулировать для самой себя те требования, с которыми вы обратитесь к Великому Хозяину—к Жизни.

Мне не думается, что вы требуете слишком многого—я не верю, чтобы вы могли требовать слишком многого. Я не допускаю, что вы просите больше, чем я. Но я сомневаюсь в том, мудры ли ваши требования, касающиеся Реального. Однако, за последние годы и я обращался с таким же требованием. Быть может, разгром, который я пережил, и превратил меня из романтика в реалиста. Теперь я предпочитаю хоть какую-нибудь реальность—Мечте.

Но вы должны сделать свой выбор в соответствии со своей теперешней точкой зрения. Я не могу просить вас воспользоваться моим опытом. И еще сильнее—еще искреннее—чем я желаю чего-либо иного, я надеюсь, что ваша мечта направит стопы ваши по стезям радости—в Долины Счастья.

Раз начав писать, я мог бы писать и писать вам без конца. Но это стремление побеседовать с вами не то, что вы понимаете

под словом любовь, поэтому в нем нет никакой отрады. В конце концов, мне больше нечего сказать. Мое дело заставить вас увидеть ясно свой выбор. Вы, надеюсь, уже сделали его. И вы поступили мужественно. Итак, мне остается только сказать: прости.

Через полчаса я уезжаю в Бостон и отплыву оттуда через несколько дней. Рок уготовал для меня тихую гавань в Оксфорде. Это не совсем то, чего мне хотелось бы больше всего на свете, но сойдет и так. Всего вам хорошего.

Вальтер".

Весьма немногое из этого письма дошло до сознания Иетты. Смысл всех этих фраз был один—он уехал. Итак, больше не оставалось никакой надежды. Если бы Вальтер ее любил, питал к ней хоть какое-нибудь чувство, которое она могла бы считать любовью, он не уехал бы.

Иетта никогда не плакала очень много—даже маленькой девочкой. А теперь ей казалось, что, не справься она со своими слезами, она не справится ни с чем. Она бессильно опустилась на постель, зарывшись лицом в подушку, чтобы скрыть рыдания, которых ей было стыдно.

Тело ее лежало на кровати совершенно ничком, но состояние духа было еще более пониженным. Зачем она позволила, чтобы Исидор отвлек ее своим призывом к работе? Что для нее значит работа, если она потеряла Вальтера? Почему она не пошла к нему в то первое утро? Он ждал от нее хоть нескольких слов. Она позволила своей глупой гордости встать на ее пути. Что толку ей в гордости? Если бы она пошла к нему на квартиру, то могла бы сохранить хоть каплю его привязанности. Она всего потребовала и все потеряла.

По мере того, как минуты превращались в часы, Иетта все глубже и глубже погружалась в бездну отчаяния. Она утратила всякое желание выйти победительницей из борьбы. Но мало-по-малу буйный порыв печали улегся, и она забылась тяжелым сном.

Проснувшись, она услышала, что Сэди возится на кухне. Гордость, которую она проклинала за несколько часов перед

тем, вернулась к ней снова. Ей не хотелось, чтобы Сэди заметила ее поражение. Есть громаднейшая разница между абстрактным положением: „Стоит ли жить?“ и конкретным вопросом: „Допущу ли я, чтобы Том, Дик или Мэри увидели слезы на моих глазах?“ Иетте сначала хотелось умереть, а теперь она не желала быть пристыженной.

Поэтому к Иетте вернулась сила воли, и она подняла голову высоко. Было шесть часов, когда она встала и умылась. Сэди приготовляла ужин. Иетта хотела выйти к ней и помочь. Но вместо этого она мрачно опустилась на стул. У нее не хватало смелости очутиться лицом к лицу со своей подругой по комнате. Воля к совершению известного действия не гарантирует возможности его выполнения.

Глаза у нее были теперь сухи; слезы выплаканы, но сама она чувствовала полнейшую слабость. Она склонилась немного вбок и, опершись щекой о холодную поверхность своего письменного стола, глядела, не видя, в окно на ряды молочных бутылок, стоявших на подоконнике напротив через световой дворик. Где ей найти помощь? В первый раз за всю свою жизнь она нуждалась в такой поддержке. Часто ей был нужен совет, помощь в обдумывании чего-нибудь. Но теперь ей нужна была помощь, чтобы она просто могла жить. Часто она бывала в затруднении, как ей нужно поступить, но теперь она знала. И все-таки вместо того, чтобы пойти помочь Сэди, она сидела в своей комнате без сил.

Если бы Иетта была итальянкой, она могла бы пойти украдкой в исповедальню, прошептать о своих горестях на ушко снисходительному падре и найти таким образом успокоение и силу. Но утешение в религии было ей незнакомо. За последние годы ее деятельной жизни даже воспоминание об отце потускнело. Она не могла больше закрыть глаза и вступить с отцом в беседу о разных вопросах, которые ее занимали. Но она чувствовала, что без какой-либо помощи извне ей не удастся итти вперед. Она, как личность, потерпела полнейшее поражение. Словно маленький отряд осажденных в Лукнове, она исчерпала все средства: больше ей ничего не оставалось делать. Патроны

израсходованы. В какую сторону она должна обратиться в надежде услышать трубы избавителей?

В эти несколько скорбных минут она ясно увидела свое положение. Она не хотела умирать. Но если помощь не явится быстро, то черные волны смерти, которые со всех сторон набегали на ее душу, сомкнутся над ее головой. Никогда, сколько бы ей ни довелось жить на свете, у нее не будет случая еще раз гордиться своей силой.

Найдется ли что-нибудь солидное, прочное, на что она сможет опереться?

Вдруг до слуха ее долетел звук отдаленных волынок. Иетта бросилась в зал и схватила телефонную трубку.

— Алло! Центральная? Парк Роу 3900...

— Алло! „Трубный Звук?“

— Раз! Два! Три!

Сэди подошла к кухонной двери и с удивлением заглянула в комнату. Свет газовой лампы ярко освещал лицо Иетты; оно было осунувшееся и встревоженное.

Гарри Мур, которому пришлось отвечать на вызов в редакции „Трубного Звука“, не узнал голоса Иетты, но узнал сигнал бедствия.

— О-о-о!—закричал он в ответ на него,—отложите всякое попечение и работайте на пользу социализма!

Пристальный взгляд Иетты превратился во взгляд, какой бывает у того, кто видит чудное виденье, напряженные складки, собравшиеся вокруг рта, разгладились и перешли в довольную улыбку.

— Спасибо!—сказала она и повесила трубку.

В конце концов, есть нечто более значительное, чем ее маленькие, личные горести—есть дело, для которого стоит работать, даже если у нее и сломаны крылья.

— Мне жаль, что я так заспалась,—сказала она, выходя в кухню.—Я провела без сна из-за этой стачки коробочников в Бруклине большую часть прошлой ночи. Смертельно устала. Сегодня вернулась домой около часу дня. Мне казалось, что я наверно проснусь во-время к ужину.

Сэди была обижена деловым тоном Иетты. Она знала, что не все обстоит благополучно. Несмотря на то, что Иетта спокойно улыбалась, Сэди была уверена, что случилось что-то особенное. Сама она обычно рассказывала о всех своих горестях чуть ли не всякому, кто только выражал желание ее слушать. Она была огорчена, что ей не удастся выразить свои симпатии, к чему она уже приготовилась. Но ей не хотелось, чтобы Иетта подумала, что она суется не в свое дело. Поэтому она заговорила о другом. Но когда после ужина Иетта стала надевать шляпку, Сэди не могла удержаться, чтобы не спросить, куда она идет.

— В редакцию „Трубного Звука". Заседание исполнительного комитета. Думаю, что вернусь рано. Эти занятия, затягивающиеся на всю ночь, меня убивают.

Иетта принимала мало участия в заседании комитета, но внимательно прислушивалась, чтобы составить себе понятие об остальных членах. Председатель, Рейнгардт, был рабочим-печатником; у него было некоторое знакомство хоть с этой стороной газетного дела. Он был спокойным, серьезным человеком, и уважение Иетты к нему все возрастало по мере того, как проходил вечер. Большую часть времени он казался сонным и безучастным, но как только поднимался какой-либо вопрос, представлявший действительную важность, он совершенно просыпался. Паульдинг, журналист-литератор, у которого Исидор провел свои каникулы, был самым энергичным человеком во всем комитете. Но, несмотря на свой глубокий интерес к газете, он был несколько упрям, слишком поспешно приходил в уныние от всякого пустяка, был нетерпелив по отношению к менее культурным рабочим и их, пожалуй, не вполне прямолинейным методам мышления и работы. Праздные споры, трата времени выводили его из себя. Иетта увидела, что если ей придется делать какую-нибудь реальную работу в этом составе комитета, то лишь в сотрудничестве с Рейнгардтом и Паульдингом против о тальных двух членов, которые были мертвым грузом—прямыми ничтожествами.

Когда обычная бесцветная работа была закончена и они дошли, в порядке делового заседания, до „обсуждения сметы",

Рейнгардт обратился к Иетте с вопросом, нет ли у нее каких-либо соображений.

— Всякое улучшение,— сказала она,— повидимому, зависит от поступления больших средств. А деньги могут поступать только благодаря увеличению тиража. Наше финансовое положение никогда не будет прочным, пока мы будем находиться в зависимости от пожертвований и дружеских займов. Сейчас наш тираж достиг 12.000 экземпляров, и мне думается, у нас всего столько и есть социалистов. Если нужно, чтобы наш тираж увеличился, то газета должна распространяться и между рабочими несоциалистами. Поэтому, мне кажется, что нам следует направить все наши силы на „Отдел Труда". Этот отдел сейчас очень слаб. Он переполнен всякими сведениями о союзах, но составлен так, что может заинтересовать лишь социалистов. Ему нужно придать совершенно иной характер. Пока он не сделается интересным для рабочих, которые еще не социалисты, он бесполезен для нас с точки зрения увеличения тиража.

Паульдинг наклонился вперед и порывисто перебил ее.

— Товарищ, все выступают с критикой. В газете слабы все отделы. Нам не нужно об этом говорить. Как можно улучшить постановку дела на те средства, которыми мы располагаем? Вот в чем вопрос.

— Совсем без денег нельзя ничего сделать. Но если бы мы могли выкроить жалованье еще для одного человека, то, мне кажется, нам удалось бы достигнуть большего улучшения. Кто нужен нам, так это человек, который может посвятить газете все свое время, кто-нибудь такой, у кого есть представление о ценности сообщаемых новостей, о современном журнализме, кто понимает рабочее движение и умеет писать о нем без неприятной социалистической предвзятости.

— А во сколько же,—завопил Паульдинг,—обойдется нам такой человек? Во всем городе не найдется и полдюжины людей с такими качествами. Сколько бы заплатил Карнер человеку, который мог бы довести тираж „Звезды" до его нынешних размеров при помощи „Отдела Труда?"

— Такой человек стоил бы свободы, которую мы могли бы ему предоставить. Никому из искренних людей не нравится работать для Карнера. Мы можем добыть себе такого за меньшую плату.

— Вот уж в этом я сомневаюсь,—сказал Паульдинг.—Мы сейчас выжимаем пот из своего штата сотрудников почище какой-нибудь потогонной мастерской. Взгляните на эту промозглую редакцию, где мы заставляем их работать. Мы переобременяем их работой, недоплачиваем им и почти каждую неделю просим их пожертвовать нам часть заработка.

— Они делают это охотно,—вставило одно из ничтожеств.—Великий Идеал...

— Ох! Разговоры об этом Великом Идеале выводят меня из терпения,—перебил Паульдинг.—Мы не найдем первоклассных людей на таких условиях. Я знаю двух действительно подходящих людей; они дают нам бесплатно пропасть материала. Они привязаны к Великому Идеалу столь же пламенно, как и всякий другой, но, кроме того, у них есть семьи. Они стали бы работать у нас с удовольствием, если бы мы могли дать им не воображаемое жалованье, а просто приличное. Мы не можем. Люди, которые у нас имеются, изумительны. Я снимаю шляпу, как только подумаю о них. Они преданы делу до последней степени. Весьма возможно, что они обладают высокими нравственными качествами,—голос его повысился и в нем зазвучали жалобы,—что они хорошо относятся к своим матерям и все такое. Но нам нечего закрывать глаза на тот факт, что они не журналисты. Браун приобрел некоторый опыт, работая в „Vorwärts“. Но в редакции нет ни единого человека, который когда-либо видел внутреннюю жизнь современной столичной ежедневной газеты.

— Что мы можем предложить? Двадцать пять долларов в неделю—самое бо́льшее! Это столько, сколько получает Браун иной раз. Это пустяк. Сто долларов в месяц нашему главному редактору! Вот в этом вся наша беда. Что мы...

— Вы могли бы предложить двадцать пять долларов в неделю?—прервала Иетта его отчаянную речь.

— Это было бы трудно,—сказал Рейнгардт.

— Конечно, могли бы хорошему человеку,—возразил ему Паульдинг.—Я мог бы гарантировать эту сумму лично. У меня куча друзей, интересующихся „Трубным Звуком“, но чувствующих полнейшее отвращение к его неопрятной внешности. В течение целых недель мне не встречалось в нем ничего, что произвело бы на меня сильное впечатление, до появления этой вашей статьи о коробочниках. Только подумайте! Социалистическая газета, которая не боится говорить правду, но не имеет возможности нанять мозги, чтобы это делать! Да, если бы у нас была в газете живая струя, то я мог бы найти десять человек, которые поручились бы за взносы в размере десяти долларов в месяц. Но стоит ли об этом говорить? Такой человек, который нам нужен, может заработать пятьдесят долларов в неделю и больше. Так это у нас и везде. Нам нужны умелые люди во всех отделах, но мы не имеем возможности платить им по их рыночной стоимости. Если бы мы получили надлежащего человека для заведывания приемом объявлений, а нам как раз нужен такой человек, то он обошелся бы нам в такую же сумму, какую платят за это в других более богатых газетах. Надлежащий человек для заведывания нашим отделом выпуска стоил бы от десяти до двенадцати тысяч, иными словами...

— Я ничего не знаю о деловой стороне, — снова прервала его Иетта,—но знакома с целой кучей репортеров. Если бы вы уполномочили меня предложить двадцать пять долларов в неделю, то я посмотрела бы, не удастся ли мне найти кого-нибудь.

— Никто не имеет права работать в газете, не состоя членом партии,—произнесло другое ничтожество.—Мы не можем просить товарищей собирать деньги для поддержки какого-нибудь прогоревшего капиталиста.

— Какой смысл рассуждать об этом?—спросил Паульдинг Иетту, не обращая внимания на ничтожество.—Хватит ли у вас духа обратиться к другу с просьбой взять на себя такую работу? Вы сами не взялись бы за нее!

Иетта внезапно вспомнила, что она, вероятно, осталась без работы.

— Наоборот,—сказала она,—если бы я имела надлежащую тренировку, то набросилась бы на такую работу.

— Прекрасно, — сказал Рейнгардт, неожиданно поднимаясь с места.—Мне кажется, вы подходите всего ближе к тому, кто нам нужен, чем кто-либо другой, которого мы могли бы найти. Если Паульдинг сможет собирать по двадцать пять долларов в неделю, примете вы наше предложение?

— Да,—подтвердил Паульдинг,—деньги я достану. Согласитесь ли вы на наше предложение?

— У меня нет тренировки,—засмеялась Иетта, не принимая предложения всерьез.—У меня всего лишь шестимесячный стаж газетной работы, и то я работала в очень узкой области—в отделе „Для читательниц". Нам нужен кто-нибудь с более общим и более продолжительным опытом.

— Это не ответ,—сказал Рейнгардт, снова бухаясь в кресло,—мы не имеем возможности раздобыть чудо, о котором вы говорите. Даже вы при своей ограниченной опытности можете заработать больше, где угодно.

— Конечно, вы не примете этого предложения, — насмешливо заметил Паульдинг.—Не думайте, что я вас порицаю. Я и сам не принял бы его.

— Взвесив все еще раз,—сказала Иетта,—я принимаю ваше предложение.

Сложный психологический процесс заставил Иетту так неожиданно связать свою судьбу с судьбой социалистической газеты, ведущей борьбу. Она не часто действовала под влиянием такого порыва.

Наиболее сильным, как ей казалось, побуждением было нахлынувшее на нее неожиданно отвращение к прежней жизни. Она эмигрировала духовно. Судьба грубо столкнула ее с пути прогресса, совершающегося в порядке и олицетворяемого большим кожаным креслом Вальтера. Ей казалось несообразным продолжать прежнюю работу в Лиге, являясь туда из своей новой квартиры на площади Уэверли. Все должно измениться.

Но в Иетте был равным образом силен и инстинкт самосохранения, более неуловимый и менее легко сознаваемый. В стре-

мительном водовороте редакционной работы в конторе „Трубного Звука“ ей, вероятно, не так будет напоминать все о Вальтере. Знакомясь с деталями новой работы, она будет иметь меньше времени и сил для разрушительной работы над оплакиванием.

Еще более глубоким было подсознательное стремление найти себе помощь. Здесь она может почерпнуть силу, которая ей необходима, чтобы итти вперед. Она почерпнула ее по телефонной проволоке, когда теряла равновесие на самом краю отчаяния. Ей хотелось всегда быть в соприкосновении с этой непреоборимой маленькой кучкой бойцов. Она смотрела на них сверху вниз—пожалуй, относилась к ним с пренебрежением—благодаря ложной точке зрения, усвоенной ею в аристократических кварталах города. Они казались ей какими-то неотесанными. Но в минуту самой тяжелой нужды она обратилась к ним. „Воспитание“ и „благородство происхождения“ не оказали ей никакой помощи. Рукопожатие ее народа дало ей силу выкарабкаться из бездны отчаяния.

Как малое дитя, в мозгу которого пока еще нет ясного представления об „опасности“, во время испуга цепляется за руку матери, так и Иетта—зная, что ее трудная минута не прошла, боясь будущего—стремилась ближе держаться к охраняющему ее энтузиазму, отважной вере, которые оказались единственными ее помощниками—единственной ее надеждой на спасение.

Но лишь спустя много месяцев Иетта очнулась для жизненного эмоционального отношения к своей новой работе. Более глубокая часть ее личности была подавлена тем крушением, которое произошло с ее романом. Она продолжала свой жизненный путь, как первоклассная живая машина, как проницательный прямолинейный интеллект. Но для нее все это казалось малозначащим. Все для нее казалось не имеющим никакого значения. Бывали минуты, когда она проклинала судьбу за то, что она послала Вальтера спасти ее от Гарри Клейна. То все, наверное, было бы не таким болезненным и кончилось бы гораздо скорее. Годы, проведенные ею в учении, казалось, только увеличили ее способность к страданию,

Каждый день нес с собой свою злобу. Даже сама неопределенность существования „Трубного Звука“ подходила к настроению Иетты. Хрупкая постройка могла рухнуть каждую минуту. Иетта старалась думать о будущем как можно меньше. Смогу ли я прожить еще один день, не сломившись? Сможем ли мы выпустить еще один номер? Эти два вопроса казались ей почти одинаковыми. Обе они с газетой отчаянно боролись, чтобы продолжать свой путь, пока не почувствуют под ногами более твердую почву.

ГЛАВА XXVIII.

Иетта увлекается.

Если сама Иетта и не считала, что ее работа имеет большое значение, то и Исидор, и Рейнгардт, и Паульдинг, и все те, кто принимал близко к сердцу благополучие „Трубного Звука“, думали об этом совершенно иначе. Мало-по-малу она преобразовала „Отдел Труда“ в живую силу в мире трэд-юнионов.

Организованный труд бьется в области демократии над той же самой задачей, которая встает и перед нашими более широкими кругами общества. „Как должны держать себя избранные делегаты, чтобы представлять своих избирателей“? Рядовые рабочие не могут посещать все собрания своих центральных организаций, как и мы не имеем возможности тратить все свое время на посещение заседаний Конгресса. Господа боссы, как и политические плуты, любят темноту. Иетта, по примеру прогрессивных журналов, стала освещать светом гласности еженедельные собрания Центрального Федеративного Союза. В понедельничном номере, выходящем днем, она начала помещать в „Отделе Труда“ дословный отчет о воскресном заседании. Среди делегатов в Центральном Федеративном Союзе было много бесстрашных честных людей, которые находились в такой же оппозиции к банде политиканов, как какой-нибудь мятежный сенатор в Вашингтоне. Иетта знала их по своей старой работе и завербовала в своего рода неофициальный Клуб Доброго Правительства. Каждый день она старалась поместить какую-

нибудь заметку, относящуюся к этому чисто политическому собранию. Все больше и больше „примазавшихся“ стало открещиваться от „Трубного Звука“ и все большее и большее число их оппонентов начало уповать на него, как на своего крупнейшего союзника. Процентное отношение „нечестивцев“ и „верных“ среди членов трэд-юнионов почти такое же, как в любой церковной общине. Тираж возрастал среди честных рабочих,— а их было громадное большинство.

Влияние Иетты не ограничивалось одним ее отделом. Опыт, приобретенный ею в Лиге Женского Рабочего Союза, помог ей стать экспертом по выпрашиванию денег; она все больше и больше помогала Исидору, освобождая его от части тяжелого бремени: от собирания денег. У него оставалось поэтому больше времени и сил для отдела, который он вел. Он стал прислушиваться более послушно к ее указаниям относительно улучшения стиля его передовиц—она рекомендовала ему придать им больше сочности,—чем это он делал, когда Паульдинг пытался притти ему на помощь. Произошло заметное улучшение. Во время своего обучения под руководством мистера Брэса, Иетта заразилась от него каким-то „чувством отделки, законченности“. Гарри Мур часто прибегал к ее совету. С течением времени „Трубный Звук“ начал приобретать почти привлекательный вид.

Однажды Иетта встретилась на улице со своим старым другом, Кованом, редактором спортивного отдела „Звезды“.

— Я слышал, вы работаете в этой социалистической газете,—сказал он.—Ну, как идет работа?

— Мне она нравится больше, чем в „Звезде“—отвечала она.

— Я просмотрел несколько номеров,—сказал он. — Вы, господа, не обращаете должного внимания на местную хронику. Почему вы не сорвали покрова тайны со скандальной истории с подземной железной дорогой? Я не социалист. Но мне больно смотреть, что такие хорошие истории пропадают зря.

Иетта, пожалуй, со скукой, начала рассказывать длинную историю об ограниченности их средств. Она привыкла передавать ее без запинки, словно выученный урок, как и Исидор и Паульдинг,

— Весьма плачевно,—сказал Кован, прощаясь с нею.—Я не предполагал, что вы находитесь в столь стесненных обстоятельствах. Но мне ужасно больно смотреть, как некоторые такие с пылу горячие истории лежат под спудом.

Спустя два-три дня, Иетта получила длинную рукопись, без подписи, напечатанную на машинке. Это была прекрасно написанная статья о заседании Комиссии Общественных Служб. Один оратор сделал заявление, могущее, повидимому, послужить ключом к общему положению дел, при котором город делал отчаянные усилия, чтобы добиться приличной организации транспорта. Еще несколько вопросов и мог бы обнаружиться тот факт— о существовании его в общем догадывались,—что мешает осуществлению плана некий весьма известный банкир. Председатель неожиданно прервал заседание. Когда оно возобновилось, то оказалось, что выступавший оратор—единственный, кто выражал когда-либо хоть какую-нибудь готовность припомнить некоторые важные обстоятельства — выехал из города. Затем следовал заимствованный из официальных судебных протоколов список всех дел, в которых председатель Комиссии выступал в качестве поверенного со стороны банкира, бывшего под подозрением. Статья эта была совершенно неуязвима, в ней едва ли не каждое слово опиралось на официальный протокол; при каждой ссылке указывалась глава и параграф. Иетта позвонила Кована и спросила его о статье. Он с таким жаром стал отрицать всякую свою связь с заметкой, что Иетта решила, что послал ее, конечно, он. Из статьи этой была сделана великолепная передовица. Широкая пресса провозгласила ее „злонамеренной и дерзкой ложью“—что послужило хорошей рекламой для „Трубного Звука“. Вслед за этой статьей последовали и еще новые анонимные заметки. Они привлекли новый класс читателей. Тираж увеличивался. Постепенно и Иетта и „Трубный Звук“ почувствовали под ногами более прочную почву.

Несмотря на напряженную работу в „Трубном Звуке“, Иетта не утратила интереса к своему союзу работниц мастерских и не забросила его. Она была не одинока в своем честолюбивом желании увидеть все отрасли производства готового платья объеди-

ненными в мощную федерацию. Было много социалистов в различных союзах, было много и таких, кто, не состоя членом партии, подпадал под влияние пропаганды Промышленных Рабочих Мира. По мере того, как шли месяцы, стремление к „Единому Большому Союзу“ все увеличивалось. Наконец, к тому времени, когда Иетта проработала в „Трубном Звуке“ около года, было созвано совещание всех отраслей производства готового платья для обсуждения этого вопроса.

Победа партии Иетты ни в коем случае не была обеспечена. У каждого союза были свои честолюбивые замыслы, которыми никому не хотелось пожертвовать ради общего блага. Во всех союзах были небольшие группы „чиновников“ — некоторые из них боялись лишиться жалованья при осуществлении предположенного нового устройства, еще больше было таких, которые опасались утратить свое влияние. Член союза, избранный своими сотоварищами в исполнительный комитет, столь же кичится этим, как студент университета, состоящий в совете старшин своего клуба. Член союза поддается точно такому же искушению прибегнуть к мелким интригам, чтобы удержать за собой свое место. Чиновничество всегда относится с недоверием к нововведениям, оно всегда консервативно. Рабочие удивительно напоминают нас, грешных,—особенно в таких ничтожных личных уколах самолюбия и мелочности.

Кроме того, нужно было преодолеть и враждебное отношение Американской Федерации Труда. Внутри этой крупной организации с каждым годом все с большим ожесточением возрастала борьба между индустриализмом и старомодным ремесленным объединением. Против правления Самуэля Гомперса и его последователей нарастала яростная оппозиция. Никто не отрицал того, что эта группа оказала большую услугу делу трудового движения—десять, пятнадцать, двадцать лет тому назад. Но более молодые члены союза—особенно те, кто, главным образом, чувствовал тяготение к социализму или „П. Р. М.“ — заявляли, что эти „лидеры“ состарились, что они утратили всякую связь с переживаемыми событиями. Естественно, эти лидеры не взирали благосклонным оком на распространение таких идей.

Иетта и друзья ее сразу увидели, что единственная их надежда на успех заключается в обращении к рядовым членам союзов. Поэтому в течение первых дней съезда, пока официальные делегаты провозглашали принципы промышленного юнионизма, Иетта выступала с речами на заводских митингах в полдень, затем два-три раза каждый вечер и посвящала почти весь „Отдел Труда“ в „Трубном Звуке“ той же самой теме. В этом секрет демократической политики. Если можно побудить народные массы следить и наблюдать за своими представителями, то демократия в безопасности. Массы рабочих, занятых производством готового платья, верили в федерацию. Они добились того, что пожелания их стали слышны даже в зале съезда,—а ведь редко бывает, чтобы воля народа подчиняла своему контролю такие собрания—и когда было произведено решительное голосование, то резолюция промышленных юнионистов прошла при таком громадном большинстве голосов, которого никто не ожидал.

Для того, чтобы добиться этого, Иетта работала почти ровно пять лет. Сперва она и смеялась и плакала. Она безумно была рада победе, но вместе с тем чувствовала себя страшно усталой. Заседание закончилось не раньше часа ночи. Последняя неделя прошла в беспрерывной лихорадочной работе. Ей казалось, что стоит только лечь спать, как она проспит чуть ли не целый месяц. Нужно было обязательно составить статью для завтрашнего номера „Трубного Звука“, а Исидор должен был написать передовицу о победе. Она решила пойти в редакцию, отстукать на машинке „черновой набросок“, оставить Исидору записку и потом со спокойной совестью пойти домой спать.

Лифт в этот час уже не действовал, и Иетте пришлось в темноте взбираться в шестой этаж на чердак „Трубного Звука“. В пустынной конторе есть что-то пугающее и заколдованное. Лихорадочная деятельность, царящая в ней днем, навещает ее словно какой-то призрак и ночью, даже в самые тихие часы. Хотя Иетта и знала, что комнаты пусты, тем не менее у нее было отчетливое ощущение, что кто-то там есть. Она не боялась темноты, но почувствовала большое облегчение, когда после долгих странствований ощупью нашла дорогу к своему столу

и зажгла свет. Электрическая лампочка висела низко, и зеленый стеклянный абажур так направлял ее свет, что она ярко освещала стол и пишущую машинку, но вся остальная комната была погружена в мрак.

Лишь только Иетта вставила в машинку лист бумаги, ощущение какой-то заколдованности покинуло ее, и скоро порыв вдохновения заставил ее позабыть о своей усталости. Целый час без перерыва она выстукивала на машинке. Чувство усталости овладело ею снова только тогда, когда она закончила свой „набросок". Ей нужно было просмотреть статью, чтобы сделать поправки. Еще ей нужно было написать Исидору записку о съезде и сказать, что она идет домой и ляжет спать на целую неделю. Она энергично потянулась, чтобы отогнать от себя дремоту, но как-то помимо воли руки ее опустились на стол, голова на руки, и она неожиданно забылась глубоким сном.

Обыкновенно Исидор являлся в редакцию раньше всех сотрудников. Его „восьмичасовой" рабочий день начинался в четыре утра и заканчивался в полдень. Утром по дороге в редакцию он запасался выпусками других газет, просматривал известия, которые ему были нужны для обработки их и помещения в своем дневном издании, и заканчивал ежедневную редакционную статью до того, как являлись остальные служащие редакции. У него была теория, что если вечером есть дело—заседание комитета или речь, которую нужно произнести, то необходимо поспать четыре часа днем. Если же у него была работа днем, то он ложился спать в девятом часу вечера. Таким образом теоретически он располагал каждый день семью часами сна. Но так часто бывало, что для него находилось занятие и днем и вечером, что редкую неделю он спал в среднем больше пяти часов в день.

Обычно, приходя в редакцию, он не заставал там никого. Но в это утро в задней половине чердака—„наборной"—горел свет. Один из рабочих, работающих на линотипе—он был в то же время и механиком,—пришел за несколько минут до Исидора, чтобы исправить одну из машин, действовавшую плохо, и тем самым сэкономить расходы по вызову специалиста. Тут было

явное нарушение постановлений союза, но этот рабочий принадлежал к партии.

— Товарищ,—сказал он, увидев Брауна,—это преступление. Линотип совершенно износился. Я его чиню, так что он пойдет снова, но работать будет чертовски медленно. Да и через два-три дня опять испортится. Следовало бы сколотить деньжонок. Содержание машины в порядке обойдется нам дороже процентов со стоимости новой машины. Это неэкономно.

Исидор сказал, что он переговорит об этом с исполнительным комитетом. Он стал пробираться между погруженными в тень машинами в переднюю часть чердака, из вежливости называвшуюся „Кабинетом Редактора". Никто из тех, кто сам не испытал расточительности бедности, не может представить себе, в какое бешенство можно притти от мысли, что приходится тратить деньги лишь потому, что ты недостаточно богат, чтобы жить экономно. Исидор знал, что весьма мало надежды на покупку нового линотипа. Он повернул за угол большого книжного шкафа и вдруг увидел свет, горевший над столом Иетты; он увидел ее лежавшую, вытянувшись, без движения, головой на работе. Он никогда не видел ее спящей. Сердце у него упало от страха при мысли, что она, быть может, умерла. Он бросился к ней и назвал ее по имени. В полутьме Исидор опрокинул стул, грохнувшийся на пол с ужасным шумом.

Внезапно потревоженная в своем глубоком сне, Иетта вскочила на ноги. Ударившись головой о лампочку, повешенную низко, она разбила стеклянный абажур; от сотрясения хрупкая нить лампочки сломалась. В то мгновение, когда свет еще не погас, единственное, в чем Иетта успела разобраться, это что ее окружает какая-то незнакомая обстановка. Никогда еще в жизни она не была так перепугана. Когда ей после передавали, что она страшно вскрикнула, она едва могла этому поверить. Она не могла припомнить, чтобы это было. Первое, что она поняла, это, что чьи-то руки ее обнимают, и голос Исидора говорит—не совсем правильно грамматически, но весьма убедительно—„Это мы".

После отвратительного, страшного ночного кошмара знакомый звук его голоса, его сильные объятия подействовали на

нее чрезвычайно успокоительно. Потом Иетта говорила себе, что, должно быть, она была почти в полуобморочном состоянии, потому что Исидор поцеловал ее, а она не сделала ни малейшего движения—ей не пришла даже в голову мысль о сопротивлении. Во-первых, в темноте, руки его пробрались к ее шее и лицу; затем она почувствовала его горячее, порывистое дыхание, услышала, что он шепчет какие-то слова, смысл которых до нее не доходил, а потом губы его прижались к ее щеке и устам. Она никогда не могла сказать вполне уверенно, поцеловала ли она его тоже. Было это или не было, но она знала, что она была очень близка к тому, чтобы это сделать.

Но минута забвения была нарушена рабочим, подбежавшим к ним и спрашивавшим, что тут за шум. При мысли, что здесь посторонний зритель, Иетта вырвалась из объятий Исидора как раз во-время. Рабочий повернул выключатель. Исидор сделал попытку рассмеяться.

— Мы перепугали друг друга почти до смерти,—стал объяснять он.—Товарищ Раевская заснула. Увидев ее, я перепугался и опрокинул стул. От этого она в испуге проснулась. Она так быстро вскочила, что разбила лампу.

Рабочий был хороший малый. Он вывинтил лампочку из другого патрона, заменил ею ту, которую разбила Иетта, и скромно пошел продолжать свою работу.

Исидор был готов, повидимому, подойти к Иетте, и она отступила поэтому за спинку кресла.

— Как это глупо было с моей стороны заснуть. Мы одержали верх на съезде. Я пришла сюда, чтобы написать об этом. Я должна была только что начать перечитывать статью, как вдруг уснула. Вам придется на основании этого материала составить передовицу. Сейчас я кончу.

Она принялась за работу.

Исидор почувствовал, что ему довольно трудно привести свои мысли в порядок. Но движение, которое она сделала, чтобы отойти от него, показалось ему какой-то пощечиной. Оно несколько привело его в себя—но только несколько. Он целовал Иетту. Все эти годы он продолжал любить ее. Вдруг—совер-

шенно неожиданно — перед ним отверзлись небеса. Он держал ее в своих объятиях, он целовал ее.

Ему пришла в голову глупая мысль, захотелось взглянуть на свои губы, которые после столь долгого ожидания достигли, наконец, цели своих желаний. Так как в редакции не было зеркала, то эта мысль была явно невыполнимой. Но рука — ведь в крайнем случае он мог посмотреть и на нее—она тоже ласкала любимое личико. Рука его была запачкана кровью. На мгновение он опешил. Иетта с пылающими щеками склонилась над своей работой. Маленькая струйка крови сбегала по ее шее, куда ее ранил кусок разбитого абажура, когда посыпались осколки.

— Иетта, Иетта!—вскрикнул он,—вы ранены!

— Что?—сказала она с изумлением. Она приготовилась дать ему уничтожающий ответ в случае, если он начнет снова приставать со своей любовью. Нахлынувшие на нее ощущения были слишком бурны, чтобы дать ей возможность обратить внимание на маленький порез.

— Взгляните, — сказал он, показывая ей руку. — Разбитое стекло. У вас на шее. Дайте мне посмотреть.

Пораженная видом крови, она наклонила голову для исследования. Но представление Исидора об оказании помощи при таких ранениях было скорее сентиментальным, чем научным.

— О, не надо. Пожалуйста!—запротестовала она, изнемогая от стыда. Она пыталась подняться на ноги, но как-то позабыла приготовленный уничтожающий ответ. — Ничего нет серьезного. Совсем не болит. Пожалуйста, дайте мне закончить работу.

Исидор ретировался под ее сокрушенным взором.

— Вытрите кровь с губ,—сурово приказала она.

Затем она снова села, совершенно сконфуженная. То, что она сказала, казалось таким глупым, бессодержательным. Она сама во всем виновата, несправедливо говорила она себе. Если бы только она в эту первую минуту овладела собой, вместо того, чтобы так по-детски испугаться! Она чувствовала себя униженной. От нее потребовалось величайшее усилие воли, чтобы сосредоточить свое внимание на работницах мастерских готового

платья и на статье, которую нужно было исправить. Ей было бы легче, если бы она слышала скрип его пера или шорох перелистываемых газет. Со стороны его стола не доносилось ни звука. Она не смела оглянуться.

Наконец, работа была закончена. Иетта надела пальто, шляпку, закутала шею боа и потом уже решилась взглянуть на Исидора. Он глубоко сидел в кресле, следя за ней взором, полным страсти. Увидя это, Иетта прикусила губу и смущенно заговорила.

— Исид... Товарищ, вот мой набросок. Надеюсь, вы сумеете сделать из него передовицу. Это ужасно важно для Организованного Труда. Этот съезд меня добил. Я смертельно устала. Завтра — я хотела сказать сегодня — я беру отпуск, а потом спать.

Исидор не отвечал. Он лишь смотрел на нее, с немой мольбой во взоре, а она делала вид, что не хочет понять этой мольбы.

— Пока до свидания,—сказала она.

Она уже почти скрылась из глаз его, когда он заговорил.

— Вы еще вернетесь? Когда отдохнете?

— Ну, да,—ответила она.—Конечно.

Прошло, по крайней мере, полчаса, прежде чем Исидор пришел в себя и принялся за работу. Но передовая статья, которую он написал об Объединенных отраслях производства готового платья, вышла заслуживающей полного внимания.

Иетта возвращалась домой на заре. Она чувствовала себя страшно усталой и старалась не думать. Но она не в силах была избавиться от настойчивого вопроса: — Действительно ли я его поцеловала?—Перед тем, как потушить газ и лечь спать, она посмотрела на себя в зеркало.—Действительно ли я его поцеловала?—спросила она свое отражение. Она не получила ответа и, как бы раздраженная этим молчанием, сказала с вызывающим видом:—Если я поцеловала его, то очень жалею. Я не люблю его.—Это ее несколько успокоило, и она сразу уснула.

Но, проснувшись после полудня, она почувствовала себя еще хуже, чем прежде, из-за этого ночного приключения.

Самым энергичным образом она повторила себе, что любит Вальтера. Любовь к нему была для нее всепоглощающей страстью. Нет. Не „была“, а есть. Это измена думать о том, что она „была“. Она говорила Вальтеру, что любовь не знает времен, что в ней „что-то вечное: всегда и ныне и вовеки веков“. Романтика все еще подчиняла себе все ее думы. Книги и поэмы говорили, что может быть только единая истинная любовь. Она была уверена, что любовь ее к Вальтеру истинна — отсюда строго логически вытекало, что она еще любит его и всегда будет любить и никогда не сможет полюбить никого другого.

Хотя она и на самом деле верила в это—хотела в это верить, чувствовала, что жизнь была бы невозможна, будь она основана на какой-нибудь другой гипотезе — она начала сознавать, что, как бы то ни было, романтическое объяснение жизни не вполне ее объясняет. Для поэтов она удивительно проста— или вы любите или не любите. Это грубейший вид дуализма. Все или черное или белое. Серые тона не упоминаются.

Но хотя она и не любит Исидора, как любит Вальтера, он все же относится, конечно, к совершенно иной категории, чем все другие мужчины, которых она не любит. Например, сотрудники газеты. Она с ними в самых лучших приятельских отношениях; она относится к ним с уважением, восхищается ими, они ей нравятся, но она их не любит. Но Исидор совсем другое.

Жадный взор его глаз преследовал ее. Воспоминание об его внезапной, неожиданной страсти—грубая порывистость его ласк, бурный прилив страстной нежности — смущало и огорчало ее. Она никогда не относилась к нему прежде вполне серьезно. Она умышленно, но бессознательно отказывалась взглянуть факту прямо в лицо. Очень трудно относиться с симпатией и справедливостью к любви, которой мы не отвечаем. Ей не приходило в голову, что любовь Исидора доставляла ему столько же мучений, как ее любовь к Вальтеру. Поразившее ее объятие в темной редакции открыло ей глаза, и она поняла, что им овладела истинная страсть. Что это за чепуха! Исидор любит ее. Она любит Вальтера. Вальтер любит Мабель!

Солнце ослепительно сияло, и Иетта, обещавшая устроить себе праздник, прошлась до Вашингтон-Сквера и села в омнибус, шедший на Риверсайд-Драйв. Термометр стоял на нуле, солнце заливало ярким светом снежную пелену, которая придавала необычайную красоту берегу Джерсея. Иетта расхаживала взад и вперед по набережной, пока заходящее солнце не обагрило запада и не заиграло новыми красками. Ей не часто удавалось устраивать себе такие выходы. Бодрящий воздух действовал на нее возбуждающе. Она чувствовала себя счастливой, испытывая чистую радость при мысли, что она жива, что она не сидит дома, чего она не переживала с тех пор, как Вальтер уехал. Правда, ее душевное настроение было окрашено меланхолией. Иетте было жалко Исидора. Но не так жалко, как она обыкновенно жалела самое себя. Как бы то ни было, она чувствовала меньшую горечь при думах об ужасном одиночестве.

Возвращаясь в сумерках в город, она заметила объявление о концертах русского симфонического оркестра. В программе были указаны произведения Чайковского. У Иетты была кой-какая заброшенная работа, которую ей нужно было закончить. У нее едва ли было в кармане достаточно денег, чтобы купить себе билет—и существовала целая тысяча разных вещей, на которые она должна была их истратить. Но на нее налетел неожиданный порыв отчаянного мотовства; она выпрыгнула из омнибуса, слегка перекусила в дешевом ресторане и отправилась на концерт.

Поддавшись чарам музыки, она забыла о всех своих заботах. Ум ее погрузился в сферы подсознательности. Она более не думала, она чувствовала.

Музыка может быть наиболее красочным из всех родов искусства—или наиболее интеллектуальным. Ученый музыкант, которому известно, что значит „тема“ и „развитие“, который может без запинки привести все аргументы за или против „программной“ музыки, кто расскажет вам без предварительной подготовки, в котором году написана эта симфония, есть ли она произведение „первого периода“ деятельности композитора или это зрелый труд, не может избежать того, чтобы не привести

целый ряд чисто интеллектуальных соображений—исторических и технических—для оценки музыки. Но для такого наивного слушателя, как Иетта, музыка является чисто красочной. Она вызывает единственно эмоции. Она никогда не бывает интересной—она или доставляет или не доставляет удовольствия. Иетта провела весь концерт в грезах—половину его она просидела закрыв глаза—и нашла его удивительным. В жизни ее было слишком мало случаев для игры чувств. Каждый час, который она проводила в бодрствовании, она должна была думать. Чайковский ласково положил свою руку на усталые глаза ее интеллекта и открыл ее сердцу красоты.

Когда Иетта шла на следующее утро в редакцию, то она с каким-то беспокойством думала о встрече с Исидором. Как обычно в таких делах, она решила смело подойти к вопросу.

— С добрым утром,—сказала она, прямо проходя к своему письменному столу.—Я сожалею о том, что произошло в прошлую ночь. Я была испугана и растерялась.

Исидор знал, что она была захвачена врасплох—что поцелуй не принадлежал ему по праву.

— Если есть какая-нибудь необходимость в извинениях,—сказал он,—я готов их принести. Я был так же испуган и растерян, как и вы. Мне жаль, если это вам хоть сколько-нибудь неприятно.

— Забудем об этом,—сказала Иетта.

У Исидора был такой вид, словно он не совсем уверен на этот счет.

Они снова вошли в привычную колею товарищеских отношений. Ни один из них не заговаривал о вспышке. Никто из сотрудников не замечал, чтобы в их отношениях произошла какая-нибудь перемена.

Но перемена была. Исидор ни на минуту не мог забыть об этом чудесном моменте; он больше не мог оставаться прежним человеком. А Иетта—когда с течением времени воспоминание об этом утратило элемент волнения, когда она перестала бояться, что Исидор начнет снова—увидела, что и она переменилась. Тот факт, что Исидор ее страстно любит, занял определенное

место в ее сознании. Она не могла больше его игнорировать, как делала это раньше. Это, пожалуй, сделало его более интересным. Она ни единой минуты не думала выйти за него замуж—ведь она любила Вальтера. Но ей было жаль Исидора. У них появилось нечто общее им обоим—терзания от безнадежной любви.

Ей казалось жестоко несправедливым, что она никак не может выразить ему свою симпатию, не поощряя его любви—не подавая ему „надежды". Она знала, когда он уставал, когда у него был упадок духа; ей хотелось бы подбодрить его. Она иной раз пришивала пуговицу Гарри Смиту. Она сурово распоряжалась Левиным. Они оба и вполовину не нравились ей так, как Исидор, но она не смела показывать ему ни одного из таких женских знаков внимания. Ей казалось глупым и досадным, что именно потому, что Исидор ее любит, ей приходится относиться к нему особенно несправедливо и недружелюбно.

Паульдинг собирал деньги для уплаты Иетте жалованья среди своих личных друзей, и его чек присылался ей непосредственно, не проходя через общую кассу. Работа, которую она исполняла, заставляла ее проводить большую часть времени вне редакции, и поэтому лишь на второй год службы ей пришлось случайно быть в одно из субботних утр за письменным столом. Около половины первого Гарри Мур вошел в комнату из наборной, где он был занят окончательной работой перед печатанием. Он откинулся на спинку кресла и устало потянулся.

— Уже пора появиться и „доброму гению",—сказал он.

— Нынешнюю неделю „он" почти с пустыми руками,—пробурчал пессимист Левин.

Спустя несколько минут, в комнату суетливо вбежала Мэри Амс, казначей. У нее было круглое и непривлекательное лицо; она была низенького роста и когда-то полна, но платье висело на ней свободно, словно она страшно похудела.

— Нынче плохая неделя, товарищи,—весело заявила она.—Я думала, мне не придется сегодня совсем производить выплату. Всего около шести долларов. Но с десятичасовой почтой поступило еще двадцать. Исидор зашел к миссис Вэнрайт и

перехватил у нее пятьдесят, да третья секция только что прислала одиннадцать по специальной подписке. Итого у меня для вас семьдесят пять долларов. Кто получает первый?

— У Локке больна жена,—уныло сказал Левин.

— Вот двадцать долларов, правильно?—сказала Мэри, отсчитывая кредитки.—И вы знаете, что Исидор целые месяцы не получает жалованья полностью. Мы задолжали ему сто пятьдесят долларов.

— Ему двадцать пять,—сказала стенографистка.—Это для него будет сюрпризом.

— Сюрпризом? — сказал Левин мрачно. — Да его хватит удар!

— Сорок пять уходит,—сказала Мэри.—Остается тридцать.

— Сколько вам нужно, Нелли?—спросил Мур стенографистку.

— Я должна за комнату почти за целый месяц. Мои финансы в плачевном состоянии, но я могла бы обернуться с десятью.

— О, скажем, пятнадцать, — сказал Гарри. — Барышням всегда нужны деньги на тряпки и на сливочное мороженое.

— Тогда для нас с тобой, Гарри, остается пятнадцать,— простонал Левин. Вот это я называю собачьей жизнью!

— Ну, не падай духом.—Мур сунул в карман пятнадцать долларов.—Пойдем к Шерри завтракать. Я плачу.

Подхватив все еще ворчащего Левина под руку, он вышел с ним из редакции.

Мэри Амс тяжело опустилась в кресло и заплакала.

— Если бы я не была таким уродом,—сказала она,—то просто расцеловала бы этих мальчиков.

Она смахнула с глаз слезы и порывисто пододвинула свое кресло к письменному столу Иетты.

— Знаю, вы думаете, что я сентиментальная старая толстуха, раз я так плачу. Вы всегда так спокойны. Но я не могу удержаться. Вы, вероятно, предполагаете, что я прихожу в отчаяние от того, что мне приходится целую неделю повсюду бегать, выпрашивая денег, а каждую субботу утром являться

сюда и докладывать мальчикам, что я потерпела неудачу—что у меня нехватает средств, чтобы заплатить им жалованье. Но я плачу не от отчаяния, а только от радости. У меня нехватило бы сил переносить это неделю за неделей, если бы я не чувствовала, что по субботам я прихожу сюда как добрый гений. Ах, эти мальчики—Левин всегда ворчит, а Гарри Мур подшучивает. И... я знаю... иногда им почти нечего есть. А если бы вы видели нору, в которой они ночуют.

Губы у нее снова начали подергиваться, и целые потоки слез заструились по щекам.

— Мне хотелось бы перестать плакать. Но ведь как чудесно работать с такими людьми. Я служила счетоводом в десятке разных контор—все там эгоисты, друг друга ненавидят и стараются выдвинуться. Я видела так много таких людей. Мне трудно поверить, что бывают другие люди.

— Я мало знаю о социализме,—продолжала она.—Я не получила такого образования, как вы, молодежь; мне не приходилось много читать. Вести целыми днями бухгалтерские книги—только на это и годятся мои глаза. Но я вполне понимаю, что ваше дело—правое. Если бы этого не было, то никогда не могло бы существовать такой газеты. Как вы можете сидеть здесь так спокойно и хладнокровно и не плакать? Ведь это одно из величайших в мире дел, и мы являемся в нем участниками.

Иетта обняла пожилую женщину.

— Я тоже люблю его,—сказала она.—Но оно не вызывает у меня слез. Оно как-то слишком уже велико для меня. Так мало значит, являюсь ли я в нем участницей или нет. Оно продолжалось бы совершенно так же, если бы меня здесь не было. Оно не мое. Я могла бы плакать над моим ребенком—если бы он был моим. Но не над этим...

Она была поражена, почувствовав, что слезы противоречат ее словам. Раз начав плакать, трудно перестать. Ей показалось страшно грустным, что у молодой двадцатитрехлетней женщины не нашлось никаких других, более важных для нее лично причин, чтобы проливать слезы.

ГЛАВА XXIX.

Тихая гавань Вальтера.

Пока все это происходило с Иеттой, Вальтер с легкостью—почти с удовольствием—входил в привычную колею университетской жизни. Он был призван быть скорее ученым, чем учителем. И если ведение классов—всегда довольно невеселая работа, то занятие наукой доставляет удовольствие тому, кто имеет к этому хоть какую-нибудь склонность. Вальтер не был заинтересован в жалованьи и поэтому избавился от живописных неудобств помещения, предназначавшегося для него в средневековом здании университета, и устроился в „коттэдже с садом". Перед коттэджем была сторожка и лужайка, спускавшаяся к реке, протекавшей позади дома. Вальтер нашел отличную кухарку, которая была замужем за довольно посредственным садовником. Но хотя лужайка у Вальтера не была так гладко подстрижена, а сбор винограда так обилен, как у соседей, он все-таки устроился очень мило.

Конечно, иной раз он с сожалением думал о той жизни в Нью-Иорке, которая могла бы быть. Но чем больше он изучал своих хактитов, тем более интересными они становились. Он также воскресил свой проект написать работу по синтетической философии.

На второй год своего пребывания в Оксфорде, вернувшись домой после рождественских каникул, Вальтер, разбирая полученную почту, нашел книгу, которая его поджидала. Это был роман Беатрисы Мэйнард—„Новое лекарство". Он был послан по его прежнему нью-иоркскому адресу. На чистом листке перед текстом Беатриса написала: „С наступающими веселыми праздниками!" Для него было неожиданным удовольствием, что кто-то вспомнил о нем во время рождественских праздников. Он уже целые годы не получал никаких подарков на Рождество.

Вальтер поспешил поскорее поужинать, чтобы приняться за чтение. Книгу он прочел, почти не отрываясь, если не считать того времени, которое уходило на набивание трубки.

Это, именно, такая книга, решил Вальтер, которую он и ожидал от Беатрисы! В том, как она была написана, сказывалось терпение истинного художника. Небольшая книга, но полная острой наблюдательности, а заключительные страницы—выпуклы, словно камея.

Это была простая история одной очень богатой девушки из Нью-Иорка. Давались слабые намеки, что дело идет о высшем обществе. Беатриса слишком хорошо знала круг людей, в котором она вращалась, чтобы питать какие-либо иллюзии насчет их благородства или особенной испорченности. Мужчины, пожалуй, слишком часто меняли костюмы, но были в общем людьми довольно разумными. Женщины чуточку переобременены драгоценностями, но тем не менее весьма гуманны. Все они тяготились своей бесполезностью. Затем был циник-дядя, старый холостяк, дававший героине советы, в виде эпиграмм, относительно добродетели легкомысленности и опасности, которая возникает, если принимать вещи всерьез. Была еще и тетка, старая дева—ее жизненный роман был разбит вдребезги в сражении при Геттисбэрге—которая искала утешения в болезненном увлечении религией. Она всегда предостерегала героиню от легкомыслия в выражениях, заимствованных из Плача Иеремии, и говорила о Грядущем Возмездии. „Новым лекарством“ оказался некий господин, из весьма современного разряда специалистов по нервным болезням, у которого расхлябались собственные нервы, благодаря переутомлению и стряпне француженки-кухарки, потягивающей абсент. Специалист уже готов был начать увлекаться кокаином, когда Беатриса убедила его вместо этого увлечься героиней.

— Хорошо написано,—сказал Вальтер, закрывая книгу.

Несколько минут он сидел, раздумывая над тем, какую же гавань нашла для себя Беатриса. Такую книгу нельзя было написать наспех или в неблагоприятной обстановке. Он абсолютно ничего не слышал о Беатрисе. Сперва у него слишком ныло сердце, чтобы помышлять о ней. Но по мере того, как месяцы превращались в годы и несколько исцеляли его душевные раны он часто думал о Беатрисе. Но, не зная точно, какого рода

воспоминания она сохранила о нем, он чувствовал, что если долгое молчание должно быть прервано, то сделать это следует ей.

Он обрадовался, что она в достаточной мере ценит его, если так поступила. Он повернул кресло к столу и стал писать ей. В письме восхвалялась книга и высказывалась благодарность за память. В нескольких строчках он шутливо описывал свое холостяцкое житье и работу и спрашивал, как ей живется. Письмо он отправил по адресу ее издателей, какой-то лондонской фирмы.

Спустя несколько дней от Беатрисы пришел ответ, полученный Вальтером за ранним завтраком. Письмо застало ее в Лондоне, куда она приехала из Нормандии для переговоров о своем новом романе. Не удастся ли ему приехать в Лондон за те несколько дней, которые она еще пробудет там? Если он протелеграфирует, то она бросит все свои дела, чтобы с ним повидаться.

Вальтер послал садовника на телеграф и выехал с дневным поездом. Был час дневного чаепития, когда он вошел к Беатрисе в гостиную в отеле, где она остановилась.

— Надеюсь, я еще не начала указывать на свой возраст, как вы,—приветствовала она его.

— Нет, не начали.

Обе руки у нее были заняты чайной посудой, поэтому Вальтеру не удалось улучить момента, чтобы проявить большую галантность.

— Я вижу по вашему письму, — сказала она, — вам два кусочка сахару и сливок или три с лимоном?—что вы не последовали моему совету.

— Да, не вполне. Два кусочка, пожалуйста! Только пытался. Я часто размышлял, уяснили ли вы себе, как безответственен и опасен был ваш совет.

И он рассказал ей об Иетте.

— Я никогда не думала, что она окажется такой идиоткой-идеалисткой,—прокомментировала его рассказ Беатриса.

— Таковых есть царствие небесное.

— Вальтер, мне кажется, вы были в нее влюблены и у вас нехватило смысла сказать ей об этом.

Он развел руками, как испанец, говорящий: „Quien sabe?“

— А что у вас нового?—спросил он.

Она рассказала ему об очаровательной маленькой деревушке, которую она открыла в Нормандии, о своих розах и маках и о большом кабинете, выходящем на три отдельных задних двора и дающем ей бесконечную возможность—когда перо не ложится, как следует, на бумагу — изучать домашнюю жизнь соседей. Как забавно писать! Как она счастлива, что ей удалось снова приняться за это! Всего-на-всего она собирается написать десять романов, совершенствуясь с каждым романом, а последний должен быть действительно хорошей вещью. А потом к ней спустится упоительная Колесница Славы и увезет ее домой.

— Я шагаю широко, — сказала она. — „Новое лекарство“ шло туго. Я так рада, что вам роман понравился. На нем я закисла. Пришлось его отложить, поэтому сейчас у меня почти одновременно выходят три книжки. Я только что закончила корректуру номера второго—„Вавилон“. Это относительно таких помешанных господ „Из-за океана“, каких мы с вами разыгрывали в Париже. А следующий роман затрагивает более глубокие ноты. Я думаю назвать его „Похлебкой“. Он почти закончен—два-три месяца шлифовки. Над всеми тремя романами я работала одновременно. Но отныне и впредь будет по одному роману в году—регулярно.

Разговор переходил с одной темы на другую, то возвращаясь к прошлому, то заглядывая в будущее. Он перескочил от уголовного кодекса хактитов на „Электру“ Штрауса, а это привело их к миссис Ван-Клив, которую Беатриса встретила в фойе Парижской Оперы на „Пеллеасе и Мелиссанде“. Миссис Ван-Клив напомнила им о тысяче вещей. Исчезли два года, протекшие с тех пор, как они видели друг друга, вернулась прежняя близость. Беатриса неожиданно возвратилась к Иетте.

— Не вините меня, если вы сами все испортили. Я советовала вам жениться на Иетте, а не вступать с ней в метафизический спор. Не вполне уверена в этом, но из двух глупцов вы,

повидимому, наиболее глупый. „De l'audace et encore de l'audace et toujours de l'audace". Говорят, Дантон пользовался большим успехом у дам.

— Ответ на это таков,—сказал Вальтер:—Следующий свой роман вы пишете в Оксфорде.

— В Оксфорде! Ну, что вы! Университетский город вовсе не место для проявления храбрости.

— Это место для вас,—сказал он решительно.—Завтра я найму коттедж рядом со своим—он побольше. Сегодня утром я видел на нем вывеску: „Отдается в наем". Местечко чудесное. А как тихо! Нет ни одного уголка в Филадельфии, в котором было бы так тихо в воскресное утро, как в Оксфорде.

Но Беатриса отказалась обсуждать его предложение.

— Мне и так работается очень хорошо там, где я сейчас, благодарю вас. Раз уж я встала, наконец, на ноги—для меня больше не существует никаких соблазнов.

Но через два дня после начала летнего разъезда, Вальтер высадился из поезда в маленькой нормандской деревушке, где жила Беатриса.

— Бесполезно сопротивляться, Беатриса, — заговорил он, прежде чем она успела опомниться от изумления, в которое привело ее его неожиданное вторжение.—Следующий свой роман вы будете писать в Оксфорде. Я уже нанял более просторный дом и, как только это можно будет сделать по французским законам, мы поженимся.

— Чепуха!—сказала она.

Он подошел к Беатрисе, остановился перед ее креслом и заговорил с ней спокойным тоном третьего, незаинтересованного лица, как будто бы был домашним адвокатом.

— Беатриса, вот мы, два свободных и одиноких, индивида двух противоположных полов. В то утро в Париже вы сказали, что мы представляем собою жалкую парочку, которая заварила ужасную кашу и которой хочется реветь. Ну, что же! Мы с вами привыкли теперь несколько к этой каше, нам не хочется реветь так, как раньше... ну, и... да что там! Нам хочется жить.

Я был дураком, прося Иетту выйти за меня замуж, и она очень умно поступила, сбежав от меня. В конце концов мы с ней чужие друг другу. Она понимала меня не больше, чем я ее. Она была влюблена в весьма туманную мечту, на которую я абсолютно не похож.

Мы же с вами совсем другое. У нас, по крайней мере, была одинаковая „каша". Я не знаю, старались ли вы забыть нашу... эскападу. Я нет. Мне она представляется, когда я о ней думаю, чем-то бесконечно важным, воспоминанием, которое мне хотелось бы вечно хранить, как драгоценность. Из нашего бедственного положения так или иначе родилось какое-то внезапное понимание и симпатия. Я склонен думать, что это одна из самых важных, самых непосредственных и реальных вещей, которые когда-либо случались со мной. Я болтал с вами полдюжины раз, но говорил, как следует, всего один раз, несколько лет тому назад в Нью-Иорке. Там, в Париже, в две минуты, нет, это было делом секунд—мы узнали друг друга лучше, чем... да... трудно выразить, что я думаю, потому что во мне не очень развит мистицизм. Но никогда еще ни прежде, ни после того я не испытывал более глубокого чувства близости. Проходит два года, мы не обменялись ни единым словом, и вот в гостиной пышного лондонского отеля, мимо открытых дверей которой снуют непрерывно люди, я встретил то же самое неожиданное понимание.

Нужно ли говорить вам, что там, в Лондоне, мне хотелось, чтобы люди не сновали взад и вперед мимо дверей, что и теперь мне хочется, чтобы ваша прислуга исчезла, чтобы я мог...

Но не надо говорить об этом. Мне бы хотелось перейти к кое-чему гораздо более глубокому. Оно заключается в этом полном и бесконечно ценном сходстве и симпатии.

И вот именно потому, что я убежден в существовании такого взаимного понимания, я уверен, что вы тоже одиноки—совсем, как я. У нас обоих есть стремление к „привычному"—к Ларам и Пенатам. Даже какая-нибудь эскапада, столь же восхитительная, как последний раз, ни одного из нас больше не будет удовлетворять вполне. „Новое лекарство" — это большой

дом в Оксфорде—с рабочей комнатой для вас, кабинетом для меня и другими комнатами для нас.

Он повел плечами, словно стряхивая с себя серьезность.

— Вы говорите, что вам не хочется еще раз выходить замуж. Ведь это же идиотство! Разве вы не так уж долго жили на свете, что не избавились от боязни такого пугала, каким являются „брачные узы“? Несмотря на все ваши разговоры об эмансипации, вы еще столь же привержены к условностям, как миссис Грэнди. Брак избавит нас от надоедливых сплетен соседей, а что касается ужаса, вызываемого церемониями, — ну, что-ж... мне лично одинаково легко: жениться на данной особе или дать ей взаймы десять долларов.

Где живет мэр? Я зайду к нему и попрошу его отряхнуть от пыли свой трехцветный шарф.

— Нет.

— Беатриса, il faut de l'audace.

— После Парижа это было бы глупо.

— Et encore de l'audace.

— Да и кроме того я сняла этот домик на два года.

— Et toujours de l'audace.

— Ну, хорошо,—сказала она,—если вы ко всему относитесь так легкомысленно, то, пожалуй, тут нет большой беды!

ГЛАВА XXX.

Переоценка.

Первые два года сотрудничества в „Трубном Звуке“ были для Иетты отчаянной борьбой. Но в конечном итоге борьба—это самый верный признак жизни. Себе самой Иетта казалась мертвой. Гибель ее романа оставила в ее душе пустое место, которого нельзя было заполнить работой—даже той безумной работой, которой обусловливался выход в свет каждого номера „Трубного Звука“. Однако, все это время жизнь накапливала силы в самой Иетте, готовясь еще раз предъявить свои права.

Наша литература полна идей о мужчине-защитнике—положение, не выдерживающее ни малейшей критики. Охранительный элемент в жизни в подавляющем большинстве случаев—женский. Никто из нас не пережил бы страшных опасностей, грозящих нам в детстве, не приди на помощь мать. Взрослые мужчины—хотя они и сами этого не сознают—весьма обычно уповают на свои дражайшие половины.

Функция, остающаяся без применения, несомненно, приведет к страданию. Так как Иетта чувствовала, что нет никого, кто бы был от нее в зависимости, то жизнь казалась ей пустой и полной страданий. Вся ее внешняя оболочка—руки, которыми она отстукивала на пишущей машинке свои статьи, ноги, носившие ее повсюду, глаза и уши, которыми она наблюдала за борьбой труда и к ней прислушивалась, язык, которым она приводила доводы или выпрашивала деньги, мозг, которым она обдумывала и разрабатывала планы,—все они были заняты. Но эта кипучая деятельность не затрагивала нежной внутренней части ее существа. Для нее оставалось только напрасное бесплодное страдание.

Как-то вечером, возвращаясь в нижнюю часть города с одного рабочего митинга в Бронксе, Иетта случайно наткнулась на заметку в газете, где говорилось, что Давид Гольдштейн, владелец Отеля Сиу, подстреленный за два дня перед тем во время уличной драки, умер в городской больнице.

Для Иетты это было первой вестью, которую ей пришлось услышать о своих родственниках с тех пор, как она ушла от них. Она не выходила из вагона, пока не приехала в центр еврейского квартала. Полицейский, стоявший на посту перед Отелем Сиу, зашел по ее просьбе в дом и узнал адрес тетки. Она жила неподалеку, и через несколько минут Иетта очутилась в невероятно мрачной квартирке из трех комнат. Пять-шесть безгласных, жалких старух сидело на кухне. Лишь с некоторым затруднением Иетта распознала, которая из них миссис Гольдштейн.

— Тетя Марта, разве вы меня не помните?—спросила она на жаргоне.

Но миссис Гольдштейн была так потрясена, что не могла ей ответить. От других женщин Иетта узнала, что тетка ее оста-

лась совершенно одинокой и при этом без гроша денег. О сыне нет ни слуха, ни духа уже несколько лет. Роза исчезла. Иетта как можно скорее выпроводила ковенских lands leit и, когда они ушли, опустилась на колени рядом со старухой.

— Разве вы не понимаете, тетечка Марта? Это маленькая Иетта, она вернулась, чтобы заботиться о вас! Вам никогда не придется больше мучиться. Я буду заботиться о вас.

Слезы внезапно хлынули из глаз старухи, первый раз за много, много лет, и Иетта уложила ее в кровать. Переднюю комнату занимали два невероятно шумливых молодых человека. Иетта немного боялась; она долго не могла уснуть в тесной спальной рядом с теткой.

Легко восстановить процесс распадания семейства Гольдштейнов. Исаак был в тюрьме. Роза, по всей вероятности, ушла от родителей и стала жить самостоятельно: ей наскучило приносить домой весь свой заработок, чтобы его пропивал отец. Она, должно быть, жила одиноко в какой-нибудь мрачной меблированной комнате. Ее слишком скудно одарила природа, чтобы она могла „пойти по плохой дорожке“.

Но, несмотря на окружавшую ее в квартире грязь и тяжелый воздух темной спальни, Иетта проснулась с новым и более стойким отношением к жизни. Она нашла кого-то, кто в ней нуждался. Первого числа следующего месяца она перевезла тетку на квартиру поближе к редакции „Трубного Звука“. Квартира была из четырех комнат и ванны. Гостиную Иетта сдала Муру и Левину. Для них это было большим улучшением, а стряпня миссис Гольдштейн обходилась дешевле и была питательное, чем ресторанное меню, на котором они существовали. Иетта помещалась в спальной вместе с теткой.

Со старухой произошла поразительная перемена. Иетта помнила ее очень неласковой, черствой и грубой особой. На ней отражалась окружавшая ее среда. Теперь в чистой и приличной обстановке, находясь среди людей, относившихся к ней с уважением, под влиянием солнечных лучей той нежности, с которой обращалась с ней племянница, она совершенно изме-

нилась. Иетта беспрестанно изумлялась, как сильно тетка напоминает ей отца.

Борьба кипела в редакции, как всегда, но теперь у Иетты был свой дом. Раны ее быстро исцелялись.

Спустя несколько месяцев после своего нового устройства, Иетта пришла в редакцию „Трубного Звука“ и застала там смятение. Все говорили одновременно и прошло несколько минут, прежде чем Иетта могла добиться толка. Исидор свалился с ног. В течение нескольких дней он был в довольно мрачном настроении—ссылаясь на то, что у него болит голова. В это утро около девяти часов он свалился без сознания с кресла. Был вызван доктор Любович—тот товарищ, речь которого Иетта слышала на своем первом рабочем митинге. Он объявил, что у Исидора тиф.

— Мы перевезли его к себе в комнату,—сказал Гарри Мур,—а я с Левиным перейдем в его. Там совсем не место для больного. Да и кроме того, когда сиделка будет уходить, то за ним сможет присматривать ваша тетка.

Чувство какой-то беспомощности овладело маленькой группой, как только вождь их был выбит из строя. Но в этот критический момент Левин изменил своему характеру—или дал возможность проявиться своему истинному характеру, обнаружившемуся под корой пессимизма. Он заставил всех вернуться на места и пустил снова машину в ход.

Когда все стереотипы были отлиты и сделаны наряды на следующий день, сотрудникам редакции было страшно тяжело расставаться. Весьма прискорбно, что добродетели наших друзей имеют сходство с почками: мы никогда их не замечаем, пока с ними что-нибудь не случится. Впервые все поняли ясно, каким „столпом силы“ был Исидор. По мере того, как проходили дни, сотрудники все чаще поддавались влиянию случайных порывов нервной раздражительности Исидора и его непостижимого упорства. Он ходил среди них, подняв одно плечо выше другого, с покрытым морщинами, немного топорным лицом, столь далекий как от сентиментальности Мэри Амс или легкомысленного оптимизма Гарри Мура, так и от все увеличи-

вающейся мрачности Левина. Его наиболее яркой характерной чертой было, повидимому, то, что он „всегда находится в редакции". А теперь он ушел.

— Он так скромен и прост,—сказал Гарри,—что мы никогда не замечали, как он силен.

— Мне хотелось бы хоть что-нибудь сделать для него,— всхлипнула Нелли.

— А я думаю, что лучшим лекарством, которое мы сможем ему дать, — сказала Иетта с решительным видом вкалывая в шляпку булавку,—будет еженедельное сообщение о том, что наш тираж быстро растет.

Знакомые улицы сливались в туманное пятно, когда Иетта возвращалась домой. Мысль о том, что Исидор болен, беспомощен, поразила ее так же, как если бы газеты сообщили, что Гибралтарская скала оторвалась от берега и понеслась по волнам.

В столовой она встретила тетку, которая, со свойственным евреям унынием, предвещала самое дурное. Иетта прошла мимо зала и тихонько постучала в дверь гостиной. Ей открыла сиделка. Комната была затемнена, но Иетта успела бросить взгляд— и взгляд этот врезался ей в память—на осунувшееся лицо Исидора, видневшееся над простынями. Сиделка приложила палец к губам и вышла в зал.

— У него тиф, все обстоит благополучно,—сказала она.

— Опасно?

— Тиф всегда опасен. Но нет ни одного доктора во всем городе, кто умел бы так лечить тиф, как Любович. Он еще раз зайдет через несколько минут. Ну, а я должна вернуться.

Иетта так и осталась стоять в неосвещенной прихожей, потрясенная, заглянувшая в лицо смерти гораздо ближе, чем ей приходилось когда-нибудь прежде. Было что-то невероятное в той мысли, что Исидор может умереть. Все ее сильное молодое тело возмущалось при такой мысли. Но за закрытой дверью происходила грозная борьба. Бледное лицо, на которое упал ее взгляд, ничего этого не сознавало. Поскольку дело шло об участи Исидора, смерть уже победила. За него приходилось биться Любовичу и сиделке.

Она услышала, как тетка впустила доктора. Она никогда раньше не видела его за работой. С коротким приветствием он прошел мимо Иетты и вошел в комнату больного. Иетта незаметно остановилась в дверях.

— Какая температура?

— 40,5.

Последовал ряд вопросов и ответов, произносимых каким-то бесстрастным тоном. Они показались Иетте почти легкомысленными, нечестивыми перед лицом великой трагедии. Ей стало больно, что доктор не сделал чего-то сразу.

Наконец, Любович снял шляпу и резко повернулся к кровати. После минутного изучения лица пациента, он откинул покрывало и простыню. Иетте показалось, что доктор внезапно превратился в пару рук. Все остальное в нем исчезло. Его полузакрытые глаза были устремлены прямо на стену, тогда как изумительные, бесконечно чувствительные руки быстро бегали около сердца Исидора. Затем он опустился перед кроватью на колени и превратился в слух. Глаза его были теперь совсем закрыты, а он все прислушивался и прислушивался—интенсивное напряжение, с каким он это делал, обнаружилось на его суровом лице — прислушивался к почти неслышному шуму битвы, кипевшей в груди больного. Потом он выпрямился, все мистическое в нем исчезло; он снова сделался обыкновенным. хладнокровным профессионалом.

— У вас есть телефон?—спросил он у сиделки. — Хорошо, вы можете сегодня до вечера во всякое время вызвать Риплэя, если будет нужно, чтобы кто-нибудь явился немедленно. Мне звоните в клинику без пяти четыре. У меня лекция—до пяти. Если потребуется, я могу ее бросить. Во всяком случае, я потом непременно зайду.

Иетта сделала попытку задержать его в зале, чтобы спросить, есть ли надежда.

— Слишком занят для разговоров,—сказал он.—Во всяком случае, я не чародей. Не могу быть пророком. Он очень болен. Но нужно, чтобы ему стало в тысячу раз хуже, прежде чем

мы отступимся. Право, я не могу теперь задерживаться. У меня роды, испытание на „Tbc“ и операция до четырех.

Иетта пошла на кухню и засадила тетку за работу, чтобы приготовить для сиделки ужин. Потом, внезапно почувствовав себя страшно усталой, пошла к себе в комнату. Но она не могла заснуть. Удивительная жизнь, которую вел доктор, овладела ее воображением. У нее закружилась голова, когда она попыталась представить себе, чего должны стоить эти внезапные переходы, которые делал Любович, от отчаянной борьбы со смертью к рождению дитяти.

И снова и снова она видела перед собой осунувшееся бледное лицо Исидора.

Когда доктор зашел после лекции, Иетта спросила, не может ли она быть чем-нибудь полезна в комнате больного.

— Нет, — коротко ответил доктор. — Вы только будете портить хороший воздух.

Она никогда еще в своей жизни не чувствовала себя такой бесполезной. Следующие несколько дней прошли в смертельном страхе. Большую часть времени Иетта проводила в редакции. Она взяла на себя редакторскую работу Исидора. В этом было некоторое утешение. Остальная его работа была поделена между Локке, Муром и Левиным. Крупная забастовка вспыхнула у Объединенных Строительных Рабочих; это обозначало сверхурочную работу, но также и увеличение тиража. После дневной сутолоки Иетта возвращалась в свой притихший дом, где попрежнему продолжалась великая битва, в которой Иетте силой не позволяли принимать участие в качестве бойца.

Ей хотелось задать доктору сотню вопросов, но обычно он был слишком занят для разговоров. Однажды вечером, когда Исидор болел уже больше недели, Любович зашел после лекции в веселом настроении духа.

— Надеюсь, ваша тетя приготовила обильный ужин, — сказал он.—Дома нет ничего поесть. Добрая жена делает уборку в квартире.

— Ну, а как дела?—спросила Иетта, когда доктор вышел из комнаты больного и подсел к тарелке дымящейся лапши,

— Мы свое дело сделали. Теперь нужно выкарабкиваться ему самому. Мы протащили его через нормальный кризис. Если Исидору не придет в голову проделать все сызнова и если он на самом деле хочет поправиться, то, я думаю, он поправится.

Он отвечал на ее вопросы односложно, пока не покончил с последними остатками стряпни миссис Гольдштейн. Затем, закурив папиросу и положив три куска сахара себе в кофе, он начал шутить со старушкой на жаргоне. Но Иетта не переставала прерывать его все новыми вопросами.

— Вам угодно знать, что я думаю? — сказал он, свирепо повернувшись к ней. — Хорошо, слушайте. Я думаю — Исидор поправится. Я так надеюсь. Ничего хорошего в том не будет, если он умрет. Никому из вас, господа, не читается наставлений. Но Исидор их заслуживает. В течение десяти лет он злостно нарушал все правила здорового нормального образа жизни. Вы все достаточно развиты, чтобы понимать некоторые законы природы, но вы чересчур легкомысленны, чтобы им повиноваться! Исидор вступил в жизнь с изумительным здоровьем, а теперь он так себя измотал, что какой-то ничтожный маленький тифозный микроб попадает ему в рот и почти его убивает. Великий боже! Все вы хотите ругать этот микроб. Но микробы не могут принести никакого вреда, если только вы уже не заболели—если вы сами не сделали себя больным, как Исидор. Я не боюсь их—мое ремесло ведет меня прямо туда, где они живут. Я тверд, как гвоздь. И вам не мешало бы взглянуть на моих ребятишек. Они так же здоровы, как и я.

— Что вы подразумеваете, говоря, что он сделал себя больным? Переутомление?

— Переутомление? Чорт возьми! Я не сплю столько часов под ряд, сколько он спал. Я „переутомляюсь“ уж давно, гораздо дольше, чем он. Работа не приносит людям вреда, если только они не живут чувствами. Вы, господа, все вы — ненормальны, почти истеричны в своем отношении к жизни. Вы беретесь слишком серьезно за маленькие жизненные задачи и не относитесь с достаточной серьезностью к тому великому делу, каким является сама жизнь.

— Исидор не уясняет себе — и никогда не уяснял, — что человеку необходим отдых и развлечение. Он понятия не имеет о том, что такое игра. Со своим телом обращается как с машиной. Ему непременно нужно жениться. Он должен обзавестись семьей и детьми, чтобы думать не только о своей работе — должен иметь около себя кого-нибудь, с кем он мог бы поиграть. Кого-нибудь, кто бил бы его по голове, если придется, чтобы отвлечь его внимание от той рутины, в которой погряз его ум. Он слишком много думает о будущих поколениях и недостаточно о нынешнем или следующем за нами. И затем вполне естественно, что ему необходимо иметь жену, как каждому мужчине, желающему быть нормальным и здоровым. А то он живет, как монах, и старается выполнять настоящую мужскую работу! Но какая польза от разговоров? Вы не станете слушать. Все это произойдет и с вами — столь же неизбежно, как восход солнца. И тогда вы прибежите с плачем ко мне, чтобы я вас выручил.

— Почему же? Я здорова, — запротестовала Иетта. — Я не знаю никого, кто чувствовал бы себя лучше, чем я.

— Гм! — фыркнул он презрительно.

Он допил кофе и, поднявшись с места, стал нетерпеливо расхаживать по комнате.

— Иетта, как вам кажется, почему природа разделила весь людской род на мужчин и женщин? На протяжении стольких миллионов лет, что мы и сосчитать не можем, природа находилась за работой, создавая женщин, придавая форму их телу кропотливым трудом, образуя внутри их сложные органы для специального назначения. За вами мириады поколений женщин. Вы не были бы сейчас в живых, вы никогда не появились бы на свет, если бы хоть одна из этих женщин пренебрегла своим женским занятием. Неужели вы думаете, что вдруг, совершенно неожиданно, вы можете нарушить эту вековую привычку? Что вы можете безнаказанно пустить по ветру все муки и труды мириад своих матерей? Вам теперь двадцать четыре года. На протяжении более, чем пяти лет, считая до настоящей минуты, вы шли наперекор жизни, ничем не заполняли своего свободного

времени; страшных мучений, бесконечной борьбы стоило природе произвести вас—с теми шансами, которые у вас есть—для поддержания жизненного пламени. Из всех этих миллионов матерей тысячи и тысячи отдали бы свою жизнь, чтобы их линия не прерывалась. Вопрос совершенно не в том, какие доводы вы можете привести против деторождения. Я допускаю, что бывают и веские доводы. Но природа настойчива в вопросах, касающихся ближайшего поколения,—она холодна и непреклонна, как лезвее меча. В этом отношении она весьма напоминает злопамятность людей. Но вы не можете ее порицать. Это такая ужасающая расточительность: промотать все, что создано трудившимися страдавшими поколениями, существовавшими до нас. Вы не можете надеяться, что природа останется безучастной; это стоило ей так дорого. И у нее есть то преимущество перед господом богом, что ее наказания постигают нас еще в этой жизни. Не замечая ничего, вы можете прожить еще четыре, пять, быть может, десять лет. А потом вы явитесь ко мне. „У меня головные боли, боли в спине. Я раздражительна. Я не сплю". Я смогу дать вам лекарство, чтобы заглушить головную боль, порошок, который даст вам видимость сна. Я смогу немного отвратить от вас месть природы, но не исцелить. Бывает масса несчастных случаев и разного рода болезней, за которые можно кого-нибудь обвинять, но следовало бы обязательно запретить особым законом засушивание себя в бесплодную, плаксивую старую деву.

Боже мой! — воскликнул он, взглянув на часы, — уже поздно. Я обещал говорить на социалистическом митинге в Бронксе, но мне нужно еще сперва взглянуть на двух больных. До скорого свидания.

Минуту Иетта сидела молча, размышляя над тем, что сказал доктор. Что ее больше всего поразило, это изумительное представление о непрерывном ряде матерей, простирающемся за нею до той туманной эпохи, когда новый элемент жизни впервые возник на берегах первобытного моря.

Но, вспоминая об этом спустя много лет, Иетта не могла сказать, чтобы речь доктора повлияла на нее очень сильно. Она

была бесстрашной особой и угрозой личного нездоровья ее нельзя было запугать. Чувства ее к Исидору уже изменились.

Долгие месяцы общей работы и стремления друг к другу все ближе и ближе притягивали ее к нему. Перемена в их взаимных отношениях происходила столь постепенно, что понадобился какой-то толчок, чтобы у Иетты открылись глаза. Неожиданное уяснение себе в тот день, когда Исидор заболел, резкого контраста между его прежней силой и теперешней слабостью послужило началом. Сперва, когда она увидела, что полюбила его, ей было трудно этому поверить, но спустя день после кризиса, ей пришлось приподнять Исидора, когда она помогала сиделке менять простыни. Его худоба ее ужаснула. А во время бреда он произносил ее имя. И вот тогда-то она и увидела все ясно.

Однажды вечером, довольно скоро после того, как Любович прочел Иетте лекцию, он вышел из комнаты больного.

— Ну, теперь сознание у него прояснилось, и он беспокоится о газете. Идите и побеседуйте с ним. Сообщите ему хорошие известия, если нужно—приврите и заставьте его уснуть.

Исидор открыл глаза, когда Иетта наклонилась над ним, и, узнав ее, улыбнулся. Он забыл все о „Трубном Звуке". Но ей нужно было что-нибудь сказать, чтобы удержаться от слез; так мучительно чудесно знать, что ты так много значишь для другого.

— Тираж дошел до 20.000.

Но Исидор уже погрузился снова в сон, при одном лишь взгляде на Иетту.

Она не солгала. Тираж неуклонно возрастал. Болезнь Исидора как будто пришпорила всех, имеющих отношение к газете, вдохнула в них новую энергию. Известие, что он поправляется, дало всем им новую надежду, новую решимость поставить дело на более солидное основание ко времени возвращения Исидора.

Мало-по-малу Исидор пробивал себе снова дорогу к жизни. Но выздоровление шло медленно и туго. Когда он заболел, земля была покрыта снегом. Лето уже было в полном разгаре, прежде чем он смог пройти через комнату. Как-то в субботу днем Иетта

радостно вошла в комнату и увидела, что Исидор полулежит на софе.

— Что вы скажете, Исидор? Когда сегодня явился добрый гений, то в каждом пакете жалованье было сполна. Что вы об этом думаете? Произошла революция. У Мэри Амс не было случая поплакать, а Левин не мог найти, на что бы ему поворчать. Оба они чувствовали себя несчастными.

— Не знаю, для чего я работал с таким напряжением, чтобы все наладить,—сказал он уныло.—У вас дело идет гораздо лучше без меня, чем со мной.

— Надеюсь, вам стыдно самого себя,—сказала она, снимая шляпку и подсаживаясь к нему.—Я приношу вам хорошие известия, и вот вся благодарность, которую я получаю.

Исидор усиленно моргал глазами, но не мог совладать с собой, и две крупные слезы скатились по его щекам.

— Что с вами, дружище?—спросила Иетта в испуге.

— О, ничего. Только я так еще слаб, прямо до глупости. Конечно, я рад. Но только с такой легкостью падаю духом.— Он уже не мог удержаться от слез.—Так печально снова возвращаться к жизни.

Доктор Любович настаивал больше всего на том, чтобы Исидора не волновали. Но Иетта совершенно об этом забыла. Она опустилась на колени на пол около него.

— Исидор, когда вы были тяжело больны, то разговаривали очень много в бреду. Вы знаете о ком вы говорили?

— О вас.

— Значит, всегда одно и то же, Исидор?

— Far immer und evig,—медленно произнес он.

Иетта всегда разделяла отвращение отца к еврейскому жаргону, но, тем не менее, переход Исидора на их родной язык показался ей какой-то лаской.

— Мне думается,—продолжал он на том же языке,—что это одиночество заставляет меня видеть все в таких мрачных красках.

— Тс, Исидор!—сказала она, едва дыша.—Вы не должны так говорить. Этим летом Паульдинги уезжают в Европу. Они

мне говорили, что вы можете переехать к ним на дачу, если найдется кто-нибудь, кто возьмет на себя заботы о вас... я поеду с вами... нам обоим больше не хочется жить в одиночестве... О, дорогое сердечко!.. Ах, тут совсем не о чем плакать... неужели только из-за того, что я решила выйти за вас замуж? Доктор Любович задаст мне отчаянный нагоняй, если узнает, что вы так плохо себя ведете.

Христианский священник-социалист повенчал их по брачному обряду, который он сам выдумал. Обряд был столь же фантастичен, как и его убеждения, но брак был по крайней мере законным. Как только доктор Любович позволил Исидору уехать, они отправились в горы.

ГЛАВА XXXI.

Иетта обретает себя.

Первые дни среди лесов были мучительны для Иетты. Исидор не выдержал утомительного переезда и снова свалился. Иетта боялась, как бы не было тяжелого рецидива. Но он отоспался—а спал он сперва по четырнадцать, по восемнадцать часов в сутки—и вся усталость прошла. Скоро вернулся к нему и аппетит. От одного из ближайших фермеров они получали свежее молоко, яйца, овощи, а три раза в неделю приезжал на лодке человек, привозивший разную другую провизию из городка, лежащего у вод озера. Исидор начал входить в тело и очень медленно восстанавливать свои силы.

Когда миновали первые заботы, для Иетты настал период полного душевного спокойствия. Убеждение, которое складывалось у нее исподволь, сперва незаметно, что она „действительно любит Исидора“, окрепло. Она рассчитывала, что будет находить удовольствие в заботах об Исидоре; так и было в городе, но здесь на даче оказалось, что заботы эти доставляют ей сладостное ощущение, чего она совершенно не ожидала. В Нью-Иорке она была только случайностью; десятки других женщин точно так же могли ухаживать за больным Исидором.

Здесь она была для него всем на свете. И здесь она могла посвятить ему все свое время. Сперва Исидор был беспомощен, словно ребенок, и послушно подчинялся той тирании, которую она установила, любя. Иетте никогда в жизни не приходилось еще вести для кого-нибудь хозяйство. Работая на кухне в своей маленькой хижинке, ходя на цыпочках, чтобы не потревожить сна, приносящего Исидору здоровье, она испытывала полнейшее наслаждение от своих новых занятий: стряпни для своего мужа, стирки и починки его белья.

Еще большее удовольствие доставляла ей та полнейшая близость, которая возникла между супругами благодаря их уединенному образу жизни. Когда Исидор бодрствовал, они беседовали,—обо всем, что существует в подлунной, кроме „Трубного Звука". У них было соглашение забыть о нем. Через две-три недели, когда Исидор немного набрался сил, Иетта стала читать ему вслух. Сперва ей было как-то не по себе, словно она считала такое чтение нескромностью. Ей раньше никогда не приходилось читать вслух. Радость, которую давали ей книги, была чем-то индивидуальным. Она не привыкла пускаться на поиски новой точки зрения с кем-либо сообща. Но после того, как исчезло первоначальное недоверие к самой себе, Иетта нашла в чтении вслух такое наслаждение, о каком ей и не снилось. От времени до времени, то один, то другая прерывали чтение, выражая вслух свои мысли. То он скажет:—Ну-ка, прочти это еще раз.—Или она перебьет сама себя словами:—Я должна перечесть это место. Не правда ли, как это красиво?

Почти все книги, которые читал Исидор, были или исторические, или научные. Он не имел никакого представления об изящной литературе. „Сила" и „Правда" были единственными литературными качествами, которые он признавал. Мередит, один из любимейших авторов Иетты, несколько поблек под влиянием резкой критики со стороны Исидора. „Труд" Золя понравился им обоим. С поэзией обыкновенно дело обстояло плохо. К Суинбэрну, роскошная музыка которого гипнотизировала Иетту до того, что она абсолютно не понимала, о чем он хочет сказать, Исидор чувствовал отвращение — пока Иетте

не попалось: „Ложь у жрецов на устах и кровь на руках королей“.

— Вот это дело, — сказал Исидор.—Почему он не остановился на таком стиле?

Совсем другой разговор произошел о Генли. Сначала все шло гладко. Исидору понравились госпитальные стихи. Но когда они дочитали до слов: „Я властелин своей судьбы, я капитан своей души“, Исидор возмутился.

— Неужели ты действительно думаешь, что он верит в эту чушь?

— Конечно,—сказала Иетта.—А ты нет?

— Ни единой минуты. Ты была властелином моей судьбы за эти последние несколько лет!

Вполне естественно, что Иетта простила его за несогласие с Генли.

Но было на небе и облачко даже в эти восхитительные тихие дни. Иетта как-то смутно страшилась того времени, когда Исидор будет совершенно здоров. Она уже не была больше той наивной, ничего не ведающей девочкой, которая обещала Гарри Клейну жить с ним, не зная, что это значит. Она знала, что немыслимо продолжать такие милые и приятные отношения сиделки и больного. Рано или поздно он с возмущением отвергнет от себя прежнюю роль—ему захочется чего-то иного, что совершенно не похоже на заботы сиделки о больном.

Вопреки своему обычаю, Иетта не взглянула прямо в лицо такому положению вещей. Она старалась избежать всяких мыслей о нем. Когда этот вопрос неотвязно вставал перед нею, она говорила себе:—Ну, конечно, мне хочется иметь детей.—Почти всякий раз, как ей приходилось слышать разговоры об исполнении обязанностей матери, болезненная сторона этих обязанностей преувеличивалась. Она много слышала о „героизме материнства“. Ее отношение к половой стороне супружеской жизни весьма походило на отношение к зубному врачу. Как бы твердо мы ни решали итти к зубному врачу, однако, несколько колеблемся, когда приходится выходить из дому. Иетта делала все, что было в ее силах, чтобы отдалить срок выполнения обязан-

ностей, которые она твердо решила выполнять стоически и мужественно.

На самом деле она изумительно мало задумывалась над этим вопросом. Все, что Иетта читала у поэтов относительно радостей страстной любви, принималось ею за романтизм, а она была решительно настроена против романтики. В действительной жизни ей никогда не приходилось встречаться ни с одной женщиной, которая имела хотя бы отдаленное сходство с Элоизой, Франческой, Мелиссандой или королевой Изольдой. Замужние женщины, которых она знала, матери семейств, не подавали и вида, что они пережили такие потрясающие эмоции.

Истинная любовь, решила она, это сфера духовная. В ту ночь, когда Исидор поцеловал ее в темной редакции, она была так испугана, что не могла счесть этот поцелуй за ласку. Исидор ни разу не взволновал ее чувств, как Вальтер. Она больше не боялась думать о них обоих одновременно. Она спокойно признавалась, что ее любовь к Исидору более настоящая. И все-таки не могла думать без легкой дрожи о полном выздоровлении мужа.

Если казалось, что Исидор готов заговорить с ней об этом, она ловко меняла тему. Она всегда приходила к нему в комнату поцеловать его на ночь, а утром, окончив причесываться, прежде всего подходила к его кровати и целовала Исидора, здороваясь с ним. Но хотя по природе своей она была порывистой, однако, тщательно избегала всяких волнующих ласк. По мере того, как Исидор набирался сил, кризис неизбежно приближался. В одну лунную ночь, когда они катались по озеру в лодке проводника, Исидор, лениво работавший веслами, остановился.

— Иетта,—сказал он,—иногда у меня мелькает ужасная мысль: я спрашиваю себя, действительно ли ты меня любишь?

Растянувшись на подушках на корме, Иетта чувствовала себя вполне счастливой—по крайней мере такой счастливой, какой она только могла быть... пока Исидор не заговорил. Она сразу догадалась, что он хочет сказать, и это ее смутило.

— Почему, что ты хочешь этим сказать?—спросила она, чтобы выиграть время.

— Я задаю себе вопрос, знаешь ли ты, что значит... что значит любовь... для мужчины?

— Я знаю, что она значит для здорового мужчины,—сказала Иетта.

Исидор снова принялся грести. Конечно, Иетта не знала, что значит любовь для здорового мужчины. Она знала, что не знает этого. Ей стало стыдно самой себя за тот враждебный тон, который прозвучал в ее ответе.

— Исидор,—сказала она через несколько минут,—милый, ненаглядный мой, я люблю тебя очень, очень сильно. Разве ты не доволен? Мне так сладко просто быть вместе с тобой, как мы сейчас. Неужели ты не доволен?

Исидор—как многие мужчины, принадлежащие к его племени—был бессознательно мудр по отношению к женщинам. Ему не пришлось долго раздумывать над ответом.

— Нет,—сказал он кратко.

Несколько минут он продолжал молча грести. Он не понимал, но чувствовал смущение Иетты. Она остановилась дрожа на пороге Великой Тайны. Когда он снова заговорил, то лишь для того, чтобы успокоить и ободрить ее. Они долгое время сидели рука об руку на берегу в лунном сиянии. Исидор не делал ничего, что могло бы испугать ее, а она чувствовала, что ее заливают волны его нежности.

Спустя неделю Исидор вновь коснулся той же темы. Утром они лазали на гору. Правда, это была маленькая гора, но все-таки гора. Большую часть дня Исидор проспал. Когда ужин был окончен, Иетта немного почитала мужу, а потом послала его спать. Когда она пришла к нему в комнату, чтобы поцеловать его на ночь, он обвил Иетту руками и крепко стиснул ее в своих объятиях—как будто хотел показать, что к нему и в самом деле снова вернулись силы.

— Дорогая,—сказал он,—ты попрежнему будешь упрямиться? Ты все еще та же, что прежде?

— Не совсем та,—затрепетала она.

Бабье лето прошло, листья начали менять свою окраску, прежде чем молодые сложили свои жалкие пожитки и отправи-

лись в город, чтобы приняться за работу. Уже становилось холодно, но в последний день их пребывания на даче солнце светило, словно в июле.

Они переплыли на лодке через озеро, чтобы сказать „прости“ своей любимице—большой сосне. Она одиноко стояла на небольшой возвышенности, в ста футах над водой. Ее подруги были повалены бурями. Одиночество сильнее оттеняло величавую пышность сосны. У подножья ее лежал толстый ковер опавших игл, а вид оттуда на озеро был поразительный.

Последний месяц пребывания Браунов на даче среди лесов был настоящим медовым месяцем. На озере не было ни единого местечка, которое было бы так тесно связано с их страстными переживаниями, как эта гигантская сосна. Много раз во время жгучего дыхания августа они приносили сюда ковры и подушки и проводили ночь у подножия сосны, купаясь на восходе солнца в водах озера, расстилавшегося внизу.

Привязав лодку, они вскарабкались по крутому берегу и Исидор уселся, прислонившись спиной к стволу любимого дерева. Иетта улеглась на ковре из сосновых игл и положила голову на колени к мужу. Исидор играл ее волосами и время от времени гладил ее по щеке. Некоторое время они сидели в молчании—оба были несколько подавлены той мыслью, что на утро им придется возвращаться в город. Им больше не удастся быть вместе один на один; как много этой милой интимности придется принести в жертву работе!

Иетта неожиданно обернулась и взглянула Исидору в лицо.

— Иб,—начала она. Это имя, образованное ею из инициалов Исидора, несмотря на всю его нелепость, являлось наиболее нежным из всех слов, которые были в их интимном словаре.— Иб, мне хочется что-то тебе сказать.

И тут она остановилась. Исидор, взволнованный серьезностью, терпеливо ожидал, когда она заговорит.

— Трудно подыскать нужные слова, — продолжала она, наконец.—Но мне хочется, чтобы ты знал, что в эти недели я была так счастлива. Мне никогда и не снилось, чтобы кто-нибудь мог быть так счастлив. Это (в их интимном словаре

было много пробелов)... это так отличалось от того, что я ждала. Я боялась не этого... и то лишь боялась немножко. Мне не думалось, что любовь может быть такой. Видишь ли, я терпеть не могу штопать себе чулки, но, право, я с радостью штопаю тебе носки. Мне кажется, что это врожденное женское свойство. Нет ни одной услуги, которая была бы действительно неприятной, когда работаешь для того, кого любишь. А я была готова сделать для тебя, что угодно—и сделать с радостью. Можешь ли ты понять то, что я пытаюсь тебе сказать? Хорошо. Это был сюрприз—ошеломляющий, радостный сюрприз. Это вовсе не оказание тебе услуги. Это...—Еще раз она не могла найти слов.—Помнишь тот вечер, когда ты спросил меня, действительно ли я люблю тебя. Я думала тогда, что любила. Я не знала, о чем говорила. Но теперь... теперь, когда я знаю...—она смахнула глупые слезы, навернувшиеся у нее на глазах, и протянула руку к его щеке,—я в самом деле, в самом деле люблю тебя.

— Пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня сейчас любили. Я хочу беседовать.

— Что мне досадно,—продолжала она через минуту,—это что я ничего не знала. Почему? Почему я об этом не знала? Я знала о физиологии любви, но там так мало сказано о том, что надо знать. Я читала Фореля; все говорят, что это наилучшая книга по половому вопросу. Но и она ничего мне не сказала. Я беседовала с несколькими женщинами. Они или совсем ничего не говорили, или относились враждебно—говорили о „бремени пола“ или о жертвах, которые женщина приносит мужу. Почему никто из них не рассказал мне правды, чтобы я могла не бояться? Чтобы я могла насладиться полным счастьем? Кажется, всем так ясно, что неведение дурно и опасно.

— Разумеется, оно опасно,—отвечал Исидор.—Но есть еще одно, более опасное, чем неведение—это ложное осведомление. Вот от него-то и страдают молодые люди. Я много размышлял, Иетта, над этим вопросом. Это отвратительно. Очень задолго до того, как кто-нибудь рассказал мне о чем-либо по правде, я уже научился весьма многому такому, в чем была фальшь. Мужчины получают свое первое знакомство с полом, беря уроки

у женщин—бедных, бледных женщин, которые никогда не знали, что такое любовь. Дело вовсе не в том, идет ли к ним юноша или нет. Косвенным путем, а то и непосредственно, он знакомится с их наукой. Юноши постарше, рассказывающие ему о женщинах, почерпнули свои познания от них.

Проституция — это самое гнуснейшее, самое позорное пятно на той цивилизации, которую мы, социалисты, стараемся уничтожить. Несмотря на лицемерие, с которым стараются игнорировать ее существование, проституция является столь же основным институтом, как и церковь или армия. Нынешнее общество точно так же не может существовать без этих женщин, как и без своих броненосцев или богослужений. Проституция отвратительна в очень многих отношениях. Но главное дело в том, а мы об этом не очень-то часто слышим, что эти презираемые и постоянно унижаемые нами женщины являются наставницами, обучающими наше юношество половой жизни. Это самое святое, что есть в жизни. А жрицы этой святыни составляют самый испорченный общественный класс. Я не порицаю их. Они жертвы. Но они мстят—страшно мстят.

Наших девушек держат в полном неведении половой жизни. Среди них, Иетта, встречается очень мало читавших какую-нибудь книгу, вроде Фореля. А юношей посылают изучать этот вопрос в публичных домах. Большинство молодых девушек приступает к половой жизни, думая о ней—с легким трепетом—как о Великой Бескровной Жертве Любви. Большинство мужчин думает об этом, как о веселой шалости. Мне кажется прямо чудом, что некоторые из таких браков бывают счастливы.

— Но почему же никто не наберется храбрости, чтобы сказать всю правду?—воскликнула Иетта.

— Это не так просто,—ответил он.—Тут дело не только в одной храбрости, но и в уменьи. Если бы к тебе обратилась с вопросом какая-нибудь молодая женщина, ты могла бы рассказать ей? Я не смог бы, если бы ко мне обратился какой-нибудь мальчик. Я мог бы рассказать ему о механизме пола—совершенно так же, как это сделали Форель и десятки других авторов. Есть масса технических слов. Но тут бы я и остановился.

Действительность немыслимо выразить научным языком, а вульгарные слова фальшивы, когда говоришь о любви. Ручаюсь, что тебе не понравилось бы, если бы ты взялась за такую работу.

— Да, было бы трудно,—согласилась она. А потом,—но неужели же нет никакой надежды? Неужели всегда должно существовать такое неверное понимание?

— О, нет! Прежде всего, у первобытных людей вообще не было никакого такого неверного понимания—у них было всего лишь отсутствие понимания. Любовь такая новая вещь в истории жизни, что мы только-только начинаем смутно понимать ее. Человек—говорим мы—это животное, которое добилось того, что стало сознательным. Но это не внезапно произошло. На это нужно было потратить тысячи и тысячи лет. Процесс еще не завершился. От общей сознательности животное, сделавшееся человеком, постепенно, шаг за шагом, дошло до самосознания. Мало-по-малу половое общение сделалось немного большим, чем простой рефлективный акт, как это мы видим ныне у низших животных, который забывается немедленно за совершением. Только со времени той эпохи, которую мы называем Средними веками, мужчина начал сознавать, что в любви есть нечто большее, чем физическая страсть. Любовные дела Марии, королевы Шотландской, кажутся нам теперь весьма мало платоническими. А подумай, как это было недавно по сравнению с Каменным веком. Только в прошлом столетии романтические идеи проникли в литературу. Подобно всем новым идеям они были полны экстравагантностей. Теперь мы называем себя реалистами—это необходимая реакция. Но у Золя гораздо больше нового элемента в любви, чем снилось когда-либо Шекспиру. Сомнительно, чтобы он узнал современную версию „Ромео и Джульетты", как и Христос свою службу в воскресной обедне с певчими.

По мере того, как мы начинаем привыкать к такому поразительно новому толкованию любви, мы вырабатываем слова для его выражения. Это слишком громадная задача, чтобы выполнить ее умом одного человека или на протяжении одного поколения.

Они снова умолкли. Иетта, повернувшись к озеру и смотря на него, не сознавая всей красоты вида, в отчаянии размышляла

над вопросом, что такое любовь и с болью в сердце убеждалась, как в этом должны убеждаться все, кто пробует писать, в своей полной неспособности выразить то, что значит для нее эта тайна любви. Она даже не могла сказать Исидору.

Ее девический роман с Вальтером казался ей теперь почти таким же ничтожным, как и приключение с Гарри Клейном. Сперва она решила принадлежать Исидору, повинуясь голосу рассудка. Она прекрасно его знала, раньше чем вышла за него замуж. Она была вполне уверена, что жизнь их будет основана на товарищеской любви и взаимном понимании. Фактически, с точки зрения повседневной работы, их брак должен был быть, насколько она могла себе представить, удовлетворительным. И ко всему этому прибавлялся еще один неожиданный элемент— мистическая, невыразимая радость пола. У Иетты было такое чувство, словно она узнала, что она счастливее большинства женщин. Она подняла взор на милое лицо, склонившееся над ней, надеясь встретить какое-нибудь движение со стороны Исидора, чтобы выразить нахлынувшее на нее чувство счастья, для которого она не могла найти слов. Она была поражена глубокой его задумчивостью.

— О чем ты думаешь, Иб?

Он вздрогнул, как будто очнулся от грез.

— Я думал,—сказал он,—что нам придется быть страшно тактичными, когда мы вернемся в редакцию. Смит и Левин так долго вели дело самостоятельно, что с их стороны будет вполне естественно, если они отнесутся к нашему возвращению немного недружелюбно.

Эти слова произвели в голове Иетты очень большую путаницу.

Унаследованная ею женщина, та часть ее существа, которая образовалась из бесчисленного множества жен, бывших ее прародительницами, содрогнулась, словно от удара бича, при мысли, что в этот самый последний день думы его залетают так далеко. Каждая клеточка ее мозга стремилась к Исидору. Она только что решила, что никогда еще не было на свете того, кто любил бы так горячо кого-нибудь, как она любит Исидора,—а он думает о редакции. Волна слез невольно прихлынула к ее глазам.

Но все, что было в Иетте современного, вся та часть ее существа, которая научилась рассуждать, окрасилась нежностью, как и остальное ее существо—лаской. Она стала гордиться искренней преданностью своего мужа делу. Ее не удивило то направление, которое приняли его мысли. Она имела огромнейшее преимущество перед большей частью других новобрачных—она знала своего мужа. Она знала глубину искренности, которую иной раз затемняли его педантичные фразы. Она научилась любить его. Она избегла душевной боли, раскрыв действительность, скрывавшуюся за мечтами о любви. Единственной новой для нее чертой, которую она узнала после свадьбы,—было богатство нежности, таившейся под его довольно грубой внешностью, ласковая предупредительность, скрывавшаяся под его суровыми манерами,—сладость, о которой и во сне ей не снилось, которая была скрыта от большей части глаз под его очевидной силой. Близость с ним ее не разочаровала.

На несколько минут она позволила ему говорить об ожидавшей их работе. Это ее интересовало так же, как и его. Но, в конце концов, унаследованная ею женщина внутри нее напомнила ей, что ведь это последний день их уединения. Она перестала его слушать и на минуту занялась обсуждением вопроса с этой точки зрения. Затем она без всякого стыда прервала его на средине какого-то длинного периода.

— Иб,—сказала она,—я люблю тебя.

Они вернулись в город и прожили там много месяцев, прежде чем с лиц их сошел солнечный загар. В достодолжный срок товарищ Иетта Браун получила право на заведывание отделом „Для Матерей“.

ГЛАВА XXXII.

Старые друзья встречаются—и расстаются.

Спустя четыре года после свадьбы, Иетта и Исидор имели возможность убедиться в искреннем уважении, с которым к ним относились их товарищи. Они были выбраны делегатами на Международный Социалистический Съезд, который должен был

состояться в Лондоне. Ни один из тех, кто не принимает активного участия в работе социалистической партии, не может представить себе, какое огромное значение имеет подобное избрание для товарищей. Раз в три года партия должна выбрать из числа своих членов шесть человек, которые были бы наиболее достойны представлять ее в международных совещаниях. Это очень большая честь.

После четырехлетней непрерывной работы в „Трубном Звуке“ оба супруга нуждались в отдыхе. Они еще ни разу не отдыхали со времени своего медового месяца среди лесов. Но, если не считать восьми дней, проведенных Браунами в праздности в каюте второго класса какого-то тихоходного парохода, им пришлось очень мало отдыхать на Съезде. Не говоря уже о посещении обычных заседаний, так много времени уходило на знакомство с европейскими товарищами, перед именами которых они уже давно благоговели, книги которых они читали. С большим трудом им удалось вырваться ненадолго, чтобы взглянуть на здание Парламента и Вестминстерское Аббатство. Вот и все достопримечательности, которые они осмотрели в Лондоне.

Накануне дня отъезда Иетта, садясь на свое место в зале заседаний Съезда, нашла на пюпитре письмо. С первого взгляда она не узнала почерка.

„Дорогая Иетта!

Боюсь, что вы меня совсем забыли. Постарайтесь вспомнить.

Не сумеете ли Вы с Исидором после съезда заехать на несколько дней к нам в Оксфорд? Вальтеру попалась на глаза в газете ваша фамилия в списке делегатов. Нам обоим страшно хочется возобновить прежнюю дружбу. Когда мы можем вас ждать?

Искренно вам преданная
Беатриса Лонгмэн“.

Иетта была рада, что Исидор задержался в коридоре. Она положила письмо в карман, пока Исидор еще не подошел к ней.

Весь день напролет это приглашение не выходило у нее из ума. Каждую сколько-нибудь свободную минуту она думала о нем, и ей все больше и больше хотелось поехать. Отчасти ее влекло любопытство посмотреть, какого рода жизнь устроил себе Вальтер, отчасти желание выставить напоказ свое собственное счастье. Ей не хотелось, чтобы он думал, что у нее все еще разбито сердце. А отчасти она чувствовала прилив самой настоящей нежности к этим старым друзьям, которые так много значили для нее много лет тому назад. Но только вечером, очутившись с Исидором наедине в их скромной комнате в отеле, Иетта заговорила о письме.

— Ах, я и забыла! Вот письмо, которое я получила от миссис Лонгмэн. — Помнишь ее? Она раньше была замужем за Карнером.

— Хорошо, — сказал Исидор, прочтя письмо, — это очень просто. Мы страшно заняты.

— Но мне очень хотелось бы повидаться с ними.

— Хотелось бы?—спросил он в изумлении—и с легкой болью в сердце.—Прекрасно; конечно, если тебе хочется. Я должен торопиться домой. Но нет оснований, почему бы тебе не остаться.

— Не глупи, дорогой,—сказала она.—Тебе известно, что я не останусь ни единой минуты без тебя. Я не собиралась ехать одна. Мы могли бы выехать отсюда в четверг после завтрака, остановились бы пообедать в Оксфорде и как раз во-время захватили бы наш пароход. Знаешь, мой бесценный, если никогда не видишь людей, которые в былое время так много значили для тебя, то это как будто похоже на смерть. Ты не знаешь, как страшно я грущу о Мабель. Она была моим первым другом—первым истинным другом, которого я когда-либо имела. Мы поссорились с ней по моей вине. Мне было бы тяжело чувствовать, что по моей вине я потеряла всякую связь с Вальтером и миссис Карнер — я хочу сказать, миссис Лонгмэн. Они в дружеских выражениях просят нас приехать. Мне кажется, нам следует поехать.

— Превосходно, — сказал он. — Телеграфируй им, что мы приедем. Но мне показалось, что в письме звучит какая-то принужденная нотка—оно не совсем сердечное.

По правде сказать, когда Беатриса писала письмо, она была не особенно сердечно настроена.

Однажды утром Вальтер, который очень редко тревожил жену, когда она писала, постучал в дверь ее рабочей комнаты.

— Можно мне оторвать тебя на минутку? — спросил он с извиняющимся видом.

— Что такое?—спросила она.

Он подошел и положил на ее стол газету, указывая на средину столбца, озаглавленного „Международный Социалистический Съезд". Среди делегатов от Соединенных Штатов были указаны Исидор и Иетта Браун.

— Тебе хочется, чтобы я их к нам пригласила? — спросила она.

— Да, если это удобно. Мне хотелось бы с ними повидаться.

В течение следующих нескольких дней работа у Беатрисы не клеилась. Очень часто ей приходилось заставать самое себя на том, что она отрывается от своих бумаг и пристально глядит в окно через лужайку на виноградные лозы. Она спохватывалась и снова принималась за работу. Наконец, она решила, что гораздо лучше бросить ее вовсе. И потому, позабыв надеть колпачок на свое вечное перо, она спустилась в сад.

Немыслимо было сомневаться. Она боялась Иетты—она ревновала! Она попыталась посмеяться над собой, но боль была слишком велика. Иетта была на целые годы моложе ее.

Беатриса почти не знала Исидора, не была вполне уверена, какое, именно, смутное воспоминание связано для нее с этим именем, но у нее осталось впечатление, что наружности он непривлекательной. По всей вероятности, Иетта вышла за него замуж с отчаяния. Несомненно, она еще продолжает любить Вальтера. За эти последние четыре года Беатриса постоянно делала открытия, что Вальтер гораздо более достоин любви, чем она думала раньше. Да, Иетта, вероятно, все еще любит его. Примет ли она приглашение?

Мальчик с телеграфа завернул к ним в ворота. Давно уже она не вскрывала депеш с такой нерешительностью и нервностью.

„Приезжаем Оксфорд четверг четыре дня выезжаем десять Ливерпуль.

Иетта“.

Беатриса медленно направилась в дом и прошла к Вальтеру в кабинет. Этот кабинет совершенно не имел ни малейшего сходства с ее рабочей комнатой, содержавшейся в очень строгом порядке. Там стояло три громадных стола, но все они были слишком малы для тех гор книг, карт, рисунков и убористо исписанных заметок, которые были на них навалены.

— Они приедут завтра в четыре,—сказала Беатриса, протягивая ему телеграмму.

— Хорошо.

— Я думаю, лучше всего устроить им чай, а потом пройтись с ними до обеда и показать университет.

— Я заключаю отсюда, что обход является обязательным,— сказал он с гримасой.—А что, сегодня твоя муза упрямится? Я видел, как ты бродила по саду.

— Да,—губы у нее скривились в улыбку.—Нужно было разработать одну новую мысль. Это так раздражает. Ты прекрасно все распланировываешь, все идет гладко и спокойно к счастливому концу—а затем вдруг происходит что-то неожиданное, какое-то замешательство „одиннадцатого часа“. И тебе приходится тратить время на обдумывание этого чего-то.

— Превосходно,—сказал он.—Ты неизменно проникаешься, Беатриса, все более реалистическим пониманием жизни. А это значит, что твои романы постоянно совершенствуются.

Он поднялся с места и начал расхаживать по комнате, развивая в целую речь свои мысли об элементе неожиданного в жизни и о том, что этот элемент заслуживает большего признания в литературе. Но Беатриса, все время делавшая вид, что она в восхищении внимает его мудрости, на самом деле твердила себе горькие истины о недогадливости мужчин и об их способности понимать все буквально.

В четверг днем и Иетта и Исидор, заняв места в оксфордском поезде, почувствовали какое-то необычное косноязычие. Они были страшно утомлены и могли с облегчением сослаться на то, что их клонит ко сну и потому не хочется разговаривать. Иетта не сознавала, что между ними пробежала черная кошка. Она была уверена, что Исидору и на самом деле так хочется спать, как он делал вид. Ей казалось самой естественной в мире вещью возобновление прежней дружбы.

Время от времени она открывала глаза и бросала взгляд на незнакомую ей местность. Но по большей части она мысленно вновь переживала минувшие дни. Обычно Иетта была слишком занята, чтобы поразмыслить над этой темой на досуге—как и нужно делать, если вы вообще намерены думать над этим. Она убедилась, что трудно узнать свой собственный образ, извлеченный из глубин памяти. Те несколько лет, которые протекли со времени ее брака, казались ей гораздо более продолжительными и полными, чем все годы ее прежней жизни. Она, мать двоих детей, понимала, что очень трудно относиться с симпатией к молодой девушке, так страстно влюбившейся в мужчину, с которым она едва ли виделась десяток раз. Она почти начинала жалеть, что приняла приглашение. Она уж больше не тот человек, которого знали Вальтер и Беатриса. Ее визит в Оксфорд может оказаться не возобновлением старого знакомства, а появлением чужого человека. Будет неловко, если Вальтер станет обращаться с ней, как с той молоденькой девушкой, которую он прежде знал. Но Иетте совершенно не приходило в голову, что Исидор страдает от ревнивых опасений.

— Следующая станция—Оксфорд,—сказал Исидор.

Эти слова вывели ее из задумчивости. Когда они вышли из вагона, все кругом замелькало в каком-то калейдоскопе; получалось впечатление, что масса людей мечется во все стороны в бессмысленном хаосе. Затем внезапно все прояснилось, и перед ними предстали Вальтер и Беатриса; напряженное выражение на их лицах сменилось приветливой улыбкой. Произошел обмен рукопожатий, дамы поцеловались, и Вальтер с Исидором пошли скорей задержать багаж.

Материнство мало изменило Иетту. Ее нельзя было назвать матроной. А Беатриса, у которой детей не было, мучительно сознавала, что она гораздо больше походит на настоящую матрону. Контраст ее больно задел.

Иетта нашла, что Беатриса стала отражать на себе изящную утонченность окружавшей ее обстановки. У нее внезапно явилась зависть, и она подумала, что жизнь могла бы забросить ее в среду, где у нее тоже было бы время и желание быть красивой. Право, редко бывало, чтобы ей удавалось посвятить хотя бы десять минут на „прическу". Она едва могла улучить время, чтобы содержать себя в чистоте и опрятности. Наружность Беатрисы ясно показывала, что даже выбор белья был для нее тщательно продуманным вопросом. Иетта тоже с болью в сердце заметила этот контраст.

Когда мужчины присоединились к ним, все они—еще под влиянием некоторой принужденности, вызванной взаимным осмотром—уселись в экипаж и поехали по живописным оксфордским улицам домой.

Иетта без устали—хотя и несколько сбивчиво—рассказывала о своих двух детях. Вальтер показывал на башни некоторых университетских зданий. Ни Беатриса ни Исидор не принимали особенно большого участия в разговоре. Чайный стол был расставлен на лужайке, но принужденность все еще сковывала всех. Иетта с довольно вымученным энтузиазмом сообщила о домике и участке, которые они приобрели у Строительного и Ссудного Общества на Лонг-Айлэнде. Исидор в конце концов стал более оживленно отвечать на вопросы Вальтера и заговорил о Международном Съезде. Его больше всего поразил рост революционных, неполитических трудовых организаций, раскинувшихся по лицу всего мира. Рост промышленного юнионизма в Америке шел почти параллельно синдикалистскому движению в Европе.

— Я никогда не питал особенной веры в ваши пророчества, Вальтер,—сказал он.—Я попрежнему правоверный член партии, но подобный „прямой переход к действию" уже не кажется мне такой ересью, как раньше. Он слишком повсеместен, чтобы быть ошибочным во всех отношениях.

Когда они поднялись из-за стола, чтобы побродить по университету, Исидор и Вальтер пошли впереди, все еще в пылу спора. Дамы составили арьергард. Иетта нашла, что легче всего говорить о детях и романах Беатрисы. Она их читала, и они ей очень нравились.

Они уселись все вместе в саду Колледжа Христовой Церкви, и Исидор начал рассказывать о „Трубном Звуке". Иетта присоединилась к беседе мужчин, и Беатриса почувствовала себя совершенно оставшейся в тени. Она обрадовалась, когда наступило время возвращаться домой к обеду. Но и за обедом было не лучше, ибо разговор все время вращался вокруг „Трубного Звука". Все были так заинтересованы им, что у Беатрисы не хватало духу переменить тему беседы.

Луна поднималась в царственном блеске, когда они кончили пить кофе на террасе. Словно сговорившись, они спустились на лужайку и медленно пошли вдоль реки. Громадные деревья протягивали над их головами ветки, склоненные над струящейся рекой. Был теплый вечер, и много лодок скользило по реке. Свет их пестрых фонарей переливался огнями по воде. Там и сям вспыхивала песня в вечерних сумерках. Преобладающей нотой во всей этой сцене был смех.

Но берег реки не показался Исидору красивым; на Беатрису он никогда еще не производил так мало впечатления. Вальтер и Иетта шли впереди.

Беатриса почувствовала какую-то странную симпатию к своему спутнику, понимая, что и он смущен тем оборотом, который приняло дело. Они заразили друг друга своим беспокойством. От Беатрисы потребовался весь ее такт хорошо воспитанной дамы, чтобы поддерживать видимость разговора.

Иетта взяла Вальтера под руку, и некоторое время они шли молча. Но вдруг вся принужденность как-то исчезла, и Иетта почувствовала в Вальтере старого друга, с которым ей всегда так легко было говорить.

— Странно,—сказала она,—как часто я следовала вашему совету и находила, что он хорош. Я уясняю себе все больше и больше, каким громадным фактором были вы в моей жизни.

Десятки раз я готова была написать вам. Но так трудно изложить на бумаге не простую, а более глубокую благодарность.

Вальтер хотел запротестовать.

— О, да,—продолжала она настаивать.—Есть очень многое, за что я должна вас благодарить. Трудно выразить это словами. Но теперь, когда все стало древней историей, теперь, когда раны исцелены, мне хочется поговорить об этом. Когда вы сказали мне, чтобы я выходила за Исидора, ваши слова показались мне самыми жестокими, какие только можно произнести. Вы были правы, разбив вдребезги мой роман. Но из всех уроков, когда-либо вами мне данных, этот урок был наитруднейшим, наигорчайшим. Я не могла поверить вам на слово. Мне пришлось самой выучить этой урок. Но если бы вы не заставили меня его выучить, я оставалась бы и до сих пор каким-то романтиком—вечно витала бы в мире грез. Я никогда бы не открыла чудес и красот жизни, какова она есть.

Мне думается, всякое страдание ценно, если оно действительно чему-либо нас учит. Теперь я могу относиться с философской точки зрения к минувшим, орошенным слезами месяцам. Но они были в достаточной мере печальны, а иногда и еще хуже. Я не уверена, были ли такие слова, сказанные Иовом относительно дня, в который он родился, которые не нашли бы отголоска в моей душе.

Исидор был в эти дни удивителен. Он не давал мне никаких советов и не пытался утешать меня. Он только вызвал меня утром к телефону и надавал мне столько работы, что хватило бы на шестерых. У меня еще оставалось немного здравого смысла. Я сумела заметить, что единственной моей надеждой на то, что я справлюсь с собою, была работа. Редакция „Трубного Звука" была самым тяжелым по работе местом, которое я могла бы найти; поэтому я порвала с Лигой и пошла туда.

Но Мабель никогда не могла мне простить, что я ее покинула. С тех пор я ее почти не видела.

Минуту они продолжали итти в молчании, а потом она снова вернулась к своему рассказу.

— Мое истинное невежество обычно заключалось в том, что я думала, что без романтики не может быть любви. Я думала, что это одно и то же. Но оказывается, что чудо действительности—оно-то и вызывает что-то бесконечно более глубокое, чем мечтательная любовь. Я так же ясно, как и всякий другой, вижу скрюченное плечо Исидора. Я знаю, какие слова он постоянно произносит неправильно. Мне знакомы все маленькие, неустранимые шероховатости его характера, с которыми постоянно приходится сталкиваться. Ни единой минуты я не думаю, что он какое-то божество. Быть может, именно потому, что я его знаю несравненно лучше, чем другие, я посмеялась бы над всяким, кто сказал бы, что на самом деле я не люблю Исидора. А потом дети! Подумайте, Вальтер, об этом! У меня их двое. Это мои собственные дети! Вы как-то сказали что-то вроде того, что плоть и кровь чудеснее всякой мечты. Это был тяжелый, мучительный урок, но я прихожу к заключению, что он был тем уроком, за который я должна благодарить вас больше всего.

— Это истина,—отвечал Вальтер,—которую очень часто за последние годы Беатриса помогала мне открывать вновь. Мы любим Друг Друга с большого Д. Конечно, наша любовь не начинается с романтической прописной буквы Л. Она прямая противоположность того положения, что вспыхнувшее внезапно пламя мало-по-малу начинает потухать. У нас есть что-то такое, что живет... что крепнет с каждым днем.

Рука ее, покоившаяся на его локте, дружески пожала его руку в знак того, что все это понятно.

— Так чудесен этот мир,—сказала она,—что прямо хочется плакать! Так много, много нужно сделать. Время проходит как-то изумительно быстро. И словно все это сосредоточено каким-то образом на детях. Они придали социализму для меня новое значение, приблизили его ко мне, сделали его более интимным и личным, более тесно сплели его со мною самой. Мы с Исидором привыкли к наемным квартирам, они перестали производить на нас впечатление—пока не появились дети. Я рада, что мой маленький выводок может подрастать на солнышке, на свежем воздухе, на травке, где можно поиграть. А мысль о всех

этих миллионах детей, живущих в городских трущобах, стала самым краеугольным камнем моих дум. Это для них. Мы должны добиться социализма ради детей! Мне страшно хотелось бы, чтобы вы посмотрели на моих ребят. Я пришлю вам их карточку.

Мысли ее перешли на более конкретные вопросы, она заговорила о ближайших планах и надеждах. Тем временем Исидор постоянно посматривал на часы и всякий раз, как он их вынимал, Беатриса спрашивала его, который час. Наконец, пришлось возвращаться назад, чтобы успеть захватить поезд.

. . . . . .

Разговор не клеился, когда Лонгмэны возвращались с вокзала домой. Вальтер погрузился в какую-то задумчивость, и первоначальные попытки Беатрисы заговорить с ним были безуспешны. Молчание стало ее тяготить, когда они вошли в дом.

— Вальтер,—сказала она,—я готова была бы заплатить три шиллинга, чтобы узнать, о чем ты думаешь.

— Сохрани деньги при себе. Мысли мои—драгоценности, которым нет цены.—Он лениво бросился в большое кожаное кресло.—То, что они рассказывают о своей газете, прямо удивительно. Я начинаю видеть, что есть некоторое основание для существования той враждебности, с которой рабочий класс относится к „интеллигенции". Если бы Исидор обратился за советом ко мне или к одному из социалистов Нью-Иорка, воспитывавшихся в университете, то ему было бы сказано, что абсолютно немыслимо справиться с изданием ежедневной газеты. Ну, хорошо. А рабочий класс знал, что ему нужно и ставил заплаты, если не мог сразу добиться своего! Это поразительно.

— Вальтер, если бы я действительно была уверена, что ты думал именно об этом, то поцеловала бы тебя.

— Не вижу оснований, почему бы тебе не сделать и того и другого,—сказал он, освобождая место для нее в кресле рядом с собой. Но, заметив подозрительный блеск в ее глазах, он вскочил с кресла.

— Что это, Беатриса! Ты плачешь! В чем дело?

Она положила ему руки на плечи и пытливо взглянула в лицо.

— По совести? Положа руку на сердце? Ты не думал о Иетте?

— Ты дурочка,—сказал он, невольно покраснев, что бывает с мужчиной, которому польстили не совсем грубо. — Ты ревновала, да?

Он поднял ее на руки.

— Пойдем посидим на ступеньках террасы. Я расскажу тебе обо всем, что она мне говорила, а потом полюбуемся на месяц.

. . . . . .

— Вот и хорошо,—сказала Иетта, устраиваясь в купе, как только огни Оксфорда промелькнули мимо окон. — Я рада, что мы их навестили.

Исидор беспокойно задвигался.

— Тебе не было неприятно?—спросил он на жаргоне, чтобы другие пассажиры не могли понять. — Мне не думается, чтобы я мог оказаться в большом выигрыше по сравнению с Вальтером.

Она наклонилась вперед, чтобы взглянуть ему прямо в лицо.

— Исидор!—произнесла она обиженным тоном, — неужели мужчины никогда не смогут понять женщин—даже когда дело касается простейших вещей? Три года я потратила зря на мечты—нет, я не скажу „потратила зря". Мне нечего ссориться с моим девичеством. Три года я мечтала о Вальтере. Но вот уже четыре года—четыре года—как я живу с тобой. Неужели ты не в состоянии понять, сколь громадна такая разница с точки зрения женщины? Есть несколько моих мыслей, быть может, есть часть моего интеллекта, отцом которой был он. Но, Исидор, ведь ты отец моих детей!

— Да,—сказал он несколько успокоенный. — Мне думается, я немного могу понять это... но... видишь ли, мне никогда еще так не хотелось иметь деньги, как теперь. Мне хотелось бы, чтобы я тоже мог дать тебе все то, что есть у Вальтера.

— Ну, не плачь об этом,—сказала она сердито,—пока я сама не начну.

Она вложила в его руку свою, не обращая внимания на остальных пассажиров. Совесть немного мучила ее на этот счет, ибо в конце концов она завидовала тому, что у Беатрисы есть возможность быть красивой. В течение очень долгого промежутка времени они сидели молча.

— Я рада, что мы их навестили,—продолжала Иетта. — Но рада еще больше, что мы возвращаемся домой. Я безумно хочу вернуться домой.

— Беспокоишься о ребятках?

— О, да! Конечно, я беспокоюсь о них все время. Тетя Марта так добра к ним, насколько это в ее силах, но она такая старомодная. Но я радуюсь еще и по другому поводу. Никогда еще до этих пор я не уясняла себе истинного различия между собой и Вальтером. Изумительно прекрасная жизнь, которой они живут, этот их коттедж, книги, старые колледжи и река! Ты не сможешь отрицать, что в этом есть известная прелесть. Но меня это убило бы. Он счастлив своими думами о чем-то. Но я умерла бы, если бы не работала над чем-то! Одной только любви недостаточно. Я бы умерла с голоду. Я жадно стремлюсь снова к работе. Вот то реальное, чего мы достигли, Исидор. Вот что делает нашу любовь такой ценной. Наша работа.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Книга 1.

		стр.
Глава	I. Букинист Вениамин	5
„	II. Девические годы Иетты	14
„	III. В мастерской, где „выжимают пот“	23
„	IV. Жизнь зовет	33
„	V. Гарри Клейн	45
„	VI. На краю пропасти	56

Книга 2.

„	VII. Бал „отделывающих юбки“	70
„	VIII. Новые друзья	82
„	IX. Иетта записывается в союз	98
„	X. Л. Ж. Р. С.	112
„	XI. У Мабель	120
„	XII. Прощание Иетты	130

Книга 3.

„	XIII. Забастовка	140
„	XIV. Арест	152
„	XV. В исправительном доме	169
„	XVI. Зал Карнэги	181
„	XVII. Операционная комната	196
	XVIII. Вальтер прощается	205

Книга 4.

			стр.
Глава	XIX.	Иетта за работой	221
„	XX.	Исидор Браун	239
„	XXI.	„Звезда“	249
„	XXII.	Возвращение Вальтера	268
„	XXIII.	Дворец грез	283
„	XXIV.	Крушение	299

Книга 5.

„	XXV.	Лекарство Исидора	312
„	XXVI.	„Трубный Звук“	322
„	XXVII.	Новая работа	335
„	XXVIII.	Иетта увлекается	346
„	XXIX.	Тихая гавань Вальтера	362
„	XXX.	Переоценка	368
„	XXXI.	Иетта обретает себя	380
„	XXXII.	Старые друзья встречаются—и расстаются.	390

7.50/53/276
7x69
Kg 3=
ОКТ от 3.11.88

Цена 2 руб.

Издательство „МЫСЛЬ“
ЛЕНИНГРАД, Ковенский переулок, 11.

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

НИКОЛАЙ НИКИТИН.—Лирическая земля. Очерки и рассказы. Стр. 280. Цена в папке 2 р.

„ . . . То, что я прошу своего читателя прочитать здесь, есть собрание крупиц случайной, разбросанной, скитальческой жизни — лирические встречи с природой, с жизнью и с любимыми мною людьми. Я писал это как прилежный труженик и как человек, влюбленный в жизнь“.

(Из предисловия автора).

БОР. РОЗОВ. — После бури. Роман. Стр. 232. Цена в папке 1 р. 50 к.

Автор поставил себе целью познакомить в этом романе читателя с современной деревней, которую всколыхнули война, революция и новый быт. В ряду произведений современных русских писателей эта книга безусловно займет видное место как по своей художественности, так и по значительности затронутых ею тем.

РЮРИК ИВНЕВ.—Открытый дом. Роман. Стр 288. Цена в папке 1 р. 75 к.

„Открытый дом“ является продолжением нашумевшего романа того же автора „Любовь без любви“, но имеет вполне самостоятельную литературную ценность как со стороны сюжета, так и со стороны внутреннего содержания. Р. Ивнев показывает в „Открытом доме“ быт современной Москвы с ее театрами, литературными кабачками, праздниками и буднями и создает галлерею живых лиц и характеров.

ЛЕОНИД ДОБЫЧИН.—Встречи с Лиэ. Рассказы. Стр. 96. Цена в папке 60 к.

В этот первый сборник рассказов талантливого молодого автора, выступавшего до сих пор только в периодической печати, входит девять миниатюр: Козлова, Ветречи, Ерыгин, Савкина, Лидия, Сорокина, Сиделка, Лешка, Конопатчикова,—рисующие будни советской провинции.

Все книги выходят в художественной обложке работы худ. Л. С. Хижинского.

ИНОСТРАННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ОСКАР БРОТВН. — Волчье логово. Ром., пер. М. А. Дьяконова. Обл. работы худ. З. Медведевой. Стр. 288. Цена 1 р. 50 к.

„Волчье логово“ — бесхитростная история детей, которых жестокая судьба слишком быстро заставила стать взрослыми, слишком быстро бросила в безжалостную пасть повседневной жизни и обрекла на суровую борьбу—пока только за кусок хлеба.

МАЙКЛ АРЛЕН. — Зеленая шляпа. Ром., пер. М.И. и М. Я. Ратнер. Обл. работы худ. Л. С. Хижинского.

Ни один роман не пользовался за последние годы такой популярностью во всем мире, как „Зеленая шляпа“ Майкла Арлена. Он переведен на все без исключения европейские языки, разошелся во многих миллионах экземпляров, инсценирован для театра и кино. Такой исключительный успех произведения молодого автора, объясняется действительно высокими качествами этой книги.

РИДГУЭЛЛ КЭЛЛЭМ.—Нарушители закона. Ром., пер. Э.К. Пименовой. Стр. 248. Цена 1 р. 50 к.

На широких равнинах и в непроходимых лесах Канады разыгрывается действие этого увлекательного авантюрного романа. Кэллэм, однако, не ограничивается одной авантюрой. Он одновременно дает картины фермерского быта, затрагивает вопросы социальные и показывает чрезвычайно интересную жизнь контрабандистов-спиртоносов.

М. БРЭМЕ.—Убита жизнью. Пер. М. В. Абкиной. Обл. работы худ. А. А. Ушина. Стр. 192. Цена 1 р. 25 к.

Эта книга—подлинный дневник молодой девушки, попавшей под колеса безжалостного полицейского строя западной Европы и погибшей в венерологической лечебнице,—является сенсационным событием германской литературной и общественной жизни.

HECKMAN
BINDERY INC.
SEP 92
N. MANCHESTER,
INDIANA 46962

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL
00008294106